

ТАТИЩЕВ

В. А. Татищев

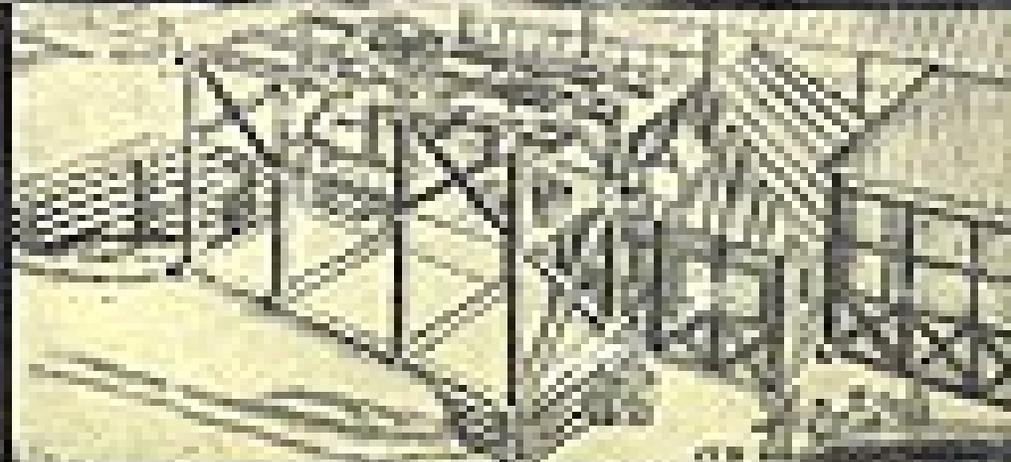
В. А. Татищев (1686-1761) — русский историк, географ, этнограф, архивист, писатель, государственный деятель. Он был первым русским историком, который начал писать историю России на русском языке. Его труды оказали большое влияние на развитие исторической науки в России.

Татищев был одним из первых русских историков, который начал писать историю России на русском языке. Он был первым русским историком, который начал писать историю России на русском языке.

ИСТОРИЯ
РОССИЙСКАЯ

В. А. Татищев
История России
Том I
М.: Издательство «Лань», 2001 г.

Аполлон
Кузьмин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



В числе выдающихся деятелей России XVIII столетия одно из первых мест принадлежит Василию Никитичу Татищеву (1686-1750). Математик, естествоиспытатель, горный инженер, этнограф, историк и археолог, лингвист, ученый, юрист, политик и публицист и вместе с тем просвещенный практический деятель и администратор, Татищев по своему уму и многосторонней деятельности может быть назван в числе первых звезд русской науки.

- [Татищев](#)

- [На переломе эпох](#)
- [Пробуждение Каменного пояса](#)
- [Тяжба с Демидовыми](#)
- [Последнее поручение императора](#)
- [На Московском монетном дворе](#)
- [Мираж конституции](#)
- [Бироновщина](#)
- [В поисках правды жизни](#)
- [Снова на Каменном поясе](#)
- [Оренбургская экспедиция](#)
- [Калмыцкая комиссия](#)
- [Астраханское узилище](#)
- [Болдинская осень](#)
- [Борьба за наследие](#)
- [Основные даты жизни и деятельности В. Н. Татищева](#)
- [Краткая библиография](#)
 - [Сочинения В.Н. Татищева](#)
 - [Литература](#)

- [notes](#)

- [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
-

У нас, русских, ни одно дело не обходится без просчета.

С. Крутилин

Русские медленно запрягают, но быстро ездят.

Бисмарк

О людях, родившихся в XVII веке, мы, как правило, знаем очень мало. Сухие записи о прохождении службы — почти все, что бывает известно по документам о служилом человеке. Но всегда можно проследить, как на формирование личности воздействовала эпоха и как на эпоху воздействовали могучие мыслители и общественные деятели.

Дату своего рождения указал сам Василий Никитич Татищев, оставив запись на французской грамматике: «1720 году октября в 21 день, в Кунгуре, по сей грамматике начал учиться по французски артиллерии капитан Василий Никитин сын Татищева, от рождения своего 34 лет 6-ти месяцев и дву дней». Следовательно, он родился 19 (29) апреля 1686 года.

Татищевы принадлежали к ветви князей смоленских. Род этот, однако, давно захудал. При московских царях лишь немногие поднимались до думных чинов. Дед Василия, Алексей Степанович, имел небольшую вотчину — сельцо Басаргино в Дмитровском уезде. Службу он начинал в 1638 году в чине жильца в Туле. При Алексее Михайловиче, в 1647 году, он стал стольником, а в 1659 году был воеводой в Ярославле. В 70-е годы участвовал в чигиринских походах, а в 1680 году был отставлен от службы и, видимо, вскоре умер. Вотчина перешла к его дочери Наталье, а с поместья должен был нести службу старший сын Федор. Никита Алексеевич, получивший в 1678 году чин жильца, остался беспоместным.

В XVI — XVII веках московские чины стояли по служебной лестнице выше уездных. Жильцы составляли как бы промежуточный слой: они набирались из младшего поколения московских чинов и из «выбора», то есть уездных дворян. Службу они несли либо поочередно при дворе, либо в походах в «государевом полку».

В XVII веке сохранялась сложная система вознаграждений за службу. Поместье постепенно приравнивалось к вотчине, поскольку государство было заинтересовано в наследственном характере службы. Но основной формой вознаграждения являлся оклад, состоящий отчасти из денег, а большей частью из земельных пожалований временного пользования.

Земельные владения Татищевых были расположены главным образом в Московском и Псковском уездах. После Чигиринского похода 1678-1679 годов, в 1680 году, братья Федор и Никита возбудили ходатайство о выделении им доли в поместье умершего представителя псковской ветви Татищевых — Василия Петровича. Из Вотчинной конторы последовал отказ, поскольку специальная статья Соборного уложения 1649 года (статья 68 главы XVI) запрещала дворянам, получившим пожалования в Московском уезде, наследовать поместья «во Пскове и в Великом Новгороде». В новой челобитной Никита доказывал, что названная статья «челобитью неприлична», так как он «поместья и вотчин» не имел «ни единые чети» (четь — половина десятины). В итоге он получил 300 четей (считалась обычно земля в одном поле при трехпольной системе) и перешел в разряд псковских дворян, оставаясь дворцовым служащим.

Значительные перемены не происходят без глубокой общественной потребности. Но потребность не всегда разрешается наилучшим способом. 80-е годы XVII столетия были переломными: прежние устои пошатнулись, осознавалась необходимость каких-то изменений,

но каких именно — большинству было неясно, а отдельные деятели предлагали выходы более или менее частные, сословно или даже фамильно ограниченные. И уже спустя три столетия нелегко определить, где находилась та равнодействующая, которая обеспечивала наиболее целесообразное развитие в последующее время.

Поскольку детские годы героя этой книги протекали «на службе» при царском дворе, необходимо напомнить о главных лицах правящей династии XVII — начала XVIII века.

Алексей Михайлович Романов умер в 1676 году в возрасте всего 47 лет. От первой жены, Милославской, у него было тринадцать детей. К моменту его смерти в живых оставались сыновья Федор и Иван и шесть дочерей. От Натальи Нарышкиной в 1672 году родился Петр, а затем две девочки, одна из которых вскоре умерла. Со смертью Алексея Михайловича при дворе развернулась борьба двух группировок. Боярин Артамон Сергеевич Матвеев, в доме которого воспитывалась Наталья Нарышкина, попытался возвести на престол Петра мимо его старших братьев. Это ему не удалось. Царем был провозглашен четырнадцатилетний Федор, а Артамон Матвеев отправился в ссылку.

Острые и емкие зарисовки о придворных деятелях конца XVII века дал известный дипломат, свояк Петра I Борис Иванович Куракин. Постоянно интересовала эта эпоха и Татищева, который оценивал ее и как историк, и как младший современник. Оценки того и другого замечательны еще тем, что они лишены раболепия по отношению к власти имущим. Татищев лишь несколько идеализировал личность Алексея Михайловича, в чем сказывалось несогласие с деятелями из петровского окружения, поднимавшими Петра за счет принижения предшественников. Позднее историки С. М. Соловьев и В. О. Ключевский показали, что в XVII век уходили истоки и положительных и отрицательных акций царя-преобразователя.

Централизованное Русское государство складывалось под обжигающим воздействием ветров из степного юго-востока. Любой внутренний раздор сурово наказывался набегом татарской конницы, а позднее также польско-литовскими и шведскими вторжениями. Подчинение личных интересов государственным постепенно стало нормой жизни и мышления. Но со временем социальные верхи эксплуатируют эту идею в корыстных интересах, XVII столетие называют «бунташным» веком. Он был таковым именно потому, что эта тенденция стала осознаваться. Но внутренние противоречия не были разрешены, и опять-таки в значительной мере из-за внешней угрозы (в Смутное время это проявилось в полной мере).

Авторитет царской власти в, рамках централизованного государства создавался искусственно и как бы воплощал идею единства и подчинения личных интересов государственным. Соборное уложение 1649 года включило ряд угрожающих статей в защиту царской чести. Но сам Алексей Михайлович к этому непосредственного отношения не имел. Он вел себя так, как полагалось «православному царю», также выполняя своеобразный долг. Был он человеком безынициативным, но не лишенным чувства нового. В споре сторонников преобразований по западному образцу с ревнителями старины он занимал умеренно западническую позицию. При нем создаются полки «иноземного строя». Чужд был он и религиозного фанатизма (весьма сильного в это время в Западной Европе). Для воспитания детей ко двору приглашались лучшие учителя. Умерший в шестнадцатилетнем возрасте (в 1670 году) царевич Алексей хорошо знал латынь и современную ему литературу. Федор Алексеевич, воспитателем которого был Симеон Полоцкий, слагал вирши и сочинял музыку. Сам Алексей Михайлович поддавался увлечению поэзией и пытался сочинять вирши. Правда, поэтический дар самодержца не решались превозносить даже льстивые царедворцы.

Утвердившаяся к XVII веку традиция признавала за царем право на определенные прихоти, совместимые с царской честью. У Алексея Михайловича это была соколиная охота и ловля птиц и зверей. У Федора Алексеевича — страсть к лошадям. Татищев, отрицательно относившийся к

увлечениям обоих правителей, замечает, что при Федоре «...всяк наиболее о том прилежал, и ничим более, как лошадьми, хвалилися». Другая прихоть царя, видимо, больше беспокоила придворных, поскольку была дорогостоящей, но оказалась благотворной для государства: Федор был увлечен каменным строительством. Он создал специальный Каменный приказ, в задачу которого входило оказание материальной и технической помощи строителям, на льготных условиях выдавал материалы и средства из казны. В остальном царь не проявлял ни особой инициативы, ни последовательности, поскольку, как говорит Татищев, «был человек молодой, а к тому же не весьма твердой природы».

Алексей Михайлович многое из своей власти охотно уступал боярам и кругу приближенных. Федор в этом отношении определиться не успел. Но сознание необходимости держать при дворе представителей разных группировок господствующего класса стало уже своеобразной нормой поведения монарха. В приближении к царю находились дворяне Иван Языков и Алексей Лихачев. Соперничавшую с ними группировку возглавил Иван Михайлович Милославский, возвращенный из ссылки, по определению Татищева, «человек великого коварства и злобы». Соперники столкнулись на вопросе о женитьбе царя.

Женитьба монарха всегда являлась актом политическим. Но от русского царя не требовали подчинения его выбора задачам укрепления международных связей. Иван Грозный создал и прецедент, неоднократно затем повторявшийся: две тысячи невест — дочерей дворян свозили со всей страны, и царь вместе со своеобразной комиссией проводил смотрины. Таким путем женился и Алексей Михайлович, хотя в результате неизбежных придворных интриг ему и не удалось настоять на своем выборе (избранницу объявили нездоровой). На Марии Милославской юный самодержец женился по совету своего воспитателя Бориса Ивановича Морозова, который сам женился на ее младшей сестре и сделался свояком царя.

Федор невесту выбрал сам и оказался более настойчивым в личных делах, чем отец. Попытка Ивана Милославского скомпрометировать невесту — Агафью Симеоновну Грушецкую — разбилась о настойчивость жениха и завидную смелость невесты, оказавшейся способной постоять за себя. Ивану Милославскому пришлось бы снова отправиться в ссылку, если бы не предусмотрительное великодушие молодой царицы.

Старшие сыновья Алексея Михайловича не отличались твердостью, необходимой правителю, но способны были глубоко чувствовать и крепко привязываться. Алексей резко подорвал и без того слабое свое здоровье, тоскуя по умершей матери. И Федор не смог перенести обрушившихся на него несчастий: сначала, подарив царю и отечеству наследника, скончалась молодая царица, а некоторое время спустя умер и наследник. Придворные, пытаясь отвлечь царя от переживаний, женили его на Марфе Матвеевне Апраксиной. Но это лишь ускорило развязку. 27 апреля 1682 года Федор скончался.

С кончиной Федора возобновилась борьба Нарышкиных и Милославских. Фавориты Федора вместе с патриархом Иоакимом взяли сторону Нарышкиных, и десятилетний Петр был провозглашен царем мимо шестнадцатилетнего Ивана «собором», организованным на кремлевской площади. Акция эта встретила и противодействие в определенных столичных кругах.

Еще при Федоре начались волнения среди стрельцов. Теперь их недовольство должно было вылиться на преемника. Если бы таковым оказался Иван, то, возможно, и недовольство вылилось бы в его адрес. Но Иван сам выглядел жертвой. Поэтому стрельцы встали на его защиту. К тому же поддерживающий Нарышкиных патриарх ретиво преследовал раскольников. А многие стрельцы были из их числа. Уже на третий день после воцарения Петра стрельцы подали жалобы на полковников. Перепуганные советники царицы Натальи рассчитывали «откупиться» от стрельцов, наказав кнутом и батогами нескольких полковников. Стрельцы

усилили нажим на власти, почувствовав их слабость, а стрелецкие головы потеряли интерес к правителям, которые отдали их наперсников на заклятие, даже не проверив истинности обвинений.

Стрельцы в Русском государстве конца XVII века — явление довольно своеобразное. В свое время это было привилегированное войско из числа служивших «по прибору». Стрельцы получали огнестрельное оружие от государства, тогда как другие категории войск приходили на службу «конно и оружно». За службу стрельцам выделялось около двадцати десятин земли и два-три рубля жалованья в год. Жили они в специальных слободах в городах и использовались главным образом в качестве войск внутренней охраны. В свободное от службы время они занимались ремеслом и торговлей. В итоге стрельцы олицетворяли как бы два разных сословия: служилых людей и торгово-ремесленное население города. В качестве первого они вели борьбу за исправную выплату жалованья, а в другом качестве — протестовали против увеличения службы.

К концу XVII века стрелецкое войско основательно разложилось. Полковники и прочий командный состав из дворян расхищали деньги, отпускаемые на жалованье, а сами стрельцы стремились всеми средствами уклониться от службы. Эти обстоятельства и нашли выражение в известных восстаниях стрельцов. В качестве торгово-ремесленного населения стрельцы восставали против феодального строя, в качестве привилегированного слоя феодального общества они выступали за упрочение сословных перегородок.

Движение стрельцов использовали в своих целях разные силы. Князь Иван Андреевич Хованский натравливал стрельцов на своих недругов и лелеял мечты о собственном воцарении на Московском столе. В свою очередь, Милославские рассчитывали использовать Хованского против Нарышкиных, а затем устранить и его самого. 15 мая 1682 года стрельцы двинулись к Кремлю. Как и во многих других аналогичных выступлениях, восставшие шли спасать царскую семью от козней бояр. На сей раз речь шла об обойденном властью Иване и его сестрах. Распространился слух, что Ивана убили. Рассчитывая успокоить толпу, Нарышкины вывели на крыльцо Петра и Ивана. Но движение уже невозможно было остановить. После непродолжительной заминки подогреваемые смутьянами стрельцы ворвались на крыльцо и сбросили на копья только что вернувшегося из ссылки боярина Артамона Матвеева. На глазах Петра были убиты и другие видные сторонники партии Нарышкиных, в том числе его дядя Афанасий Кириллович. 17 мая на расправу стрельцам был выдан и еще один брат царицы — Иван Кириллович. Отец Натальи Кирилл Полуэктович был помилован с условием, что он уйдет в монастырь. Раздавались требования заключения в монастырь и самой Натальи Кирилловны.

Противоречивое положение стрельцов сказалось и на ходе восстания, и на их требованиях. Восставшие разгромили Судный и Холопий приказы и уничтожили крепости на несвободных людей. Но, получив удовлетворение своих требований, стрельцы позволили использовать себя для расправы с челобитчиками, бившими челом «о свободе, чтобы им быти бескабально».

Натравить стрельцов против Милославских Хованскому не удалось. 26 мая Иван был провозглашен царем наряду с Петром. Через три дня Софью провозгласили регентшей. Хованский попытался противопоставить стрельцов-раскольников приверженцам Софьи. Но это вызвало лишь раскол в самом стрелецком движении. Подобно тому как в 1564 году покинул Москву Иван Грозный, 29 августа 1682 года царский двор выехал в Коломенское, а затем в Саввино-Звенигородский монастырь. Было объявлено о заговоре против жизни царей. В Троице-Сергиев монастырь приглашались вооруженные дворяне для предотвращения угрозы. Из села Воздвиженского (десять километров от монастыря) был направлен указ Хованскому явиться «для встречи гетманских посланцев». Хованский, не чувствуя прочной опоры, вынужден был повиноваться. 17 сентября он был схвачен и казнен. Правительство Софьи обещало стрельцам

полное прощение, и они пришли в монастырь с повинной. Разрозненные антифеодальные и внутрифеодальные движения после этого были вскоре усмирены.

Майские события 1682 года оставили неизгладимый след в сознании Петра, способствуя выработке у него отрицательного отношения ко всему старому русскому. Именно тогда овладела Петром неумная жажда мщения строптивым стрельцам, вылившаяся шестнадцать лет спустя в яростную расправу над ними. Пока же такой возможностью он не располагал: Нарышкины были оттеснены от дел Милославскими.

Если мужское потомство Марьи Ильиничны Милославской отличалось болезненностью, то все дочери были, что называется, в соку. Софья к тому же отличалась большим умом и политической активностью. Неизменно поддерживали ее сестры и тетки. Уже при Алексее Михайловиче началось некоторое ослабление «теремного» режима для русских женщин. Царь водил жену и детей на «комедийные действия», брал их с собой на охоту. Им дозволялось потанцевать в обществе. Однако выходить замуж царские дочери не могли. Для них требовались женихи королевского достоинства, да еще православные. В результате двор был переполнен старыми девами разных возрастов и поколений, с тоской и завистью взиравших на естественные горести и радости своих сверстниц из менее знатных семей. Приход к власти Софьи резко изменил ритм жизни всей женской половины рода Милославских. Никто теперь не запрещал им иметь «голантов». Двор наполнился неумным весельем. Сестры Софьи проявляли завидное усердие, создавая хоры и комедийные группы: из их состава в основном и выбирались «голанты».

Мощная фигура Петра в позднейшей историографии заслонила неудачную регентшу. Но и современники, и ближайшие потомки давали ее правлению вполне положительную оценку. Мудрость правителя в конечном счете проявляется в подборе им деловых людей. И в этом отношении Софья была на достойном уровне. «Правление царевны Софьи Алексеевны, — писал позднее Борис Иванович Куракин, — началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольствию народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления через семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякие ремесла, и науки почали быть латинского и греческого языку...»

80-е годы были, несомненно, самыми благополучными для русской экономики. Ширилось каменное строительство (свидетельство чему сохраняющаяся до сих пор архитектура многих русских городов), росла торговля, развивалось предпринимательство, в том числе крестьянское. В одной Москве, по сообщению посетившего ее француза Невилля, было построено за это время более трех тысяч каменных домов. По свидетельству того же Куракина, Софья «по своей особой инклинции к амуру Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою... И почал быть фаворитом и первым министром, и был своею персоною изрядной и ума великого и любим от всех».

В 1682 году Софье было двадцать пять лет. Князь В. В. Голицын родился в 1643 году. Благодаря знатности рода он скоро оказался в непосредственной близости от «превысочайшего престола». Отроком в качестве чашника он «вина нарежал». Во время поездок царя по подмосковным селам выполнял обязанности возницы и «ухабничего». С началом правления Федора его из стольников сразу произвели в бояре. Не без влияния Голицына в 1679-1680 годы были смягчены некоторые статьи уголовного законодательства и судопроизводства: отменялось отсечение рук, ног, пальцев за воровство (за исключением участников повторных краж), ускорялось прохождение дел «колодников», которым ранее обычно не слишком торопились предъявить их «вины».

На протяжении 70-х годов Голицын неоднократно назначался «для бережения городов» на

Украину. Особых воинских талантов он там не проявил. Зато его дипломатические успехи были несомненными. Это способствовало росту его влияния при дворе. Он получает богатые пожалования из дворцовых вотчин.

С именем Голицына связано большинство преобразовательных идей 80-х годов. В конце 1681 года ему было поручено разработать план преобразования войска. Комиссия быстро предложила решение: отменить местничество и ввести «немецкий строй» в войске. Мотивировалось это тем, что в недавних войнах неприятели «показали новые в ратных делах вымыслы». 12 января 1682 года было созвано некое подобие земского собора, который формально утвердил одно решение: «Да погибнет во огни оно, богом ненавистное, враждотворное, братоненавистное и любовь отгоняющее местничество и впредь да не вспомняется вовеки!» Повышению действенности управления служил и проект 1681 года о создании в стране наместничеств. Но из-за противодействия церкви, опасавшейся дальнейшего усиления светской власти, проект не был утвержден.

После 1682 года Голицын сосредоточивает в своих руках всю полноту власти. Он возглавляет сразу несколько приказов, в том числе Посольский, Иноземский и Рейтарский. В других приказах делами ведают его сторонники. Около 1687 года боярский чин получает и юный сын временщика Алексей, показывавший, кстати, недюжинные государственные способности. Подобно всем временщикам и в соответствии с феодальным пониманием оплаты заслуг Голицын стремился и к почестям и к пожалованиям. Татищев, весьма высоко ценивший Голицына, осуждал князя за пристрастие к своим родственникам, которые как бы выводились из-под действия им самим установленных законов. Но о государственном интересе князь никогда не забывал.

Во второй половине XVII века утверждается одна тенденция, которая будет нарастать на протяжении двух столетий: подозрительно относясь к иноземным порядкам, представители господствующего класса начинают наперебой щеголять иностранными сувенирами и безделушками, а кое-кто теперь оценку иноземцев ставил выше, чем мнение собственных современников и потомков. В круг модных вещей в этот период входят просвещение вообще и книги в частности. И Голицын одним из главных украшений своего дома в Охотном ряду считал библиотеку, в которой имелись рукописные и печатные книги на латинском, польском, немецком и, конечно, на русском и украинском языках. Помимо традиционных церковноучительных книг, способных поразить гостя разве что окладом, здесь были работы по философии, истории, военному делу, государственному устройству. В доме Голицыных собирались наиболее просвещенные представители правящей верхушки, а также иностранцы. Князь любил беседовать с ними, и они любили беседовать с ним. Именно иностранцы рассказывают о больших преобразовательных планах Голицына, о его внимании ко всякого рода новым веяниям на Западе. Иностранцы восхищались его умом и размахом намечаемых реформ. Как сообщает Невилль, Голицын был занят двумя проблемами: как поднять боеспособность войска и откуда взять деньги на его содержание. Перестройку он предполагал провести за счет устранения чрезвычайной пестроты в тинах войск. Улучшению организации войска, его подвижности должен был служить и перевод его на денежное жалованье. Обеспечить это можно было лишь на путях общего увеличения поступлений в государственную казну. Голицын полагал, что наибольшее увеличение поступлений может быть обеспечено за счет освобождения крестьян от крепостной зависимости, увеличения их земельных наделов и соответственного увеличения государственных податей.

Планы Голицына, по-видимому, оставались на уровне предварительных обговоров в кругу друзей и ближайших сотрудинок — людей незнатных, но деятельных: Неплюева, Касогова, Змеева, Украинцева. И нельзя сказать, чтобы для этих планов вообще не было материальной

основы. Скорее их можно считать отражением действительной направленности развития в 80-е годы. В условиях экономического подъема преимущества вольнонаемного труда были особенно заметны, и ослабление крепостнической зависимости проявлялось в это время в разных формах. К тому же крестьяне считались лично свободными, так как закреплялись они не за теми или иными владельцами, а за определенной территорией, которой дворяне в большинстве случаев владели временно. Но, разумеется, что проведение сколько-нибудь значительных реформ было возможно только от имени царей. А склонить их к этому в 1689 году у Голицына сил уже не было, если он к этому и стремился.

И Голицын и Софья прекрасно сознавали шаткость своего положения. Петр подрастал. Он уже в одиннадцать лет производил впечатление шестнадцатилетнего юноши. Теперь же, спустя шесть лет, он и прямо демонстрирует пренебрежение к Софье. Поднимала голову и мать царя Наталья Кирилловна, жаждавшая отомстить сопернице. «Вечный мир» с Польшей в 1686 году был крупнейшей дипломатической победой Голицына, нацелившего внешнюю политику страны на борьбу за моря. Одним из результатов договоренности с Польшей было соглашение о выступлении совместно с Австрией и Венецией против Турции. Но к серьезным военным операциям на юге Россия еще не была готова. Два крымских похода Голицына способствовали освоению плодородных черноземов юга, но в военном отношении закончились неудачей. Это пошатнуло положение и Голицына и Софьи. К тому же в отсутствие Голицына Софья обзавелась новым «голантом» — Федором Шакловитым, главой Стрелецкого приказа. Софья с Шакловитым была готова идти до конца в борьбе за власть. Голицын же и ранее предпочитал синицу в руке журавлю в небе. Теперь ему и вообще не было смысла втягиваться в более чем рискованные затеи регентши. Он готов сотрудничать с митрополитом Иоакимом в деле предотвращения назревающих столкновений, не прочь установить деловые отношения и с Петром. Но уже поздно. Шакловитый попытался поднять стрельцов, но безуспешно. Неудачника казнили. Софью заточили в монастырь. Голицына лишили всех чинов и отправили в ссылку. Судьба его могла быть и более печальной, если бы не заступничество двоюродного брата Бориса Александровича Голицына — любимца Петра и одного из организаторов подавления заговора Софьи и Шакловитого.

Власть снова перешла к матери Петра. В окружении Натальи Кирилловны не было людей, достойных управления огромным государством. Сама Наталья была, по выражению Куракина, «править некабель¹, ума малого». Борис Голицын, единственный достаточно подготовленный деятель, «пил непрестанно» и мало заботился о последствиях, разоряя вверенные ему области. Брат царицы Лев Нарышкин отличался бесшабашным характером и той же страстью к пьянству. Еще один приближенный Натальи, Тихон Стрешнев, оценен современниками как «интригант дворовый». Ничего к этому синклиту не могли прибавить и новые родственники Петра Лопухины, приблизившиеся ко двору после его женитьбы. В итоге же, заключает Куракин, «правление царицы Натальи Кирилловны было весьма непорядочное, и недовольное народу, и обидимое. И в то время началось неправо правление от судей, и мздоимство великое, и кража государственная, которая донныне продолжается с умножением, и вывестъ сию язву трудно».

В событиях конца столетия невольно участвовал и царь Иван. Был он косонозычен, страдал цингой. Говорили и об умственной его неполноценности. Правда, Татищев позднее находил, что Иван был «довольного ума». Но это, видимо, впечатление детства: именно ко двору Ивана был взят мальчик Василий, сын Никиты Татищева.

Софья, естественно, стремилась использовать Ивана для оттеснения Нарышкиных. Этой цели служила и женитьба больного царя, причем предусматривалась и возможность «помощи» супругу для произведения на свет наследника. Женитьбу осуществили в духе старины: свезли невест из разных мест. Не слишком зоркий взгляд семнадцатилетнего царя уловил

расположенность к нему жизнерадостной и миловидной Прасковьи Салтыковой.

Салтыковы вели свой род от Михаила Прушанина, выехавшего в XIII веке из Пруссии в Новгород. Прадед Прасковьи Михаил Глебович уехал в Польшу. Но с возвращением России Смоленска ее отец Александр-Федор принял русское подданство. От первого брака Федора в 1664 году родилась Прасковья. Вторым браком он был женат на Анне Михайловне Татищевой (умерла в 1702 году), дочери самого видного деятеля из рода Татищевых — Михаила Юрьевича.

Через несколько лет вполне благополучной жизни Ивана и Прасковьи царица наконец «очреватела» и в 1689 году родила дочь. Затем у нее родилось еще четыре девочки. В то время дети часто умирали в грудном возрасте. Остались в живых Екатерина (1692), Анна (1693) и Прасковья (1694). Положение Татищевых укреплялось по мере того, как увеличивалась вероятность наследования престола потомством старшего царя — Ивана. В 1691 году Михаил Юрьевич получил боярский чин, а Никита Алексеевич почетное поручение Поместного приказа ехать в Дмитровский уезд «для розыску, меры, межевания и учинения чертежа в поземельном споре Богоявленского монастыря». В 1697 году Никиту Алексеевича посылают «для поиску под неприятелем и для строения в Азове, Любине, Таганроге, всяких крепостей в полку боярина А. С. Шеина у жильцов ротмистром». Поместья его возрастают до 1059 четей в поле. В связи с рождением царевны Анны сыновья Никиты, десятилетний Иван и семилетний Василий, были пожалованы в стольники. Так началась придворная служба Василия — первая его жизненная школа.

Царь Иван Алексеевич умер в 1696 году. У Прасковьи в это время числилось 263 стольника. Вдовой царице пришлось распустить чрезмерно разросшийся штат. Петр позволил невестке выбрать любое из дворцовых сел. Прасковья остановилась на Измайловском, где и проходила ее дальнейшая жизнь. Измайловский дворец «на острове» был излюбленным местом обитания еще Алексея Михайловича. В Измайловских садах проводились опыты с разведением разного рода экзотических растений. Здесь же находили применение всевозможные технические новинки. Прасковья силой обстоятельств должна была поддерживать это тяготение к новому. Она охотно и радушно принимала буйные компании Петра, помогала ему в частных делах. Измайлово становится одним из центров зарождающейся театральной жизни. В то же время и патриархальность в ее положительных и отрицательных проявлениях накладывала отпечаток на быт царицы. Дом заполняли юродивые, прятавшиеся при посещении дворца Петром и его разгульными компаньонами. В доме Прасковья оставалась типичной русской барыней.

Дружба с будущей царицей Екатериной и сестрой Петра Наталией, родство с Трубецкими, Стрешневыми, Куракиными, Долгорукими, свойство с «кесарем» Федором Юрьевичем Ромодановским давали Прасковье устойчивое положение, но устойчивых доходов она не имела. Не было денег на ремонт обветшавшего дворца. Не было средств даже на то, чтобы заплатить гувернерам. Ничего не получил Стефан Рамбух, нанятый в 1703 году, дабы он девочек «танцу учил и показывал зачало и основание языка французского». Правда, учитель мог утешаться тем, что он и не научил ничему своих воспитанниц. Немного дал и другой «воспитатель» — бездарный брат Генриха-Иоганна-Фридриха Остермана, переименованного Прасковьей в Андрея Ивановича. Даже по тому времени царевны получили недостаточное образование. И едва ли не менее всех досталось на долю будущей императрицы Анны.

В условиях тяжелой Северной войны Петр распоряжается судьбами царевен как разменной монетой в дипломатических торгах. Семнадцатилетнюю Анну в 1710 году выдали за герцога курляндского Фридриха-Вильгельма. Герцог «пил до невозможности» и в начале 1711 года по дороге из Петербурга в Митаву умер «от непомерного потребления крепких напитков». Анна приезжает в Курляндию уже вдовой. Ее сестру Екатерину в 1716 году выдали за герцога мекленбургского Карла-Леопольда, который не успел даже развестись с первой женой.

Беспринципный и жестокий, он презирал русских. Правда, и сам он пользовался презрением, и не только у русских. Позднее, в 1736 году, когда «презренным русским» было уже не до него, он был лишен престола и кончил жизнь в заточении. Еще ранее Екатерина вернулась в Россию. Прасковье жениха не подобрали. Тайно же она была обвенчана с сенатором Иваном Ильичом Дмитриевым-Мамоновым.

Хотя с кончиной царя Ивана Алексеевича Татищевы должны были покинуть придворные должности, близость их к дому Прасковьи Федоровны сохранялась. Василий до конца жизни царицы был в нем своим человеком, имея здесь и друзей и недругов. И позднее, критикуя «суеверных пустосвятов, льстецов и лицемеров», он приводит одно «доказательство», «которое многим ведомо, а никому в обиду быть не может». «Двор царицы Прасковьи Федоровны, — вспоминает Татищев, — от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Между многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумазбродной подьячей, которого за святого и пророка суеверцы почитали, да не только при нем, как после его предсказания вымыслили. Он императрице Анне, как была царевною, провесчал быть монахиней и назвал ее Анфисою, царевне Прасковий быть за королем и детей много иметь. А после как Анна императрицею учинилась, сказывали, якобы он ей задолго корону провесчал».

Упомянутый эпизод с «предсказанием» мог относиться к началу XVIII века. Другой эпизод, связанный с откровениями того же самого «прорицателя», Татищев относит уже к 1722 году, когда он отъезжал «в Сибирь к горным заводам и приехал к царице просчение принять». Царица, вспоминает Татищев, «жалуя меня, спросила онаго шалуна, скоро ли я возвращусь. Он, как меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: он руды много накопает, да и самого закопают».

Соприкосновение в детстве с самыми верхами государственной системы, несомненно, оказало влияние на формирование мировоззрения и в какой-то мере характера Василия Никитича. Широкий, государственный кругозор был ему как бы задан с детства. Сызмальства ему свойственны и весьма многих раздражающая независимость суждений, и чувство собственного достоинства.

Никита Алексеевич Татищев, судя по назначениям, отличался определенными познаниями в области геодезии, а также фортификации. Очевидно, от него эти знания унаследовал и Василий. В семье Татищевых учению вообще уделялось большое внимание. Начатки образования получили не только все три брата, но и их сестра Прасковья. При этом никто из них не значится в списках слушателей Славяно-греко-латинской академии. Обучались, по-видимому, на дому. При дворе тогда были модны польский и немецкий языки, особенно первый. Это было связано как с наплывом воспитанников Киево-Могилянской академии после воссоединения Украины с Россией, так и с общим курсом на сближение с Польшей. Позднее Татищев проявляет хорошее знание этих языков. Весьма вероятно, что первое знакомство с ними он получил еще в годы своей придворной службы.

Какое-то время семья Татищевых проводит в Пскове, близ которого находились основные владения Никиты Алексеевича. В воспоминаниях Татищева остался любопытный факт, относящийся к этому времени. Тринадцатилетним мальчиком он наблюдал судебные процессы, проводившиеся городским управлением. И опять-таки его влекло не праздное любопытство, а стремление узнать, понять и осмыслить. Цепкая память мальчика доставляла уже зрелому мужу материал для анализа и далеко идущих выводов. Псковские наблюдения использовались им позднее для сопоставления практиковавшегося в Пскове самоуправления и новгородской анархии. Комментируя разногласия Пскова и Новгорода в 1228 году, Татищев находил, что «во псковичех более умных и правдивых людей было, и лучший порядок содержан, нежели в Новегороде, ибов в Новегороде, конечно бы, таких сомнительных, а притом весьма невинных

людей побили, как часто случалось». Псковское судопроизводство ему представлялось образцом справедливости, и, как он полагал, «за сие псковичи вольности их до времен наших сохранили». В XVII веке здесь еще сохранялось городское войско, полковники которого назначались городским управлением.

Отмеченные Василием Никитичем следы псковского самоуправления непосредственно восходили не к древним псковским вольностям, а к остаткам реформы Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина, проведенной им в 1665 году за восемь месяцев пребывания в качестве псковского воеводы. Считается, что реформа была отменена по настоянию преемника Ордина-Нащокина Хованского уже в следующем году. Но, судя по данным Татищева, Хованский не смог совершенно ее ликвидировать. С другой стороны, Татищев правильно увидел в своеобразии внутреннего устройства Пскова сохранение древней традиции, а не того, что было заимствовано воеводой «с примеру сторонних чужих земель» (то есть самоуправления по Магдебургскому праву).

Псков отличался не только «порядочными» республиканскими обычаями, но (опять-таки в отличие от Новгорода) и особой приверженностью идее единой русской государственности, Москве. Татищевы здесь к тому же представляли не столько местное, сколько именно московское дворянство. Все это накладывало отпечаток на формирование политических взглядов будущего мыслителя: республиканские традиционные русские истоки преломлялись через призму московского самодержавия как носителя идеи государственного единства и величия отечества.

Весьма вероятно, что в памятный для России год тяжелого поражения под Нарвой семья Татищевых находилась под Псковом. Начавшаяся война требовала ускоренного обучения недорослей для определения их на службу. В самом начале 1704 года на Генеральном дворе села Преображенского проводился очередной набор детей жильцов-стольников. Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев из 1400 недорослей признал негодными более трехсот. Братья Татищевы — двадцатилетний Иван и семнадцатилетний Василий — выдержали экзамен и были зачислены в драгунский полк. Незадолго до этого братья потеряли мать Фетинью, а отец их женился на «Вере — дочери Потаповой». Сыновья не приняли мачеху, и это было одной из причин, почему в полк ушли оба брата сразу. Позднее Татищев вспоминал о последнем домашнем напутствии: «Родитель мой, в 1704 году отпуская меня с братом в службу, сие накрепко наставлял, чтоб мы ни от чего положенного на нас не отрицались и ни на что сами не назывались; и когда я оное сохранил совершенно и в тягчайших трудностях благополучие видел, а когда чего прилежно искал, или отрекся, всегда о том сожалел, равно же и над другими то видел».

Татищев воспроизвел наказ отца в напутствии своему сыну. Совет Никиты Алексеевича был вполне в духе порядков, царивших при дворе, где выше всего ценилась исполнительность, а любая инициатива вызывала настороженность и подозрение. Но деятельная натура Василия была совершенно чужда этому принципу. Он советует сыну то, чего сам никогда не делал, — и за отступление от чего, как будет видно, постоянно страдал.

19 февраля 1704 года в Москву прибыл турецкий посол Мустафа-ага. На встречу не вполне дружественного гостя вывели три пехотных полка, в том числе и «новики», одетых «в убор немецкой конницы». После этого «новики» осмотрел сам Петр и «по смотру, которые годились в службу, писали всех в солдаты». До июля 1704 года два сформированных полка проходили обучение, а затем были направлены под Нарву. Здесь в августе 1704 года Василий, по-видимому, и принял первое боевое крещение в качестве рядового драгуна. Он вспоминал об этом эпизоде, комментируя летописное известие о явлении «огненного змия» в 1146 году, подобный которому ему приходилось наблюдать в 1704 году «в бытность наших войск при Нарве и в Москве», а затем в 1717 году, «будучи близ Познани». Установив, что в одно и то же время «огненный шар»

был видим и в Германии и в Москве, Татищев заключил, что «шар» проходил на большой высоте. Многочисленные домыслы и происки «очевидцев» он при этом решительно отводил с помощью своеобразного сравнительного анализа и отсылками к работе Вольфа «Физика», где аналогичный факт был описан как падение метеорита. Примечательно, что пытливый ум даже и в самые тяжелые годы войны более занимали неразгаданные тайны бытия, чем важнейшие вехи напряженной борьбы русского войска с первоклассной шведской армией или собственные подвиги.

Если в конце XVII века тяга к образованию захватывает сравнительно узкий придворный круг и наиболее предприимчивые слои посада, то с начала XVIII века подготовка знающих дело специалистов становится важной государственной задачей. Открываются специализированные школы, детей дворян посылают на учебу за границу. Те же, кто не успел получить необходимые знания в школах или у домашних учителей, стремятся теперь восполнить их в «полевых» условиях. Татищев принадлежал к тому сравнительно небольшому кругу дворян, чья подготовка уже превышала курсы вновь открываемых училищ (Артиллерийской школы, действовавшей с 1701 года, и других). Но она не удовлетворяла ни его собственным запросам, ни требованиям, которые в будущем ему могла предъявить служба. Поэтому Татищев пользуется любой подходящей возможностью для того, чтобы пополнить свои знания буквально во всех сферах науки и практической деятельности.

По-видимому, служба в драгунском полку и участие в походе войска под предводительством Шереметева от Нарвы до Курляндии, а затем операции этого войска в Польше и Литве (1705-1708) явились артиллерийской школой Татищева. Именно в это время драгунским полкам была придана специальная «конная артиллерия», а также ряд других типов артиллерийского оружия. Вскоре после большого сражения 15 июля 1705 года при Мурмызе в Курляндии братья Татищевы на какое-то время выбыли из строя по ранению. Весной же 1706 года в связи с формированием новых драгунских полков из разночинцев в Полоцке и Смоленске было отобрано десять находившихся здесь на излечении опытных драгунов для обучения новобранцев «драгунскому строю». В числе учителей оказались и оба брата Татищевы, получившие чины поручиков.

12 августа 1706 года новый драгунский полк, во главе которого был поставлен судья Поместного приказа Автомон Иванов, отправился из Москвы на Украину. В октябре, в частности, полк находился в Киеве. В составе этого полка несли службу и братья Татищевы.

Автомон Иванович Иванов — один из выдвинутых последней четверти XVII века, когда он становится дьяком, а затем думным дьяком. В качестве судьи он выступает в Поместном, Пушкарском, Иноземском и Рейтарском приказах, а также в Царской Мастерской палате, где он постоянно общался с Алексеем Михайловичем Татищевым — братом супруги Салтыкова, выполнявшим с 1688 года также должность постельничьего при Иване Алексеевиче. Не исключено, что именно покровительство Алексея Михайловича способствовало приближению Василия Татищева к командиру полка. Петр I не очень жаловал старые управленческие чины, и Автомон Иванов должен был сочетать службу в полку с руководством Поместным приказом. Поэтому он постоянно ездит из полка в Москву. Очень часто в этих поездках его сопровождает молодой поручик Василий Татищев. Ему командир доверяет и различные поручения, требующие от исполнителя аккуратности и предприимчивости. Прошедший сам большую жизненную школу, Автомон Иванов ценил и поощрял в своем подопечном пытливый ум и практическую хватку.

Именно благодаря Автомону Иванову Василий Татищев попал в поле зрения Петра I. Царь, конечно, и раньше знал стольников Татищевых. Но они подвизались в той части двора, которая была наименее интересна для набиравшего силу царя, а придворную службу «у постели» или «у

стола» он, как известно, не ценил. Теперь же он видел перед собой молодого, многообещающего офицера, проявлявшего расторопность и усердие в несении куда более важной для государства службы. В конце 1706 года Автомон Иванов отправляет Василия из Москвы в полк со 198 драгунами и сообщает об этом Петру («отпущены с Татищевым») как о деле рядовом, аналогичном каким-то другим, связанным с тем же Татищевым.

В 1706 году умер отец братьев Татищевых Никита Алексеевич. Встал вопрос о разделе имущества и владений. К этому времени Василий, по-видимому, уже имел какие-то пожалования за собственную службу. Во всяком случае, еще до раздела в том же году он добился в Поместном приказе освобождения из-под суда одного из своих крепостных крестьян. Челобитную о закреплении вотчин и поместий отца братья Иван, Василий и Никифор возбудили в Поместном приказе 10 февраля 1707 года. Вопрос, однако, не был разрешен из-за противодействия мачехи. Лишь в 1712 году, когда мачеха вторично вышла замуж, братья вновь поставили этот вопрос, подчеркивая, что «их мачиха бездетна» и что «ис тех дачь у отца их ничего не ubyло и спору и челобитья ни с кем ныне нет». В июне 1712 года братья в раздельной челобитной писали, что «поговоря... меж себя, полюбовно раделили поместье и вотчины родовые и выслужные и купленные отца своего, усадьбы и дворы и людей дворовых и всякое дворовое и хоромное строение». Разделу подлежали прежде всего владения в Дмитровском и Клинском уездах. Приданные вотчины матери в Дмитровском уезде братья оставили сестре Прасковье. К ней переходило сельцо Колашино (Колакшино) и деревня Горки в Вышеградском стане Дмитровского уезда. Кроме того, братья выделяли ей по пятьдесят рублей на приданое. Василию по этому разделу досталось две трети сельца Горбова в Лутосенском стане Дмитровского уезда и ряд пустошей в Клинском уезде. В Горбове проживало восемь семей «дворовых и деловых людей» и три семьи крестьян значилось «в бегах». Псковские, галицкие и донковские владения еще предстояло разделить, а пока братья согласились совместно выплачивать подати «до новых переписных книг».

Взяв на себя проведение раздела, Василий следит за тем, чтобы не было обиженных. Он заботится о сестре, предусматривая освобождение ее от уплаты по возможным долгам отца. Старшему брату Ивану, находившемуся в действующей армии, он предлагает взять любую из трех долей, «ежели ему ево доля нелюба». Иван, однако, не оценил деликатности брата. Три года спустя, когда Василий предложил окончательно оформить раздел, Иван выдвинул претензии к братьям, считая, что его обманули, выделив ему худшую долю. Теперь он требует передачи ему доли Василия или же осуществления нового раздела. Василий, который, очевидно, уже сделал определенные вложения в упорядочение унаследованного хозяйства, вспылил и воспротивился этим притязаниям. Затем, он, однако, согласился на обмен, хотя и считал, что брат добивается его «неправо». Особо он оговаривал лишь условие оставить за ним «человека» Александра Васильева с матерью и сестрою, служившего у него «с отпускной».

По новому разделу, утвержденному 28 июля 1715 года, Василий получил по «четверти пустоши» Ширякова и Посконина в Лутосенском стане Дмитровского уезда, половину сельца Федуллина, полусельца Залесья с примыкавшими к нему частями в пустошах и полдеревни Становой. Проживало на всех этих землях восемь крестьянских семей. В Федулдине же находились старая усадьба и сад, принадлежавшие ранее деду (почему первоначально на нее и претендовал старший брат). Часть поместий еще оставалась неподеленной и управлялась негодным к военной службе Никифором.

В целом в помеотно-вотчинных делах Татищев не имел особых успехов. Рассчитывать приходилось на денежное жалованье, удельный вес которого в оплате за службу в петровское время возрастал, хотя выплачивалось оно крайне нерегулярно. Да и размеры его далеко не соответствовали тому общественному положению, в котором Татищев оказался как в силу

наследственных связей, так и благодаря собственным служебным заслугам. Офицер Татищев явно выделялся на фоне своих сверстников самоотверженностью и результативностью выполнения любых поручений. Неоднократно оказывается он и в поле зрения Петра. Пути их пересеклись и в величайшем событии Северной войны — Полтавской битве.

Позднее Татищев вспоминал разные эпизоды Полтавской битвы, участником которых он был. В одном случае он говорит о сумятице, происшедшей в их бригаде из-за того, что находившийся на левом фланге Новгородский полк имел форму, сходную со шведской, в другом — о своем ранении на глазах Петра. Бригада, в которой находился Татищев, подверглась мощнейшему натиску со стороны шведов. Накануне, 26 июня, один унтер-офицер Семеновского полка, «немчич», перебежал к врагу. Предвидя, что перебежчик укажет шведам наиболее слабые звенья в русском войске, Петр распорядился переодеть вновь набранный полк в иную форму, а их мундиры надели солдаты одного из лучших полков — Новгородского. На первый батальон Новгородского полка и обрушили свой удар шведы. Драгуны же, входившие в ту же дивизию (в числе которых был и Татищев), видимо, не были своевременно уведомлены о переодевании, проведенном к тому же в считанные часы. Поэтому они и приняли своих за шведов.

Петр сам взял на себя командование дивизией, а после того, как первый батальон Новгородского полка, понеся большие потери, начал отступать перед превосходящими силами неприятеля, возглавил второй батальон и повел его в контрнаступление. Именно в это время пуля прострелила ему шляпу. Естественно, что драгуны стремились не отстать от ринувшегося в битву царя. Татищев оказался рядом, когда его встретила шведская пуля. «Счастлив был для меня тот день, — делился он воспоминаниями перед старшинами Астраханского края, — когда на Поле Полтавском я ранен был подле государя, который сам все распоряжал под ядрами и пулями, и когда по обыкновению своему он поцеловал меня в лоб, поздравляя раненым за Отечество. Счастлив был тот день...»

После Полтавской битвы полк, в котором продолжал служить Татищев, был снова передислоцирован в Киев. В Киеве в это время командовал войском Дмитрий Михайлович Голицын (1665-1737) — будущий лидер «верховников». Позднее, с 1711 по 1721 год, он являлся киевским губернатором. Здесь для Голицына — едва ли не самого образованного деятеля России начала XVIII века — выполняют многочисленные переводы политических и исторических сочинений. Около него постоянно группируются лица знающие и думающие, как местные, связанные с Киево-Могилянской академией, так и приехавшие из Москвы.

Атмосфера, сложившаяся вокруг воеводы, как нельзя более соответствовала и направлению мыслей поручика Татищева. В 1710 году он, «идучи из Киева с командой» (численностью в триста человек) осматривал близ Коростеня «Могилу Игореву», то есть холм, где, по преданию, был похоронен убитый в 945 году древлянами киевский князь Игорь. Сама Киевская земля, ее городища и курганы будили в Татищеве ощущение величия не только настоящего, но и прошлого Русской земли, все более заставляли его доискиваться истоков противоречий современной ему общественной жизни.

В ноябре 1709 года видному русскому дипломату Петру Андреевичу Толстому удалось возобновить старый (от 1700 года) мирный договор с Турцией, разрушив таким образом происки шведской дипломатии. Однако визирь Али-паша, заключивший этот договор, в июне 1710 года был свергнут. Русского посла заключили в тюрьму, и в ноябре 1710 года Турция объявила войну России.

С самого ее начала Татищев оказывается в южных пределах России вместе со своим полком, получившим название Азовского. Начало войны застаёт его в Азове, а затем полк направляется через низовья Днепра к Дунаю. К маю 1711 года полк включается в число русских соединений, участвующих в Прутском походе. Сюда же позднее подходят войска из Прибалтики

под командованием фельдмаршала Шереметева.

Появление русских войск у реки Прут вызвало переход на сторону России молдаван во главе с господарем Дмитрием Кантемиром. Большая группа молдавских дворян была принята на русскую службу. Сам Кантемир, известный уже в то время своим большим интересом к различным отраслям знаний, получил в Москве титул князя и значительные пожалования земель на Украине. С ним в Москву переехал и двухлетний Антиох — будущий поэт и один из постоянных собеседников Татищева.

Прутский поход, как известно, закончился неудачей. Помимо объективных причин, сказались и субъективные. Измены иностранных наемников были нередки и ранее, начиная с Нарвы. Но в данном случае Петр, может быть впервые, почувствовал крайнюю ненадежность всего института иностранных офицеров на русской службе. Иностранцы «объявили себя в первые люди в подлунной, а егда до дела дошло, то искусства — ниже вида». Сразу после подписания мирного договора, приведшего к утрате важных позиций в Причерноморье, Петр уволил в отставку 14 генералов, 14 полковников, 22 подполковника и 156 капитанов. Напротив, Василий Никитич Татищев был в 1712 году повышен в чине и отправлен из Азовского драгунского полка «за моря капитаном для присмотрений тамошняго военного обхождения».

Ненадежность иноземных офицеров остро поставила проблему подготовки высших отечественных кадров. В 1712 году «к войску французскому... для всяких наук и порядков военных» направили «30 чел. от капитанов до прапорщиков добрых и молодых офицеров, несмотря фамилии и богатства и бедности, имеющих доброе сердце и тщание к службе». Василий Никитич в это число, по-видимому, не входил: французского языка в это время он не знал и заграничные поездки как будто не побуждали к его освоению. Его объектом были германские страны, куда он и направился из Польши, где с весны 1712 года был расквартирован полк.

Первая зарубежная поездка Василия Никитича была кратковременной. Он провел там всего два месяца «и изучился там инженерства». Такой короткий срок был недостаточен, конечно, для изучения новой отрасли знаний. Но он мог быть полезным для систематизации ранее полученных знаний и получения ответов на некоторые вопросы, уже вставшие перед ним в ходе практической деятельности. В 1713-1716 годах он снова неоднократно отправляется за рубеж, проведя «за морем» в общей сложности «полтретья», то есть два с половиной года. В Германии он останавливается в разных городах, в частности в Берлине, Дрездене, Бреславле. Вполне в духе времени он учится всему, что находит интересного на своем пути. Заботясь о распространении иноземного опыта среди своих сограждан, Татищев беспрестанно закупает книги. В библиотеке, подаренной им позднее Екатеринбургской горной школе, оказались книги по строительству крепостей и оборонительных сооружений, артиллерии, геометрии, оптике, геологии, географии, геральдике, философии, истории и др. Во время этих поездок он выполнял какие-то поручения генерал-фельдцейхмейстера Якова Вилимовича Брюса.

Я. В. Брюс (1670-1735) — потомок выехавших в 1647 году в Россию знатных шотландцев. Для всех шотландцев (равно как ирландцев и других кельтских народностей), покидавших свою страну перед хищническим наступлением английских феодалов, а затем капиталистов, характерна высокая честность и преданность своей новой родине. Брюс ни в коей мере не был исключением. Да и родился он уже в России. Брюс отличался широкой для своего времени образованностью, особенно в области математики, физики, астрономии, географии.

Под наблюдением Брюса вышел календарь на 1710 год, получивший название «Брюсов календарь». В нем наряду с астрономическими сведениями давались медицинские советы, способы предсказания погоды и астрологические прорицания, вследствие чего Брюса называли в народе колдуном. Брюс являлся шефом первой Артиллерийской и Инженерной школы, а также

фактическим руководителем всей артиллерийской службы в русской армии. Как раз в 1713 году и сам Брюс выезжал в Берлин «для найма мастеровых и покупки картин». Без материальной поддержки со стороны Брюса Татищев вряд ли вообще бы смог осуществить столь значительные и дорогие закупки книг.

Помимо Брюса, в это время Татищев поддерживает постоянную связь и с фельдмаршалом Шереметевым. Так, в 1714 году весной он ездил к Шереметеву в Лубны. Не исключено, что эти встречи носили непосредственно деловой характер, поскольку именно из-под начала Шереметева Татищев отправлялся за рубеж.

Учеба закончилась к весне 1716 года. 5 апреля был произведен генеральный смотр, после которого по ранее высказанному желанию Брюса Василий Никитич был «написан в артиллерию». Его старый драгунский чин капитана, по-видимому, не был своевременно оформлен. И теперь он подает челобитную об определении в чин «во артиллерии рангом и по достоинству оного трактоментом». От экзамена остался чертеж крепостного сооружения, на котором имеется помета: «16 мая 1716-го начертал Василий Татищев». Татищев производился в инженер-поручики артиллерии «для того, что он, будучи за морем, выучился инженерному, и артиллерийскому делу навычен», как говорилось в приказе Брюса. Его определили в первую роту артиллерийского полка Главной полевой артиллерии с жалованьем 12 рублей в месяц.

В перерывах между длительными заморскими путешествиями Татищев не оставляет и других своих дел. Он приводит в порядок основательно запущенное имение (и заниматься ему пришлось этим дважды: по первому и по второму разделу), отстраивает дом, расчищает лес, «крестьян вновь населил». Летом 1714 года он женится на вдове Авдотье Васильевне, урожденной Андреевской. В 1715 году от этого брака у него родилась дочь Евпраксия, а в 1717 году сын Евграф.

Брак, заключенный, по-видимому (по крайней мере, с его стороны), по увлечению, счастливым не был. Да и трудно было ожидать иного, когда супруги крайне редко виделись. Дворяне начала XVIII века обязаны были нести возложенную на них службу беспрекословно, не отговариваясь какими-либо своими личными делами, в частности хозяйственными и семейными. Для Татищева же вопрос и не мог быть поставлен иначе. Он считал такой порядок вполне целесообразным и справедливым и никогда не пытался обойти существующие предписания (что сплошь и рядом делалось).

Охлаждение наступило уже после нескольких лет супружества. А в 1728 году Татищев обращается в Синод с прошением о расторжении брака. Он обвиняет супругу в расточительности, прелюбодеянии и даже попытке отравить его. Первые два обвинения, очевидно, обоснованны. В его отсутствие Авдотья Васильевна основательно подорвала хозяйство, распродала имущество мужа и одежду деверя Ивана Никитича. Не были секретом и ее амурные похождения, тем более оидозные, что любовником ее оказался игумен соседнего — Раковского монастыря. Третье, конечно, проверить невозможно. Позднее в «Духовной» Татищев более спокойно оценивает происшедшее, тем более что развод (из-за неявки Авдотьи Васильевны) оформлен не был. «Что до персоны супружества касается, — наставляет он сына, — то главные обстоятельства: лепота лица, возраст и веселость в беседе, которое женам большую похвалу приносит и тем много молодые прельщаются; но, как известно, что в краснейшем яблоке наиболее черви, а при лепоте женщин продерзости находятся, и для того оное бывает небезопасно». Предостерегает Татищев сына и от ревности: «Я довольно искусился, что она любовь и верность раззоряет и не хотевшую супругу огорчением на противные и коварные проступки приводит». Поэтому он рекомендует: «Если бы тебе что и противно показалось, не надобно скоро и запальчиво поступать, но добрым порядком тайно рассуждением от того отвратить и на лучшие поступки наставить, а не разглашать, ниже вид неверности

другим показывать». Несмотря на явно неудачный собственный опыт, он предостерегает сына, что «жена тебе не раба, но товарищ, помощница во всем и другом должна быть нелицемерным». Суждение, прямо скажем, отнюдь не характерное для первой половины XVIII столетия.

Но вернемся к 1716 году. Вскоре после возвращения Татищев получил от Брюса задание по подготовке «практической планиметрии». Как писал позднее сам Татищев в письме к советнику Канцелярии Академии наук Иоганну-Даниилу Шумахеру (1690-1761), задание это Петр дал самому Брюсу, а тот препоручил дело Татищеву, очевидно, считая его достаточно для этого подготовленным. Как и обычно, Татищев энергично взялся за работу и вскоре подготовил ряд тетрадей общим объемом около 130 листов. Завершить работу в целом Татищев не успел, поскольку был вскоре оторван для других, более неотложных дел. Но он сам считал целесообразным опубликование уже написанных тетрадей. Они не потеряли значения даже и тридцать лет спустя. В письме к президенту Академии наук Кириллу Григорьевичу Разумовскому (1728-1803) от августа 1747 года Татищев разъясняет практическую пользу «действующей геометрии», «ибо у нас великие вражды, беспокойства, смертные убивства, крайний разорения немощим от сильных, недоборы в казенных податях от неразмежевания земель происходят, а хотя межевсчики часто для размежевания посылаются, но такие, которые ничего о геометрии не знают, ово от неведения, ово от принуждения сильных, или по страсти межуют, как хотят; а хотя и геодезисты посылаются, но и те поль делити не учены и обидят людей или разоряют по их воле».

Вполне в духе просветительского XVIII века Татищев склонен был смешивать и отождествлять злой умысел и невежество, объяснять самые злоупотребления недостаточной образованностью. Но и его «практическая» геометрия была не просто «точной» наукой, а и определенным пониманием социальных вопросов и путей их разрешения. В том же письме Татищев напоминает, что в 1719 году им было сделано соответствующее представление Петру I, и тот «изволил довольно рассудить, что без уравниения и размежевания земель оные (подушные подати. — *Авт.*) уравниельны и постоянны быть не могут, повелел мне о том наказ со всеми обстоятельствами сочинить и для обучения землемеров геометрию делать, которое, хотя в отлучках моих продолжилось и ко окончанию привести времени недостало, однакож несколько того еще нашел». Татищев высылал эти тетради адресату, поскольку ему уже «ко окончанию привести времени недостало». Как и во всем, Татищев смотрел на свой труд как на часть общего труда на пользу отечества, ни в коей мере не дорожил даже своим авторством: лишь бы написанное служило делу, приносило реальную пользу. Но опять-таки, как и со многими другими его трудами, он настолько опережал свою эпоху, что даже присвоить их кому-либо было трудно из-за несоизмеримости знаний.

«Практическая геометрия» явилась первой крупной работой Татищева, в которой косвенно он ставил вопрос об упорядочении системы землевладения и податного обложения в масштабах всего государства. Критике в ней подвергалась не только практика размежевания, но и податная реформа, подготавливавшаяся на протяжении целого десятилетия и завершившаяся в 1718 году заменой подворного обложения подушным. Татищев находил более целесообразным не подушное, а поземельное обложение. Но вполне обосновать свои предложения он не успел, так как был обременен другими поручениями. А он имел обыкновение ответственно относиться к любому порученному ему делу.

Сам Петр и в значительной степени его администрация принадлежали к числу людей весьма деятельных. Но пользы специализации и разделения труда в должной мере еще не осознавали. Поэтому одни и те же лица перебрасывались то на одно, то на совершенно иное дело, о котором данное лицо, может быть, и понятия-то до сих пор не имело. Но даже и на этом не слишком упорядоченном фоне круг занятий Татищева поражает своей безграничностью. В

феврале 1717 года ему предложено продолжать строительство Оружейного двора в Петербурге, причем на нем же лежит и обеспечение солдат, приписанных к Оружейному двору «для караулу и посылок». А уже в апреле того же года он отправляется по поручению Брюса в Кенигсберг для приведения в порядок расстроенной русской артиллерии в двух расквартированных в Померании и Мекленбурге дивизиях, а также для того, чтобы сшить «на каждого человека по кафтану, по камзолу, по карпусу».

К 1716 году Россия достигла наивысших успехов в Северной войне и возглавила большую антишведскую коалицию. Помимо первоначальных ее союзников — Дании и Саксонии, — в коалицию входили Польша, Пруссия, Ганновер. Поддержку союзникам оказывали флоты Англии и Голландии. На суше русские войска владели Ингрией, Эстляндией, Лифляндией, шведы были изгнаны из Финляндии, Курляндии, Померании, Данцига. Немецкие герцоги искали дружбы русского царя. В свою очередь, и царское правительство стремилось привязать к России прибрежные немецкие герцогства. Этой цели и служили упомянутые выше браки дочерей царицы-вдовы Прасковьи Федоровны с герцогами курляндским и мекленбургским. Согласно брачному договору с герцогом мекленбургским Карлом-Леопольдом, заключенному в январе 1716 года, Петр обещал герцогу помощь в приобретении ряда земель, а в случае неудачи выплатить 200 тысяч рублей приданого. 8 апреля 1716 года в Данциге был подписан союзный договор, по которому взамен за обещанную помощь Россия получала право пользоваться портами Мекленбурга, а сухопутным войскам разрешался проход через его территорию и устройство там складов. В итоге русские войска к концу 1716 года оказались расквартированными на всем побережье Балтики, вплоть до Дании.

Однако достигнутый успех не был прочным. Союзники соглашались на присутствие русских войск, конечно, только ради удовлетворения собственных выгод, в частности, разного рода территориальных притязаний за счет Швеции. Но в активных действиях против Швеции они принимать участия не хотели. В результате планировавшаяся в 1716 году большая десантная операция не состоялась. А для многих союзников усиливающаяся Россия казалась теперь уже куда более опасной, чем ослабевшая Швеция. Это и не удивительно, если учесть, что в числе союзников России была Англия. Английское правительство, а также подстрекаемые английской дипломатией правительства Дании и Ганновера теперь изо всех сил добиваются отвода русских войск от Балтийского побережья. Агентура этих стран повсюду стремится разжечь ненависть к России и к русским войскам у местного населения и в соседних княжествах. С этой целью распространяются разного рода провокационные слухи, затрудняется снабжение русских дивизий. В этом направлении беззастенчиво трудился и Карл-Леопольд — зять царя.

В итоге в 1717 году прежние союзники, Дания и Ганновер, отказываются от проведения совместных военных действий против Швеции, а Англия даже готова повернуть фронт на сто восемьдесят градусов. Северный союз распался. Поэтому русская дипломатия обращает теперь внимание в сторону Франции, единственного союзника Швеции на Европейском континенте. Этому сближению помогало то обстоятельство, что союзная России Пруссия еще в 1716 году заключила тайный договор с Францией о закреплении за ней ряда полученных от русских войск территорий Балтийского побережья. К тому же в это время Франция была едва ли не единственной страной континента, заинтересованной в том, чтобы русские войска оставались в германских княжествах: таким образом французы рассчитывали воздействовать на своего исконного врага — Австрию.

Осложнение международной обстановки к зиме 1717 года побуждало русское правительство, с одной стороны, не форсировать активные действия против Швеции, а с другой — быть готовым к выводу своих войск из районов южного побережья Балтики. Подготовиться к этой возможной операции и предусматривалось командированием в распоряжение русских

войск Татищева.

На переобмундирование расквартированных в Померании и Мекленбурге артиллеристов Татищев «в добавку для посылки» получил пятьсот золотых червонцев. Ремонт артиллерийской техники, по-видимому, предполагалось осуществить за счет местных войсковых ресурсов. Поэтому многое зависело от содействия военного руководства. Брюс и снабжает Татищева специальным «письменным наказом» к генералу Никите (Аниките) Ивановичу Репнину — командиру одной из двух дивизий.

Отпущенная Татищеву сумма, конечно, совершенно не соответствовала тому объему работ, который ему предстояло выполнить. По принудительному курсу русский золотой червонец этого времени приравнивался к двум рублям — талерам. Но его действительный курс был значительно ниже (примерно полтора рубля). Поэтому если серебряный рубль шел в других европейских странах один к одному с талером (и в том и в другом было 28 граммов серебра), то на золотой червонец (3,4 грамма золота) двух талеров там не давали. Это было, конечно, известно и в Петербурге. Но по обыкновению петербургское начальство, требуя безусловного выполнения определенных работ, давало заведомо недостаточное материальное их обеспечение. Насколько незначительна была эта сумма, можно судить хотя бы по тому, что в том же 1717 году стоимость содержания одного нашего солдата в год определялась в 28 рублей 40 копеек, а одного драгуна — в 40 рублей 17 копеек. С другой стороны, пушечный мастер Витверк в Кенигсберге, которого Татищев должен был привлечь на русскую службу, согласился подготовить двух учеников за те же пятьсот червонцев. И в этом случае казна не собиралась торговаться: речь шла об иностранце.

Татищев прибыл в Кенигсберг 12 мая и немедленно с головой ушел в работу. Три дня он изучает состояние мастерских, ищет материалы, сопоставляет цены в разных местах, непрерывно уведомляя Брюса о всех своих шагах и соображениях. Он быстро выясняет, что «сукны дешевле» в Гданьске, «а штаны и сапоги делать здесь дешевле». 21 мая он уже в Гданьске, где размещает заказ на сукно, а через некоторое время мастерские получили вместе с заказом предписание выполнить его «в три недели».

В связи с начавшейся переброской русских войск к границам России дивизия Репнина передавалась под командование фельдмаршала Шереметева. 13 июля оба командующих «указали» Татищеву срочно прибыть в расположение армии «для исправления артиллерии, понеже им поход назначен к границам российским». Со своей стороны, и Брюс написал письмо Шереметеву с просьбой оказывать содействие Татищеву в осуществлении его миссии. 15 июня Татищев отбывает в Тарунь, где была дислоцирована дивизия Репнина, а также располагался штаб русской армии, во главе которой находился один из виднейших русских полководцев, будущий «верховник» Василий Владимирович Долгорукий (1667-1746). Долгорукий радушно принял Татищева, приказав по всем важным делам обращаться лично к нему.

В течение семи недель Татищев в Таруни занимается приведением в порядок основательно запущенного артиллерийского хозяйства. 6 августа он возвращается в Гданьск, уведомив Брюса, что артиллерию в четырех полках дивизии Репнина он «совсем исправил. Станки, ящики и протчих принадлежащих припасов вновь все делал, в чем господа генералы довольны весьма». В свою очередь, Репнин, отпуская Татищева, писал 16 сентября Брюсу: «Присланный от Вашего превосходительства поручик Татищев человек добрый и дело свое в моей дивизии изрядно исправил. Истинно никогда так было, за что благодарствуем, и желаю, дабы и всегда здесь при нас таковы ж были, а не такие, какие были и ныне есть». Похвала весьма выразительная и, конечно, совершенно бескорыстная, а потому справедливая.

Больше трудностей выпало на долю Татищева при выполнении аналогичного задания в дивизии генерала Адама Адамовича Вейде, расквартированного в Мекленбурге. Трудности

начались с того, что Татищев с самого начала не мог получить даже сведений, «сколько людей и пушек оставлено» в Мекленбурге. Видимо, и сам Вейде не слишком рвался оказать содействие посланцу из Петербурга. А деньги, привезенные с собой, конечно, уже были истрачены. К тому же генералы решили использовать Татищева не только для ремонта техники, но и для полного обеспечения артиллерии необходимыми припасами. Особенно плохо обстояло дело с обеспечением артиллерии конной силой. И Татищеву приходилось делать то, что само военное руководство на месте сделать не сумело: закупать необходимых лошадей и припасы. Для завершения этих дел Долгорукий выделил ему еще двести червонцев, чего, конечно, опять-таки было слишком мало. От первоначальной мысли сделать новые станки под пушки и деревянные ящики и для дивизии Вейде ему пришлось отказаться, так как стоили «дерево, железо и работа без меры дорого». Ограничились ремонтом старых, с тем чтобы было «возможно до границ своих довести».

Вечером 18 сентября в Гданьск прибыл Петр I. Одна из целей его приезда заключалась в стремлении заставить городской магистрат выплатить наложенную на город год назад контрибуцию, а также заставить город прекратить торговлю и прочие сношения со Швецией (чего оккупирующие город войска сделать никак не могли). Другая цель носила, казалось бы, частный характер: Петр хотел на месте познакомиться со «святыней». В 1716 году он получил от бургомистра Гданьска сообщение, будто в городе имеется картина «Страшный суд», написанная самим просветителем славян Мефодием. Требуемая контрибуция исчислялась в двести тысяч рублей. За картину городской магистрат испрашивал сто тысяч. Петр готов был выплатить 50 тысяч и поручил В. В. Долгорукому, а также Татищеву на месте осуществить эту сделку. Татищев, однако, скоро понял, что бургомистр об авторстве Мефодия «вымыслил или от слышания сказывал». Довод этот, по-видимому, произвел впечатление на Петра, в результате чего тот не стал настаивать на покупке картины.

Деятельностью Татищева в Поморье Петр, очевидно, остался вполне удовлетворен как в отношении основной задачи, так и в части его личных поручений. Татищев сообщает Брюсу, что имел возможность «просить о перемене чина», то есть о повышении по службе, но воздержался от этого, дабы не идти в обход Брюса. 20 сентября, «по 100 выстрелах», царь сухим путем направился назад в Кенигсберг, наказав Долгорукому утвердить контракт с пушечных дел мастером Витверком на поставленных им условиях (пятьсот червонцев за подготовку двух учеников).

Ряд личных поручений дал Татищеву и Брюс. Татищев покупает для Брюса книги, вина, цитрусовые деревья, ищет «статуйного мастера», которому заказывает две дубовые статуи стоимостью по десять червонцев. Книги и в России и в Европе были весьма дорогими. Из собственных пометок Татищева на книгах его личной библиотеки видно, что он платил за них от пятидесяти копеек до восьми с лишним рублей. Поэтому, покупая определенное количество книг, он высылает Брюсу «росписи» новых изданий «мафематических новых и алхимических книг», а также «гисторических новых». Еще более широк круг вопросов, по которым и на этот раз закупает литературу сам Татищев. Даже из той небольшой части книг, которую удалось разыскать в наши дни, видно, что собирателя интересовали, книги по истории, хронологии, этнографии, географии, различные лексиконы, грамматики (немецкая и французская), богословская литература, книги по театру, садоводству, пособия по математике, геометрии, географии, химии, астрономии, строительному делу, фортификации, артиллерии. Все закупленное он отправил единой упаковкой Брюсу, с тем чтобы в Петербурге разобраться в приобретениях для того и другого.

Будучи перегруженным разного рода поручениями, Татищев находил время и для решения внезапно возникавших вопросов, и для того, чтобы пополнить свое образование. Так, еще по

пути в Кенигсберг он осматривает уцелевшее после гибели русского корабля «Люстига» артиллерийское снаряжение. Проезжая через Либаву, он ходатайствует об освобождении из-под ареста русского бомбардира. Уговаривая Витверка перейти на службу в Россию или взять в ученики русских мастеров, он сам внимательно изучает технологический процесс литья пушек. И оказывается, что он и ранее хорошо был знаком с этим процессом, так как от его внимания не ускользнули технические новинки, о чем он немедленно и извещает в письме. Привлекают его и к разного рода следственным делам, связанным с провинностями тех или иных чинов артиллерийской службы. Узнав в Гданьске о взятии австрийцами Белграда, Татищев 20 августа отправляет специальное уведомление об этом в Петербург.

По-видимому, в Данциге Татищев присутствовал на пиру у Петра и воспроизвел позднее в «Истории» происшедший там любопытный разговор. Речь шла о польских делах. Льстивый царедворец Платон Иванович Мусин-Пушкин начал хвалить Петра, противопоставляя его самодержавное правление царствованию отца — Алексея Михайловича, — который доверялся своим советникам: боярину Морозову и другим. Петр, однако, увидел в этом не похвалу, а «брань» в свой адрес и обратился как бы за третейским судейством к Якову Федоровичу Долгорукому (1639-1720), отличавшемуся независимым и открытым характером. «Ты меня больше всех бранишь и так тяжело спорами досаждаешь, что я часто едва могу стерпеть, — сказал Петр князю. — Но как разсужу, то я вижу, что ты меня и государство верно любишь и правду говоришь, для того я тебя внутренне благодарю». Петр предложил Долгорукому оценить отцовские и его собственные дела.

Я. Ф. Долгорукий действительно мог дать такую оценку, так как начинал службу при дворе Алексея Михайловича и в отличие от Петра хорошо знал «тишайшего» царя. И теперь он, «недолго по повадке великие свои усы разглаживая и думая», дал сопоставительную оценку, не слишком лестную для Петра: «Дела разные, в ином отец твой, в ином ты больше хвалы и благодарения от нас достойны». Князь выделил три круга обязанностей государей: правосудие, военные дела, дипломатические, причем первому отводим важнейшее место. Долгорукий находил, что в правосудии «отец твой более времени свободного имел, а тебе еше и думать времени о том и не достало, а тако отец твой более, нежели ты, вделал; но когда ты о сем прилежать будешь, то может превзойдешь, и пора тебе о том думать». Не очень жаловал князь Петра и по второму кругу обязанностей государя. Он отметил, что именно Алексей указал путь к устройению регулярных войск, а после него все это было приведено в расстройство, так что Петру пришлось все начинать заново. Правда, Петр «все вновь делал и в лучшее состояние привел». Но расстройство было создано правительством Нарышкиных в 90-е годы. Да и теперь князь оговаривается: «Не знаю, кого более похвалить», — откладывая ответ на этот вопрос до конца войны. Преимущество Петра он увидел лишь в выполнении внешнеполитических задач, дипломатической активности и в создании флота.

По сообщению Татищева, Петр высоко оценил искренность своего сподвижника. Расцеловав его, он сказал: «Благий рабе, верный рабе, в мале был еси верен, над многими ты поставлю». «Сие Меншикову и другим, — отмечает Татищев, — весьма было прискорбно и всеми меры прилежали его государю озлобить, но не успели ничего».

За этой глухой оценкой скрывается и отношение самого Татищева к разыгравшейся в 1717-1718 годах драме: бегству царевича Алексея, его гибели и последовавших затем казнях или опалах его сторонников. В числе пострадавших был и Василий Владимирович Долгорукий, оказывавший покровительство Татищеву в его заграничной миссии в 1717 году. Долгорукий был за «дерзкие речи» сослан в Соликамск, с лишением чинов и имущества. От более сурового наказания его спасло лишь заступничество Якова Федоровича Долгорукого. Тень была брошена также на Голицыных и на Бориса Ивановича Куракина. Царевич оговорил и царицу Прасковью

(и, видимо, не без оснований). Иными словами, гнев царя был направлен против многих лиц, с которыми Татищев находился в довольно близких отношениях и к которым относился с безусловным уважением как до, так и после их опалы. Он, конечно, не имел в придворных кругах какого-либо веса, а потому его позиция не могла привлекать особое внимание в напряженной борьбе при дворе. Но и совершенно без последствий его симпатии и антипатии пройти не могли.

Татищев не случайно упомянул Меншикова и других. С любимцами Петра у него никогда не было взаимопонимания. Он на стороне Якова Долгорукого, когда тот защищает советников Алексея Михайловича: «Мудрый государь умеет мудрых советников избирать... У мудрого не могут быть глупые министры». Кое-кто из окружения Петра мог принять эти замечания и на свой счет. Татищев явно выделяет тех, кто на первое место ставит служение государству, а не просто царю. Его возмущает то равнодушие или даже злорадство, которое проявилось кое у кого из советников царя во время трагической развязки его конфликта с сыном. Образец достойного поведения в этой сложной ситуации, с его точки зрения, явил Брюс. «Когда между знатнейшими или первейшими в правлении государственном учинилась великая вражда и злоба, которая через неколико лет не без беды многих продолжалась, он ни к которой стороне не пристал и от обоих в любви и поверенности пребывал». Таковой же, очевидно, была и собственная позиция Татищева, что совсем скоро найдет и прямое выражение.

23 сентября 1717 года русское войско выступило из Поморья «в поход к Российским границам». Четыре дня спустя покинул Гданьск и Татищев. По-видимому, он по пути заезжал еще куда-то, так как в Петербург прибыл лишь 22 октября. Здесь, отчитавшись в Приказе артиллерии, он возбуждает ходатайство о «перемене чина».

Согласно установившейся практике ходатайство о повышении исходило от самого соискателя. Указом от 14 апреля 1714 года предусматривалось, что претендент на чин должен был держать экзамен. В качестве экзаменаторов же выступала группа офицеров. Комиссия назначалась в случае согласия приказного начальства поддержать ходатайство. В данном случае согласие было получено быстро, что, очевидно, непосредственно зависело от позиции Брюса. Была составлена комиссия из артиллерийских офицеров, которые и утвердили, что Татищев «верно и ревнительно служит как доброму офицеру принадлежит, и по службе и по искусству артиллерии так же; что он в рисованье артиллерийских чертежей искусен же; достоин перемены чина». Татищев получил чин капитан-поручика. В полевой артиллерии по штатному расписанию должно было быть девять капитан-поручиков. Но штат заполнен не был. Татищев стал лишь третьим капитан-поручиком. В канун Нового года Брюс утвердил челобитье со «свидетельством» членов комиссии, и с 1 января 1718 года Татищев переводится в капитан-поручики с жалованьем пятнадцать рублей в месяц.

Заключение договора между Россией, Францией и Пруссией в Амстердаме 15 августа 1717 года лишило Швецию важнейшего союзника на континенте. Поэтому Карл XII соглашается начать непосредственные мирные переговоры с Россией. Во главе русской делегации были поставлены Брюс и Остерман, бывший в это время секретарем Посольского приказа. В начале января 1718 года Брюс, Остерман и группа офицеров направились в Або, чтобы договориться со шведскими представителями о месте и времени начала переговоров. Уже 12 января вслед за ними выезжает и Татищев. В конце января ему поручается обследовать Аландские острова, «дабы ежели возможно, он лдом туда прошел и остров тот и обретающееся на оном строение осмотрел». Пройти оказалось возможным, так как в конце месяца стояли морозы «нарочитые». И 5 февраля Остерман доносит Петру, что «оный капитан-поручик Татищев вчерашнего дня сюда возвратился». Побывав на разных островах, он выбрал деревню Варгад, в которой «строение еще не весьма разорено, но с некоторыми трудами не в долгое время починено быть

может». В этом строении и начался 10 мая 1718 года конгресс.

К августу 1718 года проект договора между Россией и Швецией был в основном согласован. К России переходили Ингрия, Лифляндия, Эстляндия и часть Карелии с Выборгом. Финляндия и большая часть Карелии возвращались Швеции. В качестве «эквивалента» за утраченные территории Россия обещала Швеции помочь в отвоевании у Ганновера Бремена и Вердена. Несмотря на трудности, связанные с противодействием английской и датской дипломатии, а также с постоянно меняющейся политической ситуацией на Европейском континенте, мирный договор, по-видимому, к концу года удалось бы заключить. Но 30 ноября Карл XII погиб при осаде одной из крепостей в Норвегии. В Стокгольме оказались у власти сторонники проанглийской ориентации. Шведский представитель на конгрессе Герц был казнен. Переговоры формально не прерывались, но они уже были обречены. Чтобы подтолкнуть Швецию к их форсированию, летом 1719 года к шведским городам направилась большая русская эскадра, на одном из кораблей которой находился сам Петр. 8 июля русская делегация была приглашена на корабль, где провела два дня в обществе царя и его окружения. Вместе с Брюсом, Остерманом и Ягужинским в числе других офицеров был на корабле и Татищев.

Обсудив с делегацией создавшееся положение, Петр принял решение направить в Стокгольм Остермана, дабы подтолкнуть шведское правительство к решающему шагу. Десант на шведской территории под командованием Федора Матвеевича Апраксина должен был создать необходимый аккомпанемент для дипломатов. Высадка десанта прошла успешно. Русские отряды уничтожили несколько шведских гарнизонов и приблизились на расстояние шестнадцати миль к столице. Тем временем Остерман распространял заранее отпечатанный манифест, разъяснявший, что целью десанта является лишь напоминание о необходимости мира. Однако осуществленный сравнительно небольшими силами десант не смог сыграть роли катализатора. Получив обещание английской помощи, шведское правительство отказалось подписывать согласованный проект. Переговоры были прерваны. 15 сентября русские уполномоченные покинули Варгад.

Татищев уехал с острова раньше. Собственно, ему приходилось по поручению Брюса ездить в Петербург неоднократно. В феврале он отвозил письмо весьма деликатного содержания самому Петру. Брюс конфиденциально уведомлял о разногласиях, возникших у него с Остерманом. Петр, находившийся в это время на минеральных источниках в Олонце, подтвердил получение письма, посланного «через Татищева», и выражал полное доверие полномочному послу.

В марте Татищев снова оказывается в Петербурге. Видимо, не без совета Брюса он пишет «важное письмо» царю, в котором излагает план составления подробных карт по всей территории страны. Татищев полагал, что для проведения подобной работы достаточно было выделить четыреста геодезистов из числа окончивших Морскую академию. В письме указывалось и на практическое значение этой работы для предупреждения мошенничества при сделках с движимым и недвижимым имуществом, а также просто против поглощения слабых сильными. Петр проявил интерес к предложению Татищева и посоветовал продолжать работу в этом направлении. Но в этот период Татищев выступал лишь с идеей, имея в виду, что проводить ее будет кто-то другой.

Выполнив те или иные поручения Брюса, Татищев возвращался на острова. Последнее поручение касалось дела, начатого им самим в Гданьске. Пушечный мастер Витверк сообщил, что им изготовлены формы для литья пушек, и требовал до тысячи пудов меди. В июне Брюс отправил к кабинет-секретарю Алексею Васильевичу Макарову офицера с просьбой изыскать деньги или медь, поскольку в Артиллерийском приказе ни того, ни другого не было. Офицер ничего не смог добиться, и в августе с тем же поручением направился Татищев. Вскоре в

Петербург вернулся и Брюс. Его ждали здесь многие дела и поручения. И так уж складывалось, что многие из них он мог перепоручить только Татищеву.

Пробуждение Каменного пояса

Для граждан гораздо полезнее, когда процветает все государство в целом, а не когда отдельные лица преуспевают, целое же разрушается.

Фукидид

Характер состоит в способности действовать согласно принципам.

Кант

Татищев неизменно поражал биографов разносторонностью своих занятий, легкостью, с которой он переходил от одного дела к другому, часто ранее ему совсем неизвестному. Обращали внимание и на то, что его научные занятия шли как бы за практической деятельностью. По замечанию французского ученого Симоны Блан, автора большого исследования о Татищеве, «просветитель» в Татищеве дополнял и продолжал «деятеля»: мысль помогала и оправдывала действие». Это и так, и не совсем так. Правильнее сказать, что мысль и действие находились у Татищева в таком тесном переплетении, что трудно было определить, что чему предшествовало.

Праздность не была свойственна и русской аристократии XVII века. Бояре могли заседать в Думе целыми днями. Государственная служба не знала ни для кого послаблений. В этом смысле Петровская эпоха мало что изменила. Изменилась лишь наполняемость занимаемого времени, интенсивность и производительность деятельности. Сам Петр подавал пример в этом отношении, не переставая работать даже в периоды своих довольно грубых увеселений; обсуждались предложения, принимались послы, утверждались решения. А в его окружении были люди, задачей которых являлось устройство потех вроде «дебошана французского» Лефорта, который в конце концов «от пьянства скончался». Но были и такие, кто потехи воспринимал как неотвратимые помехи на пути решения государственных дел. Энтузиазм царя вызвал к жизни и Меншиковых, готовых и на подвиг, и на разгул, и на казнокрадство, и Брюсов, соразмерявших свою деятельность с государственными интересами.

Государственная система, сложившаяся в XVII веке, как и всюду, где торжествует абсолютизм, была громоздкой и плохо управляемой. Преобразования начала XVIII столетия очень мало ее преобразовали. Гораздо большее зависело от энергии и распорядительности отдельных лиц, чем от работавших с перебоями государственных механизмов. Возглавляя делегацию на Аландском конгрессе, Брюс продолжал руководить различными ведомствами, интересовался разными отраслями знания, проектировал новые заведения и исполнял нескончаемые поручения Петра. По оценке Татищева, Брюс был «человек елико высокого ума, острого разсуждения и твердой памяти... к пользе российской во всех обстоятельствах ревнительный рачитель и трудолюбивый того сыскатель». Проявляя «ревность» к России и желая оставить по себе добрую память, он, «имея немалой цены собранной кабинет древних медалей, монет, руд и других природных и хитросочиненных диковинок мафематических, а наипаче острономических инструментов и в немалом числе книг библиотеку, мимо родного племянника, для пользы обшчей в императорскую Академию наук подарил и другие многие государю и государству знатные услуги показал». Татищев отмечал этот факт, конечно, не для того, чтобы полюбоваться им со стороны. Таким рисовался ему гражданский идеал, которому он

стремился следовать на протяжении всей жизни. Находясь на Аландских островах, Брюс был «отягщен» «Берг- и Мануфактур-коллегией, Монетной, Артиллерийской и Инженерной канцелярией». Помимо того, он собирался еще «обстоятельную русскую географию сочинить», в чем ему Татищев «по возможности вспомоществовал».

Обращение Брюса и Татищева к географии явилось непосредственным продолжением и развитием идеи, высказывавшейся Татищевым в связи с работой над «практической геометрией» и в упомянутой выше записке царю о необходимости проведения целенаправленного земельного размежевания по всей стране. Татищев, как отмечалось, отрицательно относился к начатому в 1718 году переходу к подушному обложению. Очевидно, так же смотрел на этот вопрос и Брюс.

В XVII веке поземельное обложение было постепенно заменено подворным. Такая замена, конечно, прежде всего ударила по тем хозяйствам, которые наиболее интенсивно осваивали земли или вообще мало были связаны с земледелием. Но формально поземельная система обложения не отменялась, а переход на подворную систему сопровождался значительным снижением общей суммы сборов и погашением прежних недоимок, в результате чего изменение акцента в обложении мало ощущалось. К тому же рассчитывалось лишь общее число дворов, а распределение податей отдавалось на усмотрение «мира». Новая система обложения быстро подсказала пути противодействия ей: семьи перестали делиться, под одной крышей собирались несколько семей.

Переход к подушному окладу предусматривал чисто фискальные цели. Правительство устанавливало размеры податей с крестьян как в казну, так и помещику (71 копейка с «души» в казну и 40 копеек помещику). Разумеется, этой податью не исчерпывались поборы с крестьян. В рассматриваемое время они достигали 10-15 рублей на крестьянский двор — сумма, которую практически крестьянин выплатить не мог. Естественно, что помещики были недовольны государственной регламентацией и чрезмерным государственным обложением. Но эта реформа (впервые) передавала в их распоряжение крестьянские «души». Именно реформа обложения 1718 года означала установление *личной* крепостной зависимости, и отныне крестьянин лишается и последних остатков экономической свободы, без которой невозможно было сколько-нибудь устойчивое поступательное развитие его хозяйства. В беседах с Петром ни Татищев, ни Брюс этот аргумент, вероятно, не приводили. Но они не могли пройти мимо факта чрезвычайно неравномерной отдачи с разных земель, расположенных в одной и той же зоне, из-за чего страдали прежде всего предприимчивые землевладельцы, те, кто удерживал на своих землях крестьян благодаря относительно низкому уровню эксплуатации. Поэтому и выдвигалось предложение провести новое размежевание с учетом количества и качества земель и угодий в разных уездах России.

Написание «географии» Брюс перепоручает Татищеву. Поначалу Татищев, не имея достаточных пособий и знаний, «осмелитьца не находил себя в состоянии». Однако «яко командиру и благодетелю отказатьца не мог». К тому же эта работа теперь сливалась с самим им внесенным проектом размежевания, и Петр специальным объявлением в Сенате утвердил его в новой должности. Татищев был «определен» к «землемерию всего государства и сочинению обстоятельной российской географии с ландкартами».

Приняв в 1719 году дела и подготовительные материалы, Татищев окунулся в работу. Она оказалась еще сложнее, чем первоначально казалось ему самому, поскольку потребовались исторические разыскания. Татищев «в самом начале увидел, что оную из древняго состояния без достаточной древней гистории и новую без совершенных со всеми обстоятельствы известий начать и производить неможно». Встала задача выяснить, каким образом те или иные территории вошли в состав Российского государства, каковы истоки вошедших в него народов и т. д. В результате задача написания географии в глазах Татищева тесно переплелась с

необходимостью написания истории. Давно возникший интерес к прошлому своей страны и народа теперь начинал воплощаться в нечто осязаемое. Но по независящим от Татищева обстоятельствам эта весьма важная для государства работа была прервана.

В 1718-1720 годах в России происходила перестройка деятельности центральных органов, в частности, создавались коллегии и выработывался их статус. К этой работе был привлечен и генерал-фельдцейхмейстер Яков Вилимович Брюс. Предстояло отобрать все «подходящее» для России из опыта Швеции, Дании и других европейских стран. Особое внимание уделялось государственной организации управления промышленностью.

Еще в 1711 году Иоганн Блиер — саксонец, служивший в России с 1699 года, — подал предложение об организации особой коллегии для руководства горной промышленностью. Но из-за издержек чрезмерной централизации предложение не было реализовано. Более того. В том же 1711 году был закрыт приказ Рудокопных дел, функционировавший при приказе Большой казны. В 1715 году он был открыт вновь, но действовал крайне непродуктивно. Оставленные на усмотрение местного начальства, казенные горные заводы владели жалкое существование. Некоторые воеводы и коменданты стремились вообще избавиться от обузы и попросту закрыть заводы. Учреждением 12 декабря 1718 года Берг-коллегии предполагалось коренным образом пересмотреть отношение к этой отрасли хозяйства. Во главе коллегии был поставлен Брюс, а горными советниками утверждены действительные или мнимые иноземные специалисты: Потт, барон де Люберас, барон Шлаттер, Винцент Райзер, Иаков Делейес. Дальнейшие события показали, что создание столь «одноцветной» коллегии не лучшим образом сказалось на деле. Пожалуй, лишь Люберас действительно соответствовал назначению.

19 декабря 1719 года был обнародован первый горный закон: Берг-привилегия. С 1720 года коллегия начинает регулярную деятельность. О положении на местах в то время сведения было получить практически невозможно. Поэтому в разные стороны рассылаются специальные уполномоченные. Недавние боевые офицеры теперь переключаются на деятельность совершенно иного рода. Так, в Тулу был послан ассессор коллегии Василий Григорьевич Волконский, в Сибирь — кабинет-курьер Илья Голенищев-Кутузов. Указом 7 января 1720 года на Кунгур был направлен Иоганн Блиер. А вскоре назначение на Урал получил и Василий Никитич Татищев. Брюсу не дали желаемого числа «гвардейских офицеров», да и далеко не каждый гвардейский офицер мог принести реальную пользу в таком тонком деле, как организация горной промышленности. И он просит теперь Петра использовать своего помощника в ином качестве, более неотложном в данное время.

Иоганн Блиер провел на Урале почти два десятилетия. Татищев ехал на Урал впервые. За плечами Блиера был огромный опыт разыскания руд и отчасти создания заводов по их переработке. Татищев этими делами пока не занимался. Поэтому первоначально предполагалось направить Татищева как бы в помощь Блиеру, в качестве своеобразного заместителя по хозяйственной части: Татищев должен был вести бухгалтерию, нанимать работников, помогать Блиеру и т. п. Кроме того, Татищеву поручалось на месте разобраться в чрезвычайно запутанных делах и конфликтах между местной администрацией, управляющими местных частных заводов и специалистами, представляющими государственную казну. Достаточно сказать, что сын бывшего коменданта Кунгура Лев Шокуров получил в 1715 году от казны на медеплавильное дело 1100 рублей, а меди было выплавлено только 45 пудов (рыночная цена пуда меди была шесть-восемь рублей, а себестоимость на Урале полтора-два рубля). И многомесячное следствие не сумело ничего выявить, поскольку воевода не обременял себя ведением приходо-расходных книг. Посадский человек из Соли Камской Прокофий Сталов неоднократно подавал государственным чиновникам доношения о наличии медной руды около села Романова. Но его самого насильно приписали «строгановским крестьянином», а приказчики Строгановых

подкупали и рудных подмастерьев, и представителей власти, дабы устранить возможную конкуренцию со стороны казны. Прокофия Сталова строгановские приказчики били кнутом и сдали в рекруты. И, уже будучи на службе в Петербурге, Сталов сумел 18 октября 1717 года подать Петру I уведомление о своих находках.

Бюрократизация на феодальной основе далеко не всегда улучшала управление и, во всяком случае, создавала новые сложности и трудности. Одна из них — широкое распространение казнокрадства и взяточничества. Старая система кормлений отдавала суд на откуп кормленщикам и являлась как бы формой оплаты службы того или иного воеводы. Бюрократическая система предполагает замену кормлений жалованьем. Но жалованье выплачивалось далеко не аккуратно даже на самом высшем уровне. Когда в 1713 году подьячие секретного стола запросили прибавки жалованья, Сенат специальным указом передал им некоторые выгодные дела (иноземческие и Строгановых). У чиновников оставалась привычка «кормиться» за счет населения. Теперь же к ней прибавилась возможность «покормиться» и за счет казны. Своеобразные «нормы» кормления, выработавшиеся на протяжении ряда поколений, уступают место «расторопности» каждого чиновника. Хищения и вымогательства принимают характер общегосударственного бедствия.

В 1714 году Петр издает указ, объявляющий всенародно о борьбе с умножившимися лихоимствами: «И дабы впредь плутам (которые ни во что иное тщатся, точию мины под всякое добро делать и несытость свою исполнять) невозможно было никакой отговорки сыскать, того ради запрещается всем членам, которые у дел приставлены великих и малых, духовных, военных, гражданских, политических, купеческих, художественных и прочих, какое знание оные не имеют, дабы не дерзали никаких посулов казенных и с народа собираемых денег брать, торгом, подрядом и прочими вымыслы... А кто дерзнет сие учинить, тот весьма жестоко на теле наказан, всего имения лишен, шельмован, и из добрых людей извержен, или и смертью казнен будет». Комиссия во главе с Василием Владимировичем Долгоруким вскрыла вопиющие злоупотребления на всех уровнях государственного аппарата, начиная с любимцев царя — Меншикова и Апраксина. По сообщению Б. И. Куракина, Меншиков одних драгоценностей присвоил на полтора миллиона рублей (при государственном бюджете в начале столетия два с половиной — три миллиона рублей в год). Но гроза прошла мимо главных расхитителей, коснувшись лишь менее близких царю и менее злостных преступников.

В итоге сам царь помешал и выполнению собственного указа. Последовавшая вскоре опала и ссылка В. В. Долгорукого и вовсе позволяла считать, что красть все-таки безопасней, чем бороться с этим злом. Генерал-прокурор Павел Иванович Ягужинский высказывался по этому поводу достаточно откровенно: «Мы все ворует, только один больше и приметнее, чем другой». А в 1726 году последовал указ, чтобы приказным людям Юстиц- и Вотчинной коллегий жалованья не давать, а довольствоваться им от дел, по прежнему обыкновению, с челобитчиков, кто что даст по своей воле. Все это полулегальное лихоимство приводило к тому, что до казны доходила едва ли треть податей.

Искоренению зла мешало и весьма противоречивое отношение к доносителям. Петр стремился насадить и в армии, и в аппарате такой порядок, когда нарушение установлений каралось одинаково жестоко независимо от чина и положения нарушителя. От начальства требовалась забота о подчиненном, от подчиненных — беспрекословное выполнение требований начальства. Подчиненный не имел права проходить мимо злоупотреблений начальства и еще более не имел права жаловаться без достаточных оснований. В итоге любой жалобщик или доноситель, как правило, также получал наказание и даже рассматривался как соучастник преступления. Жалоба Прокофия Сталова могла заинтересовать Петра именно потому, что в ней речь шла о рудных месторождениях. «Пробы медных руд», доставленные в

Артиллерийскую канцелярию Сталовым и «кунгурениным» И. Шадруковым, с бесспорностью свидетельствовали о богатом месторождении. Но это мало что изменило в положении Сталова. Он был зачислен в Берг-коллегию с жалованьем «против солдат», то есть с обычным мизерным солдатским содержанием.

В ходе подготовки к экспедиции на Урал выявлялись все новые проблемы, которые Татищев предусмотрительно стремился решить в Петербурге. Он добивается более четкого определения круга его обязанностей и полномочий, особенно учитывая, что ему пришлось бы столкнуться с враждебной деятельностью тех лиц и учреждений, которые ему предстояло контролировать. К тому же выявилось немало трудностей в подборе необходимого штата сотрудников. Так, вместе с Татищевым должен был выехать знакомый с делом сибирский комиссар И. Тряпицын. Но он находился под следствием в Военной коллегии, и попытки к его освобождению ни к чему не привели. Другого подследственного, Льва Шокурова, напротив, Берг-коллегия рекомендовала «сыскать» в Москве и захватить с собой на Урал. Знакомят Татищева и с самими делами Л. Шокурова и П. Сталова. Самого Татищева тоже надо было освободить от ранее утвержденного в Сенате поручения. Поэтому лишь в марте появляются указы, определяющие новый статут Татищева.

9 марта 1720 года Берг-коллегия изготовила один из основных документов, связанных с предприятием. Это «Инструкция бергмейстеру Иогану Фридриху Блиеру, по которой предложено ему ныне содержать правление». Поскольку Блиер плохо знал русский язык, инструкцию написали на русском и немецком. По традиции, пунктуально (13 пунктов) расписывались обязанности Блиера вроде того, что он должен составить «обстоятельную опись» его собственного мнения о качестве руды и возможностях ее разработки. Коллегию интересовали также находки «куриозных вещей», в чем, видимо, сказывалась рука Брюса.

На Татищева та же инструкция возлагала обязанность организовать все работы, обеспечить дела материалами, рабочими руками и необходимой охраной. Вполне в духе не очень отлаженной системы управления работники и служащие, набранные для выполнения поручения, изымались из ведения местных властей и передавались под полное начальство двух руководителей экспедиции: «Обоим им над рудными делами содержать суд и судить при рудокопии обретающихся людей в приключившихся ссорах». Не забыла инструкция пожелать им и «дружественного соединения». Другим распоряжением от 9 марта на предприятие выделялось пять тысяч рублей, расходовать которые предусматривалось «за рукой» Татищева, а в случае его отсутствия — Блиера. В пути рудознатцев и их казну должны были сопровождать войсковые отряды, расквартированные в Москве, Нижнем Новгороде и Казани попеременно, «сколько человек пристойно». Через Коллегию иностранных дел предполагалось уведомить башкир и татар, чтобы с их стороны не было препятствий поискам руды и созданию заводов.

12 марта в дополнение к ранее данной инструкции Коллегия составила «Пункты капитан-поручику Татищеву, по которым надлежит ему отправлять в Сибирской губернии». «Пункты» расширяли полномочия Татищева, оставляя на его усмотрение вопрос о целесообразности разработок тех или иных месторождений и строительства заводов. Местным властям, губернаторам и воеводам, предписывалось оказывать ему «всякое вспоможение» в такого рода строительстве. В помощь Татищеву выделялся «комиссар к деньгам» (как раз находившийся под следствием Тряпицын) и в помощь комиссару подьячий с Московского денежного двора. Сам Татищев должен был отобрать четырех учеников из Артиллерийской школы для обучения рудному делу.

Не удовлетворившись «пунктами», Татищев обратился за разъяснениями как по поводу размежевания их обязанностей с Блиером, так и в особенности по поводу источников обеспечения предприятия рабочей силой и оплаты труда крестьян. Татищеву советовали

использовать старых местных умельцев, а также нанимать из вольных (мастеровых), из дворцовых и монастырских крестьян. В соответствии с пожеланиями Татищева разрешалось также использовать шведских военнопленных. Коллегия предписывает сообщать о ходе найма, а также о населенности смежных с заводами местностей. Не забыл Татищев испросить и «ротного цирюльника», а также «лекаря» и лекарств. В последнем нуждался и он сам. При колоссальной работоспособности Татищев не отличался здоровьем, и болезни сразу давали себя знать, как только он выходил из определившегося рабочего ритма.

Просьба о выделении лекаря была переадресована в Москву к придворному медику Лаврентию Блюментросту. Лекарства (на двадцать рублей) Блюментрост отпустил, но лекаря дать отказался, ссылаясь на то, что «они все обретаются в военном ведомстве, и все... на местах».

Всем специалистам горного дела, отправившимся с Татищевым, было повышено жалованье. Блиеру было положено пятьсот рублей в год, его толмачу и постоянному спутнику Яну Павлу Бривцыну — шестьдесят рублей, бергшрейберу И. Ф. Патрушеву — сто рублей. Рудоискателям («доносителям») П. Сталову и Л. Зуеву увеличили жалованье с шести до двенадцати рублей в год, «школьным ученикам» же платили в полтора раза больше. Сам Татищев прибавки не получил. Ему по-прежнему полагалось сто восемьдесят рублей, соответствующих жалованью по чину. Помимо того, ему выделили «рационы» на двух денщиков (по семь рублей девяносто шесть копеек в год). Выдавались также «прогоны» — проездные на дорогу от Петербурга до Москвы — из расчета по два рубля пятнадцать копеек за одноконную подводку (717 верст конной дороги).

4 апреля уже укомплектованная (за исключением задержанного Тряпицына) экспедиция прибыла в Москву. Здесь руководители встретились с тобольским губернатором Алексеем Михайловичем Черкасским, с которым позднее судьба не раз сведет Татищева. Черкасский передал им медную руду «двух видов» с богатым содержанием металла (более тридцати процентов), найденную под Томском. Образцы были доставлены в Москву жителями Томска Степаном Костылевым и Федором Комаровым.

Судьба двух искателей также весьма характерна для этого времени. Они добились от князя М. П. Гагарина разрешения искать руду, а также раскапывать курганы (с целью поиска драгоценностей). Но челобитную с визой Гагарина у них отобрали. Когда же Степан Костылев представил томскому коменданту Василию Козлову образцы найденных им медных и серебряных руд, тот «челобитную... бросил на землю... и хотел бить кнутом». Рудоискатели не смирились и направились в Москву заявить о своей находке, ради чего и проделали путь в 3500 верст.

Татищев немедленно сообщил в Берг-коллегию о хождениях по мукам двух сибирских рудоискателей и попросил разрешения взять их с собой. Коллегия удовлетворила просьбу. В Москве же к Татищеву явился пушкарь Никон Шаламов, бывший прежде рудоискателем в Кунгуре, а затем отданный в солдаты. Он также привез с собой, будучи «проводятым за казною», образцы руды. И его Берг-коллегия разрешила Татищеву взять с собой. В помощь Патрушеву, поскольку тому «одному трудно справиться со счетными делами», он взял Петра Клушина с жалованьем «против молодого подьячего». Клушин оказался ценным помощником и позднее неплохо проявил себя в качестве чиновника в системе управления уральскими заводами. Забрав еще четырех учеников из Артиллерийской школы, Татищев с Блиером и их сопровождением отплыли 26 мая на струге в Нижний Новгород.

В Нижний Новгород путешественники прибыли только 24 июня. По-видимому, они не слишком спешили, проплывая среди лесов и зеленеющих пойм Москвы-реки и Оки (около 1000 верст). В Нижнем Татищева уже ожидали несколько указов. Один из них уведомлял о

пожаловании Татищеву чина капитана (без челобитья и без экзаменов), в связи с чем жалование ему увеличивалось на 27 рублей в год. Другим указом ему предписывалось провести «розыск об утайке подьячими медных руд под Кунгуром и о запрещении воеводами медной плавки там же». Этот указ был вызван сообщением Голенищева-Кутузова, которого подьячие пытались обмануть, уверяя, будто «руда вынута вся». Татищеву и Блиеру предписывалось также осмотреть Уктусские медные и железные заводы и представить свои соображения о возможности улучшения их работы. Сообщалось, что эти заводы вместе с приписными к ним крестьянами переходили в ведение Берг-коллегии. Позднее, 28 ноября 1720 года, Сенат узаконил это изъятие из местного подчинения части крестьянского населения с передачей его в ведение ведомственного начальства. Для улучшения работы Уктусских заводов предусматривалось выделение дополнительных средств с Денежного двора.

11 июля экспедиция прибыла в Казань. Здесь к Татищеву явился швед, попавший в плен под Полтавой, а затем перешедший на русскую службу, Иоганн Берглин. Поддерживая просьбу Берглина отпустить его на горные заводы, Татищев дает Берг-коллегии самый лестный отзыв о шведском капитане. «От младенчества своего возрос и обучался горным делам в Фалуне, где вотчим его был заводчиком», — замечает он, в частности. Казанский губернатор не стал препятствовать, и коллегия удовлетворила ходатайство. Здесь же Татищев пытался присоединить к своей группе и еще одного пленного шведа — капитана Ригеля, который, по уверениям Татищева, был «искусный химикус». Но «химикус» сидел в «железах» за убийство черемиса во время неудавшейся попытки к бегству.

За несколько дней пребывания в Казани Татищев по заведенной привычке обследовал все артиллерийское хозяйство города, пороховые погреба. Внимание его привлекла одна старая пушка «с персоною и гербом короля испанского», о чем он и сообщил в личном письме к Брюсу. Суконные предприятия, по наблюдениям Татищева, работали без необходимого напряжения и должной отдачи. «Взяв деньги из казны, — писал он об их владельцах, — о деле не весьма радеют, а довольствуются, что освобождены от служб и постоя». Неудовлетворительным нашли Татищев и Блиер также состояние медных плавилен на реке Сарали, отданных на откуп казанским предпринимателям. Татищев советовал коллегии передать эти предприятия в другие руки.

В Кунгур прибыли 30 июля. Татищев и Блиер ехали туда почтовой дорогой, а их спутники — водой по Каме. Здесь им уже были выделены казенные дворы и кое-какие материалы. Слух о прибывших распространился и за пределы воеводской канцелярии. И здесь к Татищеву шли старатели. Крестьянин Федор Мальцев и татарин Боляк Русаев принесли образцы руд из разных месторождений, либо неизвестных местному начальству, либо из тех, где, по их уверению, руда «вынута вся». Татищев выдал рудоискателям по два рубля «за их усердие, паче же для прикладу другим, чтобы всяк охоту лучше возымел». Оба были приняты на службу с платой по 90 копеек в месяц. Осмотрев местные рудники, Татищев и Блиер немедленно приступили к делу: нанимали рабочих, изыскивали необходимые материалы. Берглин непосредственно следил за ходом работ.

В обязанности Татищева входило и проведение розысков по целому ряду дел. Розыски дали, в сущности, ту же картину, что царила и на самом верху бюрократической лестницы. Может быть, лишь с меньшим размахом поборов и присвоений и с меньшим опасением за последствия противозаконных действий.

Разработка металла на Урале была известна с незапамятных времен. В XVII веке здесь действовало около 50 небольших железоделательных заведений, созданных главным образом радением крестьян. С конца XVII столетия начались и небольшие медные разработки, по преимуществу в старых, заброшенных многие столетия назад ямах. В связи с ростом потребностей казны этому делу придается государственное значение. Но такой поворот вызвал

новые сложности. Получив в 1713 году указание разрабатывать медные руды, местные воеводы, в частности Леонтий Шокуров со своим сыном Львом, увидели в этом возможность погреть руки. Именем государства обязывая крестьян работать (на заготовке леса, подвозке материалов и руды и т. п.), они не только не давали им никакой платы, но и не засчитывали выполненных работ, как было положено, в подушную подать. Кроме того, Шокуровы обременяли местное население всевозможными поборами, обязанностью поставлять для них бесплатно подводы и содержание во время их разъездов по округе. В итоге многие крестьяне бежали дальше в Сибирь, а самодеятельное заведение новых предприятий практически прекратилось из-за противодействия основной массы крестьян, местных вотчинников и начальства.

При преемниках Шокурова, Вороненком и Усталкове, положение стало еще хуже, поскольку эти воеводы вообще запрещали какое-либо предпринимательство. Специальные заставы ловили крестьян, отправляющихся на поиски руды или пытающихся добывать ее. Фактически прекращена была плавка и на многих ранее действовавших заводах якобы за неимением руды. В данном случае «интерес» местного начальства удовлетворялся за счет местных землевладельцев, прежде всего Строгановых, которые ради сохранения за собой бежавших из центра крестьян действовали буквально кнутом и пряником, искореняя уральские заводы. Строгановские приказчики прямо заявляли рудоискателям: «Если станешь руду искать без указа, и у меня есть про тебя дубина». Та же судьба ожидала рудоискателя и в том случае, если ему удавалось заручиться указом. Фактическое бесправие всего населения — основной лейтмотив феодального права, даже если феодальное государство и берется навести какой-то порядок.

Розыскные дела тяготили Татищева. Виновных было слишком много, а главных виновников было вообще не достать. Охотиться за приказчиками, действовавшими по поручению Строгановых, не имело большого смысла, а воевод Воронежского и Усталкова к делу привлечь не удалось, так как они на месте не оказались, и никаких средств для вызова их по делу у Татищева не было. Розыски создавали Татищеву массу врагов, но основной его задаче помочь не могли. Поэтому он просит Берг-коллегию, «понеже сии дела немалого труда и времени требуют, и есть не без повреждения прочим делам, а прибытку, яко видимо, из онаго уповать неможно, того ради просим, дабы сие как возможно милостию прекратить».

Сам Татищев завел порядки, совершенно необычные для здешних мест. Он купил лошадей, чтобы не обременять местное население подводной повинностью. В длительных же и дальних дорогах проезд неукоснительно оплачивался согласно действующим ценам. Окрестному населению было объявлено, что за открытие новых месторождений меди и других ископаемых будет выдаваться вознаграждение. В Берг-коллегию он доносил, что «ныне же обыватели, видя, что им тягости никакой нет, приходят свободно и с охотою руды являют, и хотя не всегда годныя, однакож мы с ласкою их отправляем, дабы тщились лучше искать; работников нанимаем по 6 рублей в год, и оные являются, имея надежду избежать тем солдатства».

Татищев хорошо понимал, что именно заставляет крестьян идти за столь небольшую плату в рудокопы. Но больше из своих скудных средств он выделить не мог, а по сравнению с предшественниками это была даже непривычно значительная плата.

В итоге хозяйничанья царских воевод медеплавильное дело в Кунгуре находилось в таком запущенном состоянии, что в ближайшее время выплавку меди нельзя было возобновить. В коллегию он доносит, что необходимо создать достаточный запас руды, и рассылает повсюду «охочих людей» для ее поисков. Дело это также было не из легких. Так, Боляк Русаев, отправившийся в прилегающие к Кунгуру башкирские земли, был едва не убит башкирами, несмотря на имевшуюся у него грамоту на татарском языке. Татищев предложил коллегии приписать прилегающую к Кунгуру 21 деревню к заводам. Он был убежден, что это решение

будет положительно встречено и самим населением, «понеже между ними многие воровством промышляют, а от начальства удалены, и в том есть добрым не без тягости». Коллегия пошла другим путем, воздействуя через Сенат на башкирских батыров, дабы искателям не чинили препятствий. Позднее же эти деревни все-таки были приписаны к заводам.

Среди шведских военнопленных Татищеву удалось разыскать лекаря. Коллегия согласилась передать его в ведение Татищева, положив достаточно высокое жалованье — восемьдесят рублей в год. Было разрешено также «сыскать» из числа военнопленных «географа, и ландкарту велеть ему сделать добрым порядком и с прямым размером, где бы назначены были знатные города и всякие заводы и рудные места, а выдать ему за труд, что он запросит». Идея составления ландкарт всей территории России, ранее выдвинутая Татищевым, никогда не покидала его до конца жизни.

Еще одна идея сопровождала Татищева всюду, где он начинал свою деятельность: заведение школ. Еще будучи в Германии и других «европских странах», он внимательно изучал состояние школьного дела. По замечанию автора изданной в ГДР монографии о Татищеве Конрада Грау, в школах, учреждаемых Татищевым, явственно проступает хорошее знание западноевропейской организации этого дела. Прибыв в Кунгур, он немедленно обращается в коллегия за разрешением набрать «человек 30» «из обретающихся в Сибирской губернии дворянских детей» и не отосланных в Петербург. «А ежели таковых недовольно будет, — добавлял Татищев, — то подъячих детей и обучать горным делам». «Дворянских детей», «не отосланных» в Петербург, найти в Сибирской губернии не смогли: они попрятались основательно. Но коллегия разрешила открыть школу для детей разночинцев, чтобы «обучать их цифири, геометрии и горным делам». Уже в 1721 году такая школа начала занятия.

Татищев обратил внимание и на то, что Урал весьма богат железными рудами. Однако он не видел возможности использовать это богатство через посредство казны. Поэтому он рекомендует коллегии отдавать железоделательные предприятия с рудниками «охочим людям». Подыскивать же «охочих людей» коллегия порекомендовала самому Татищеву.

Татищев всегда с большим уважением относился к частному предпринимательству, усматривая в нем мощный рычаг общего подъема экономической жизни страны и повышения общественного благосостояния. Но он представлял на Урале казну. Поэтому все, с его точки зрения, выгодное для казны он стремился сохранить за ней. Одним из главных железоделательных предприятий, где Татищеву и Блиеру предстояло навести порядок, был Уктусский завод, основанный в 1702 году по инициативе думного дьяка Андрея Андреевича Виниуса — сына известного родоначальника тульских мануфактур. Завод стоил казне свыше шести тысяч рублей. До 1720 года здесь было выковано около ста тысяч пудов железа и около четырех тысяч пудов меди, по 21 копейке за пуд железа и по 1 рублю 52 копейки за пуд меди. Но к 1720 году завод также пришел в упадок. Здесь свирепствовал Акинф Демидов, приказчики которого «казенных людей» с рудников сгоняли и «копать руду им запрещали». Как и всюду, крестьяне, не получая платы за свой труд, уклонялись от заводских работ. Аналогичная ситуация складывалась и на Алапаевском заводе, который коллегия забыла включить в сферу забот Татищева. Татищев по своей инициативе выделил семьсот рублей для оплаты «рабочих с воли», то есть тех же крестьян, за определенную плату.

И в Уктусе необходимо было разбираться в различных махинациях прежнего управления. Татищев с Блиером прибыли туда 29 декабря 1720 года. Первое, что бросилось в глаза Татищеву, — неудобное расположение завода. Рудники на Шиловской горе были в запущенном состоянии, но могли дать достаточное количество высококачественной руды. Однако речка Уктус, на которой располагался завод, была настолько маловодной, что из шести имевшихся на заводе молотов она приводила в движение лишь два, «и то с немалым простоем», как доносил Татищев

в коллегия. Татищев предложил перенести завод на речку Исеть, притоком которой являлся Уктус. Подготавливая предложение, он провел своего рода технический совет, на который пригласил своих сотрудников и шведских военнопленных, сведущих в горном деле. Такого рода совещания он будет постоянно проводить и впредь.

В предложении коллегии подробно обосновывались преимущества перемещения завода. Многоводная Исеть будет в состоянии приводить в движение даже в сухое время двадцать молотов, а в остальное время до сорока молотов. Новое место было вдвое ближе к рудникам и богато лесом. По расчетам Татищева, завод мог бы давать ежегодно до двухсот тысяч пудов железа — немногим менее половины всего производимого в это время в России железа. Татищев испрашивал 25 тысяч рублей, «но не вдруг», то есть частями, обещая, что затраты окупятся за пять лет «или даже ближе». Себестоимость железа здесь не должна была превышать двадцать копеек, продавать же его можно было по сорок копеек за пуд.

Не дожидаясь решения коллегии, Татищев начал подготовительные работы, заготавливая лес и необходимые материалы для строительства. Но вопреки ожиданию коллегия его начинания не одобрила. Она находила, что «железных заводов везде довольно, и лучше заводить серебряные, серные и квасцовые да лес под Уктусом надобно беречь». Похоже, что в дело включались невидимые для Татищева силы. Пришлось останавливать начатое строительство и снова бомбардировать коллегия письмами. Наталкиваясь на противодействие в Петербурге, Татищев начинает все более настороженно относиться и к членам коллегии, подозревая многих из них в простом саботаже и нежелании содействовать действительному укреплению мощи России.

Получив отказ, Татищев предлагает коллегии хотя бы частичное решение: медная плавка остается на Уктусе, а железная переносится на новое место хотя бы в имеющемся размере. Он поясняет, что это необходимо сделать как раз для сохранения лесов. К тому же домны все равно развалились, и без значительных затрат возобновить производство железа невозможно. Даже строительство плотины на Исети, по расчетам Татищева, должно обойтись дешевле, чем восстановление плотины на Уктусе. С этим предложением коллегия согласилась. Но начало работ требовало отложить до приезда берг-советника Михаэлиса.

Проект Татищева был осуществлен полтора года спустя де Геннином, который построил здесь завод и крепость, названную им в честь Екатерины — супруги Петра — Екатеринбургом. Татищеву же в 1722 году пришлось под присягой отвечать, почему им не были построены новые заводы вместо расположенного на неудобном месте Уктусского. И он оправдывался «многократными» донесениями в коллегия, куда были направлены и соответствующие чертежи. Невидимая сила направляла против Татищева даже то, что как раз свидетельствовало в его пользу.

Михаэлис прибыл на Урал лишь в январе 1722 года, когда Татищев собирался отъезжать по разным делам в Москву и Петербург. Михаэлис попал в Россию незадолго до этого из Саксонии и был поначалу определен вице-президентом Берг-коллегии. С должностью он явно не справлялся, и решено было «сплавить» его на Урал. 18 марта 1721 года Татищева известили о предполагавшемся назначении, причем уверяли, что Михаэлиса направляют «в помощь ему». Но такого рода помощь Татищеву была не нужна. К тому же чин берг-советника автоматически делал Михаэлиса первым лицом на Урале. Татищев справедливо увидел в этом назначении интригу, выразившуюся в недоверии к нему. Он разъясняет коллегии, что вся его деятельность определяется интересами «государственного прибитка». «Ежели бы я хотел себе прибитка, — замечает он, — то непотребно более, чтобы только умолчать, за что видел и слышал себе довольные обещания; но, все оное презрев, желаю остаться лучше с честью в вашей милости, чем с богатством стропотным». Татищев предлагал, если ему не доверяют, прислать кого-то с

большими полномочиями и «учинить Горное начальство, которому и дать власть». Его беспокоило, что коллегия не дает ответа на целый ряд донесений. Он еще не знал, что многие из этих донесений и не были получены в Петербурге: их перехватывали агенты Демидовых. Другие же его опасения были совсем недалеко от истины. Многих берг-советников раздражала независимость Татищева, его последовательное неприятие самой немецко-голландской терминологии, понижавшей в то время переписку всего бюрократического аппарата.

Коллегия поспешила заверить Татищева в своем расположении, уведомив, что «она им довольна и за службу его к чести и награждению всегда будет помнить». Но с решением вопроса о строительстве хотя бы малого завода ему пришлось ждать Михаэлиса. А тот на Урал явно не торопился. С марта до июля он добирался до Казани, а дальше не поехал за отсутствием денег. Даже коллегия удивилась, куда он смог столь скоро истратить довольно крупную выданную ему сумму денег. Наемник же вел себя в России как истинный наемник: тратил деньги на свои прихоти и огромный, абсолютно ненужный штат из своих земляков, ничуть не радея о «государственной прибытке». Позднее де Геннин доносил царю и кабинет-секретарю Макарову, что Михаэлис «без потребности много чинов написал, и по оному может больше в расходе на жалованье, нежели в приходе прибыли быть».

Для продолжения пути Михаэлис требовал триста рублей — в полтора раза больше годового жалованья Татищева. Тем не менее Татищев просит казанского губернатора выделить эти деньги: потери от того, что стоят некоторые неотложные дела, еще значительней. Губернатор же увидел в этом требовании Михаэлиса простое рвачество и наотрез отказался выделить запрошенную сумму. В конечном счете под гарантию Татищева деньги ссудил казанский торговый человек Федор Микляев, лично знавший Василия Никитича. Но все эти затраты оказались напрасными. И по приезде на Урал Михаэлис не спешил приступить к делу. Он занялся собственным устройством, приглашением и обеспечением лютеранского пастора, а по остальным вопросам «решения никакого не явил». Такая обстановка побуждала Татищева поторопиться с поездкой в Москву и Петербург.

Картина развала, нарисованная Татищевым в донесениях, распространялась на самые разные сферы хозяйства и жизни края. Весь 1721 год, можно сказать, прошел в борьбе с этим развалом, в борьбе, подчас бесплодной, так как во многом она зависела от самой системы. Петр искренне стремился к подъему экономики страны, но по иронии судьбы нередко способствовал усугублению неразберихи. Сказывались издержки того положения, когда место общего для всех государственного закона занимала милость или немилость самодержца. Сохранявшийся принцип феодальных пожеланий, в том числе и отдельным крупным предпринимателям, входил в противоречие с общей тенденцией к укреплению бюрократической централизации.

К приезду Татищева на Урале господствовали Демидовы. Им не стоило большого труда либо оттеснить, либо подкупить царскую администрацию. Создание Берг-коллегии было своеобразным выделением еще одной вотчины, которая защищала интересы казны и от частных заводчиков, и от казенной же, казалось бы, местной администрации. При этом даже Брюсу приходилось считаться с реальной расстановкой сил при дворе, дабы избежать конфликтов с «сильными мира сего». Что же касается остальных сотрудников коллегии, их заботы чаще всего не шли далее удовлетворения собственных корыстных интересов, как это можно было видеть на примере того же Михаэлиса.

Алапаевский завод коллегия в итоге передала в ведение Татищева и Блиера, и оба начальника отправились туда, чтобы на месте ознакомиться с положением. Вблизи картина оказалась еще более мрачной, чем на расстоянии: «Лари текут, молоты за недостатком воды, а домны без руды и угля стоят, строения перегнили... Крестьяне за дальнею ездою, паче же, что работа им в платежи не засчитана, не слушают». Татищев отмечает бестолковое распределение

приписных крестьян к заводам: «Которые слободы сюда близки, те приписаны к Каменскому заводу, а к здешним приписаны слободы, лежащие за Каменским заводом отсюда более 130 верст, и оттого людям тягость. Управляющий заводом Лука Бурцов — пьяница и дурак, строений непотребных завел, а нужных не починал». Передав управление военнопленному шведу Биоркману, Татищев ожидал указа относительно его официального назначения.

Алапаевский завод был построен в начале столетия силами крестьян «без платы и без зачота». В 1711 году на нем были поселены 267 шведских военнопленных, некоторые с женами и детьми. Пленные получали определенное содержание, занимались мелкой торговлей, шинковали. Кое-кто из нижних чинов нанимался и на работы за 35 копеек в месяц (на летние месяцы; зимой шведы не работали за «скудостью»). Часть их уходила к Никите Демидову, где была особая, шведская, деревня. Татищев стремился привлечь шведов к работе на заводе, увеличив им жалованье. Он добился также специального указа о разрешении им жениться на русских, не переходя из протестантства в православную веру, надеясь таким образом вообще закрепить их в России.

Получив подробное уведомление о состоянии Алапаевского завода, Берг-коллегия снова пересмотрела свое решение и предложила Татищеву либо вернуть завод назад в губернию, либо отдать частному лицу «без приписных крестьян». На завод ранее претендовал Никита Демидов. Но его интересовали как раз приписные крестьяне. В губернию Татищев возвращать завод отказался, убежденный, что крестьяне «от непризрения весьма разорятся, и прибытка никакого не будет». Мысль о передаче завода в частные руки он поддержал, но оговорился, что без приписных крестьян «охочие люди» не найдутся.

Покупатель скоро явился. Это был крестьянин Строгановых Сидор Белопашцев, занимавшийся отправкой казенных металлов в Москву. Татищев объявил торги. Но конкурентов у Белопашцева не оказалось. Он обещал выплатить за десять лет стоимость всех заводских сооружений, давать положенную десятину металлических изделий казне, выплачивать подати с приписных крестьян и т. д. Татищев поддержал притязания нового владельца на приписных крестьян, но требовал, чтобы выплаты с крестьян проводились не по данным последней ревизии, а и с «новоприбылых крестьян».

Несовершенство государственной системы обложения было Татищеву хорошо известно. В центре владельцу крестьян необходимо было вносить подати и за беглых. Здесь ситуация была иной: реальное число крестьян было большим, чем значилось по ревизским сказкам. Белопашцев, очевидно, знал это не хуже Татищева. Поэтому этого татищевского условия он не принял. Он ссылаясь на реальную практику: у Демидова «ныне слобод и иные сборы разве вдесятеро умножились, и от того есть ему, кроме промыслу, прибыль великий: мне же без поравнения с ним сих пунктов обещать невозможно, ибо от того могу разориться».

Отстаивая перед коллегией мысль о целесообразности передачи приписных сел с заводом, Татищев заверял, что это будет выгодно и для губернии, и для крестьян. Губерния таким образом избавлялась от «труда и недоборов» (поскольку подати за крестьян выплачивал заводчик), «крестьяне же без тягости зарабатывать могут», то есть будут избавлены от необходимости работать «без платы и зачота». Но и то и другое коллегию мало интересовало, поскольку она непосредственных выгод от этого не получала. В данном же случае доношение Татищева вместе с «уговором» и вообще не дошло до коллегии. В итоге дело не было доведено до конца. Оно попросту пропало. Кто-то аккуратно проверял переписку Татищева и изымал важные дела. Как правило, дела, затрагивавшие интересы Демидовых.

Татищев находил необходимым образовать специальное горное начальство, в ведение которого должны были войти все уральские заводы. Уступая этим настояниям, коллегия осенью 1721 года учредила Сибирское высшее горное начальство, представленное Татищевым и

Блиером. Но если Татищев стремился создать такое учреждение ради, как бы теперь сказали, комплексного освоения края, то коллегия ставила более скромные задачи: выглядеть не хуже других коллегий и ведомств. Татищев предложил ввести особые должности шихтмейстеров, дабы контролировать деятельность заводчиков, не разрешая им произвольно изменять зарплату, увольнять (а также набирать) мастеров и рабочих, скрывать продукцию и т. п. Коллегия уклончиво отметила, что «оное учинено будет впредь, смотря по размножению руд и заводов». Брать на себя ответственность за положение на частных заводах она явно не хотела.

По тем же соображениям коллегия не разрешила взять «под свое правление» один из крупнейших казенных заводов — Каменский. Хотя завод, как сообщал Татищев, «от небрежения весьма развалился», мастера подсказывали, что «возможно оный малыми деньгами исправить и в состояние доброе привести и потом добрый прибыльток уповать». Коллегия не захотела принимать на себя лишних забот и оставила завод в ведении сибирской губернской администрации, а Татищеву посоветовала связаться по этому поводу с губернатором, то есть А. М. Черкасским. Во время одной из поездок в Тобольск в марте 1721 года Татищев попросил у Черкасского разрешения осмотреть завод. Тот не принадлежал к числу активных административных деятелей, но такого рода просьбу, естественно, удовлетворил. В свою очередь, и Татищев не стал вопреки обыкновению задерживаться на деталях, а ограничился общим советом: закрыть на заводе производство железа, «за скудостью лесов», и ограничиться выплавкой чугуна для производства пушек. Впоследствии так и поступили. Но это было позднее.

Заботясь о «прибытке» казне, Татищев настойчиво изыскивает средства удешевления выпуска продукции то за счет более экономной добычи руд, то с помощью сокращения перевозок, то посредством внедрения более совершенной технологии. Но он ни в коей мере не стремится достигнуть кратковременного эффекта. Напротив. Его взгляд устремлен в будущее. Поэтому так настойчиво в разных доношениях и во внутренних инструкциях ставит он вопрос о сохранении лесов. Подробно расписывается порядок использования леса на строительные работы и на дрова с таким расчетом, чтобы не наносился ущерб естественному восстановлению лесных площадей, кстати, к этому времени уже основательно расстроены хищнической эксплуатацией. С этой целью он пытается организовать лесопильню — одно из недешевых новшеств его времени. (Распилка леса обычным, домашним способом приводила к огромным, потерям за счет отходов.) Принимается ряд жестких распоряжений против лесных пожаров и пожаров вообще, столь распространенных именно из-за отсутствия предупредительных мер.

Еще одно направление деятельности Татищева — забота об улучшении дорог. До сих пор дороги интересовали правительство главным образом как источник доходов. Создание централизованного государства не повело к устранению внутренних таможенных барьеров. Приезжая в Сибирь, торговцы обязаны были платить пошлину в размере десяти процентов стоимости товара. В итоге заинтересованность казны состояла в том, чтобы не допустить прокладывания новых «незаконных» дорог.

Путь в Сибирь был открыт еще в домонгольское время новгородскими купцами, и проходил он тогда через северную часть Уральского хребта. В 1596 году была найдена более южная дорога от Соликамска к Верхотурью и далее по реке Турее. В Верхотурье и собиралась пошлина. Дорога эта, однако, была весьма неудобной. В одних местах она была труднопроходимой из-за болот, в других — тяжелой из-за гор. Летом ею почти не пользовались. К тому же, например, из Поволжья нужно было делать большой крюк на север. Между тем более удобный путь был найден. Он проходил через Кунгур и Уктус к Ирбитской ярмарке. Этим путем украдкой ездили купцы из Казани и Вятки, избегая уплаты пошлины (если не считать платы за постой в Демидовских слободах). Татищев занялся приведением в порядок дороги от Кунгура до Уктуса, где с разрешения коллегии были поставлены почтовые корчмы. В Тобольск же он отправил

доношение с обоснованием целесообразности перенесения основного тракта с Верхотурья в более южные районы. Татищев отмечал два обстоятельства: дорога эта все равно используется, и, скажем, отправляясь в Демидовские слободы с хлебом (хлеб пошлиной не облагался), крестьяне и купцы свободно могут провозить (и провозят) товары, обкладываемые пошлиной. Другой момент чисто экономический. За счет сокращения пути купцы выигрывали до сорока процентов от их обычной прибыли. Такое повышение прибыли повело бы к расширению торговли и соответственно росту доходов казны.

Польза от перенесения основного тракта казалась Татищеву настолько очевидной, что он не сомневался в немедленном утверждении его предложения и начал работы как по благоустройству, новой дороги, так и по определению местоположений будущих застав на возможных объездных путях. Из Тобольска, однако, ответили что «прочия дороги, кроме Верхотурья, ... хотя, может, оныя дороги в проезде и способнее, ... запретить, и теми дорогами с товары и без товаров никому не ездить, и не пропускать». Предписывалось поставить (в избранном Татищевой месте, а также дополнительно) ряд застав, с размещением на каждой из них по 15 драгунов. Самое большее, на что могло согласиться губернское начальство, — это разрешение на проезд в Ирбит торговых людей из Казани, Уфы и Кунгура, то есть прилегающих областей. Но и их этим путем разрешалось пропускать только на ярмарку. Так, вместо упорядочения сообщений между и без того удаленными районами страны служебная ревность и верность чиновников царскому указу создали дополнительную путаницу. Этой путаницей не преминули воспользоваться Демидовы, больше всех выигрывавшие от существования нелегального пути через их слободы.

Заботами удешевления провоза уральской продукции, в частности идущей на внешний рынок и вообще в северные районы страны, было вызвано и еще одно предложение Татищева. Он внес проект создания водного пути от Урала до Архангельска через озеро Кельтму, из которого вытекали реки как в Камский, так и в Печорский бассейн. Позднее проект был заново предложен Геннином. Вернулись к нему также во времена Екатерины II. Реализован же он был лишь в 1822 году, когда торговое значение Архангельска уже резко упало.

На реке Исети, куда предполагалось перенести Уктусский завод, Татищев замыслил создание большого экономического центра. На вновь осваиваемое место предполагалось перенести и Ирбитскую ярмарку. Татищев вообще усиленно рекомендовал разным чинам, населявшим край, пользоваться местными условиями для развития разных ремесел и расширения торговли. Так, он советует крестьянам и работным людям приобщаться к токарному, черепичному, стекольному, часовому и другим видам ремесел, в продукции которых была либо местная, либо государственная потребность. Обосновывая в Тобольске целесообразность перенесения ярмарки на Исеть, он имел в виду и то, что мастера и рабочие, имея доход от мелкого торга, легче будут мириться с довольно низкой государственной оплатой их труда. Кроме того, он надеялся таким образом изменить отношения между русскими и башкирами: башкиры будут ездить на ярмарку и «постепенно придут в лучшее обхождение и любовь с русскими». Позднее, в 1730 году, Татищев задачу правителей государства видел: «1) во умножении народа; 2) в довольстве всех подданных; 3) побуждение и способы к трудолюбию, ремеслам, промыслам, торгам и земским работам». Этими установками он руководствовался и вовремя своей уральской деятельности.

Урал впитал в свои удаленные от поисковых команд волости много беглых из центральных губерний. Много их было в слободах Демидова, «откуда выдачи не бывает». Немало было и на казенных предприятиях. Только в слободах, приписанных к Уктусским заводам, из 1373 дворов было «пришлых», не вошедших в перепись 1710 года, 372 двора. В Уткинской слободе практически все население (свыше пятисот душ обоего пола) состояло из «пришлых». После

того как все население приписных слобод сначала фактически, а затем (с декабря 1721 года) и вполне официально перешло в ведение Татищева, на него была возложена обязанность отыскания и возвращения прежним владельцам беглых. Татищев, однако, от этого дела уклонялся. В доношениях коллегии он стремится обосновать нецелесообразность этой меры и трудности ее осуществления. Он ссылается на то, что многие пришлые появились в этом крае более сорока лет тому назад, а затем в 1709 году были разогнаны башкирами, после чего вернулись на свои места «с приумножением». Откуда появились «приумноженные», можно догадаться: в том же 1709 году тысячам крестьян пришлось разбежаться от карательных команд, действовавших на юге России. Но Татищев как бы рассчитывает и на них распространить срок давности. Сообщение же о жертвах, понесенных беглыми переселенцами от мятежных башкир, являлось как бы напоминанием о древнерусском обычае — давать свободу холопам, бежавшим из вражеского плена. Главным же аргументом Татищева были, конечно, соображения казенной выгоды: если беглых вернуть, то на заводах никого не останется и их придется закрыть.

Немало было при заводах и деклассированных элементов. Татищев доносил, что «на Уктусе 140 дворов, которые торгом и заводскою работою кормятся, а в казну ничего не платят». Он предлагал обложить их податями «против крестьян», «ибо хотя они пашен не имеют, но могут более заработать, и чем более оклад, тем полезнее, понеже здешний народ так ленив, что, получив за данную плату 4 или 5 коп., лежит неделю, разве пропьет, или проиграет, или ему сверх надлежащего на день прибавят 1 коп., то он станет работать, но недолго». Татищев рассчитывал, что введение государственного налога заставит этих «гулящих людей» работать постоянно. Он и сам хотел возложить на них по одному рублю оброка на заводские нужды. Но должен был отказаться от этой затеи, поскольку «гулящие» пригрозили уйти к Демидову.

Описанная Татищевым категория беглых явилась, конечно, порождением крепостнической системы и безудержного усиления норм эксплуатации. У определенной части населения в итоге вырабатывалась ненависть к труду, переходившая в то апатическое состояние, которое Татищев, как будто и не без оснований, именуется «ленью». Татищев думал заставить их работать, с одной стороны, путем повышения платы, а с другой — искусственным увеличением потребности в деньгах — установлением налога. Коллегия, однако, решила этот вопрос иначе. Она предписала желающим записаться для работы на заводах с освобождением от солдатской и прочей службы, но с постоянным прикреплением их к заводам, а тех, кто не пожелает пойти навечно в заводские работы, отправить в центральные губернии согласно указам о беглых. Большинство вольноопределяющихся пошло на заводы. Но возникший здесь небольшой резерв свободных для найма рук был таким образом исчерпан.

В тяжелом положении находились крестьянские и приписные слободы. После того как последовал указ о передаче их в ведение Берг-коллегии, губернские подьячие поспешили ободрать крестьян как липку. Они полностью взыскали подати за 1719 год, выбили недоимки за прошлые годы и полностью сорвали с крестьян плату за 1720 год, причем подьячие, по обычаю, от каждого двора взымали по десять копеек своей доли. В результате крестьяне, естественно, отказывались выполнять какие-либо заводские работы. Татищев доносил Черкасскому, что вследствие незаконной «инициативы» служащих, действовавших по указу вице-губернатора Петрово-Соловова, «на заводах не припасено ни угля, ни руды, денег нет для найма с воли, мастеровые разбрелись, а наделанное железо не перевезено на пристань и лежит на складах при заводах». Но разрешить все эти вопросы в условиях, когда власть персон была выше закона, было, по существу, невозможно. Самое большее, чего можно было добиться, — не допустить подобных безобразий в будущем.

Впрочем, по вопросам, не составлявшим затруднений, Черкасский шел навстречу Татищеву. Он не возражал против перераспределения слобод между заводами для сокращения дальних

перевозок. Согласился он также выделить специального судью, дабы не посылать тяжущихся в Тобольск и не отрывать их на длительный срок от дела. Сначала он предложил Татищеву взять эти обязанности на себя. Но тот отказался, поскольку обычный судебный «прибыток», ради которого, очевидно, и сделано было предложение, его не интересовал. Дел у него и без того было несчетное количество. Но там, где речь шла о явных злоупотреблениях чиновников, а также интересах сильных мира сего, Черкасский был более чем уклончив.

В 1718 году для взимания податей с сельского населения были введены должности земского комиссара и земского писаря со штатом специальных надзирателей и сборщиков. Попутно эти должностные лица должны были вообще следить за порядком. Татищев, получив официально в управление приписные слободы, также немедленно назначил земским комиссаром в Уктусские слободы Степана Неелова, «опытного подьячего, человека доброго и не пьяницу», а Алапаевские слободы поручил заводскому комиссару Ивану Абрамову, выделив им в помощь мостовых и лесных надзирателей, и т. д. Положение о земских комиссарах сопровождалось подробными инструкциями Камер-коллегии, в которых разъяснялось, что должны и чего не должны делать комиссар и писарь. Татищев этими инструкциями не удовлетворился и от себя дал дополнительное наставление Неелову, в частности: «Смотреть накрепко, чтоб на заводы пахотных крестьян без крайней нужды в рабочую пору не наряжали, чтобы во всяком случае крестьянам работы их на заводах засчитывались в подати и по той цене, какую получают вольнонаемные рабочие... Надзирать и за судьей... чтоб напрасно крестьянам обид и нападок не делал... Малые ссоры между крестьянами стараться решать самому и прекращать миролюбиво».

Особое внимание Татищев неизменно уделял школам. Побуждать к обучению грамоте и иному предписывалось и в инструкции земским исправникам. Однако никто с них за это не спрашивал и никто этим практически не занимался. В 1721 году в Кунгуре и Уктусе были открыты «высшие» учебные заведения, куда учениками принимали уже тех, кто был обучен письму. Здесь изучали арифметику, геометрию и горное дело, с тем чтобы сразу готовить специалистов для заводов. В августе 1721 года в Уктусе было двадцать девять и в Кунгуре двадцать семь учеников (четырнадцать изъявивших желание учиться были отпущены назад, поскольку «грамоте не знают»). Учителями были ученики Артиллерийской школы Братцов и Одинцов. Они занимались этим попутно со своей основной работой, без дополнительного жалованья. Но учителю разрешалось «взимать себе» за труд от родителей по возможности, если родители были зажиточными. В то же время Татищев требовал допускать к учению и неимущих, и от них предписывалось ничего не требовать.

В начале XVIII века учеба в школах почиталась по тяжести чем-то вроде солдатской службы. С 1714 по 1722 год открытые по губерниям цифирные школы приняли 1389 учеников, а окончили их лишь 93 ученика. Остальные разбежались. Татищев поэтому изыскивает самые разные способы, чтобы «заинтересовать» недорослей и их родителей в учебе. Он попытался привлечь в школы довольно многочисленных дворянских «нетчиков» (нетчик — от «нет» — не находящийся налицо), укрывавшихся от службы. Но тобольское губернское начальство, естественно, заверило Татищева, что таковых не имеется, а Берг-коллегия резонно советовала не связываться с этим делом: пришлось бы разбираться, почему недоросли своевременно не явились на смотр, а потом договариваться с Военной коллегией об освобождении их от службы в армии.

С разрешения Берг-коллегии Татищев установил рацион обучающимся в школах сиротам и детям бедных родителей по полтора пуда ржаной муки в месяц, а также по рублю в год на одежду. Для тех же учеников, кто имел в год более десяти рублей, та же помощь за счет казны полагалась лишь на последней стадии обучения.

Наряду с «высшими» школами были созданы и «низшие». В Алапаевской школе училось

тридцать два человека. В слободах выделялись особые избы для школ, где священникам и другим церковнослужителям предписывалось обучать хотя бы по десяти крестьян в слободе.

Сопротивлялись этому начинанию, естественно, не только служители культа, на которых возлагалась лишняя повинность, но и сами крестьяне. Поэтому Татищев пользовался любым случаем для разъяснения крестьянам прямой выгоды для них отдавать детей в обучение. Так, рассмотрев жалобу крестьян на приказчиков, он распорядился 21 июня 1721 года: «Объявить крестьянам, что жалобы их на приказчиков многие в разных обидах некоторые уже исследованы. Однакож мужикам одним управиться невозможно; також в сборах денежных и работах заводских, за незнанием письма, нужда им поверить подьячим, которые уже обыкли в шалостях; и в том крестьянам может быть тяжчайшая обида. Того ради велеть лучшим мужикам детей своих грамоте обучать, хотя б читать умели, дабы их подьячие не так могли обманывать. И в том их обнадежить, что оные обученные в солдаты и в заводскую службу никогда взяты не будут, но всегда останутся в слободском управлении».

Льготы, обещанные Татищевым, в целом не выходили за рамки разрешаемых законом, тем более что набор в рекруты обычно осуществлялся по решению местных властей (это вменялось в обязанность земскому комиссару). Льготами Татищев как бы признает и то, что заводская служба немногим легче солдатской. Он постоянно стоит как бы между пониманием важности личной свободы для «довольствия подданных» и необходимости обеспечения заводов рабочей силой любой ценой. Но ради просвещения он готов был поступиться даже и тем, в чем состояла его непосредственная и главная обязанность.

Татищев во всем любил порядок. Поэтому он вникает и в вопросы организации быта, в особенности благоустройства сел и поддержания чистоты в домах и на улицах. Каждая десятидворка знала свои обязанности по поддержанию чистоты и порядка, а также свое место в случае возникновения пожара. От комиссаров он также требовал неукоснительного внимания к этим вопросам. Решались эти вопросы обычно миром, в рамках крестьянской общины. Здесь же задача осложнялась, поскольку слободы населяли выходцы из разных мест. Поэтому не все начинания Татищева привились в первый его приезд на Урал.

Татищеву пришлось принять от предшественников еще одну чрезвычайно сложную проблему: отношения с башкирами. Башкирия вошла в состав России в 1557 году, когда многие народы от Северного Кавказа до Сибири искали покровительства России от многочисленных внешних врагов и внутренних усобиц. На первых порах народы входившие в состав Российского государства, сохраняли полный суверенитет в вопросах внутреннего устройства и практически не несли издержек на содержание русского войска, направляемого для их защиты. Позднее на них накладывался ясак (размером меньшим, чем обычная тяглая подать крестьянина центральных русских уездов), и на территории, заселенной тем или иным племенем, появляются русские крепости и русская администрация. В самой Башкирии никогда не было единства вследствие различной ориентации башкирских феодалов и родоплеменной верхушки. Противовесом русской группировке практически всегда являлись прокрымская и протурецкая. Как правило, в период военных столкновений России с Крымом и Турцией вторая группировка поднимала голову, ведя за собой ту или иную часть башкир.

Последнее крупное выступление башкир перед приездом Татищева приходилось на 1705-1711 годы. Оно было вызвано злоупотреблениями царской администрации, теми самыми злоупотреблениями, от которых в еще большей степени страдало и русское население. Но вылилось оно в разрушение русских поселений и заводов. Восстание было подавлено. Однако обстановка в крае оставалась беспокойной. Отдельные башкирские феодалы и родовые вожди устраивали набеги на русские поселения и препятствовали разработке руд на башкирских землях. Так, в результате набега башкир в 1718 году на Полевские медные рудники были

разрушены и сожжены все строения, а работные люди изгнаны. Башкирские вожди предупреждали, что не позволят заниматься промыслами по всей прилегающей округе. Поскольку инородцы входили в ведение Коллегии иностранных дел, Берг-коллегия просила содействия: предупредить башкир и их «начальных людей», чтобы они не чинили препятствий в поиске руд сотрудиникам Татищева.

Согласно определению Сената грамота была составлена и направлена Татищеву в Уктус. В Уфе же ее зачитали специально созванным башкирским батырам. Однако положение изменилось мало. Батыры, изъявляя согласие на словах, решительно противились возвращению населения в разоренные селения и восстановлению разрушенных рудников. Татищеву пришлось искать иных путей для договоренности с батырами, в частности, с батыром Чубаром Балагушевым — самым беспокойным соседом заводских поселений. Татищев выяснил, что батыр претендует на область, ранее принадлежавшую вогулам, и предложил провести размежевание, прислав от башкир «кого умного», дабы «добрым порядком, с удовольствием с ними развестись». Батыр от такого решения уходил и на крайний случай требовал выплаты с каждого крестьянского двора спорной земли по два рубля, искать же руду разрешал «в земле», а не «поверх земли». По поводу последнего ограничения Татищев не без иронии заметил: «Не разумею, как бы не начав сверху, итти вглубь».

Балагушев, конечно, понимал неустойчивость своего положения и старался изображать верность уфимскому начальству. Он даже заявился в Уфу с образцами медной руды, найденной якобы в его владениях на реке Чусовой. Руда была отправлена в Берг-коллегию, где было установлено, что в ней имелась даже примесь золота. Коллегия просила Татищева осмотреть места находок, а заодно и поощрить батыра. Татищев подозревал, что руда взята из тех самых рудников, которые в 1718 году были захвачены Чубаром и его людьми. Тем не менее он внимательно отнесся к явившимся к нему башкирским рудоискателям, наградив их чугунными котлами и красным сукном. Уточнить же место, откуда были взяты образцы, не удалось, поскольку 3 августа тридцать башкир вместе с двумя русскими беглыми солдатами совершили набег на только что восстановленное поселение крестьян у одной из медных копей в верховьях Чусовой. Начался новый тур уговоров и переговоров, которые вел то Татищев, то администрация в Уфе. Уговоры, однако, цели не достигли, а необходимой силой ни Татищев, ни местные власти не располагали.

Местные военные отряды Татищев нашел в таком же запущенном состоянии, как и сами заводы. В них числилось около сотни драгун — рекрутов, набранных из здешних крестьян и, по существу, остававшихся крестьянами. Ни оружия, ни амуниции эти драгуны не имели, и никто об этом ни заботы, ни беспокойства особенного не проявлял. Драгуны сидели на земле, с которой должны были справиться себе амуницию и лошадей. Это шло как бы в зачет тягла. От других же крестьянских сборов они не освобождались. Офицеров не было. Роль начальников выполняли отобранные из них же урядники и прапорщики, с военным делом незнакомые.

Татищев взялся за приведение в порядок своих вооруженных сил. Он испросил у коллегии разрешения снять с драгун различные поборы и переложить их на крестьян, «яко ими охраняемых», с тем чтобы повысить требования к их главному делу. Вооружение выписывалось из Москвы, а форму драгуны должны были оплатить сами.

Драгуны были собраны в новом поселке Горный щит в двадцати пяти верстах южнее Уктуса, то есть в наиболее беспокойном месте. Однако с вооружением дело по-прежнему обстояло не лучшим образом. Из Москвы было прислано сто фузей. Оказались они неодинаковыми и размером и калибром. У некоторых «не просверлены запалы». Главное же — пятнадцать штук разорвалось уже при первом испытании, и Татищев выражал опасение, как бы «в руках не разорвалось». Офицеров Татищев думал нанять опять-таки из шведских

военнопленных. Но шведы уже ожидали скорого мира: «Обнадежены миром, да жалованье гарнизонное весьма скудное».

На собственные занятия Татищеву времени не оставалось. Тем не менее он ухитрялся его выкраивать. Здесь с помощью Блиера он начал учить французский язык, о чем и сделал упомянутую выше запись. Видимо, как следует выучить его он не успел. Но в переписке с Татищевым Блиер теперь подписывается по-французски. Продолжает Татищев собирать книги и разыскивает рукописи, особенно по вопросам географии, истории и права.

Татищев был полон планов и энтузиазма, когда в конце января 1722 года отправлялся на несколько недель в Москву. Вернуться ему, однако, удалось лишь несколько месяцев спустя и в ином качестве.

Виноватый боится закона, невинный — судьбы.

Публий Сир

Порядочен тот, кто свое право измеряет своим долгом.

Дакордер

Задержаться в Москве и Петербурге Татищеву пришлось из-за происков могущественных предпринимателей Демидовых.

Родоначальник династии Демидовых — Никита Демидович Атуфьев (Никита Демидов. 1656-1725) — происходил из тульских кузнецов. В 1696 году им был построен под Тулой вододействующий чугуноплавильный завод, что сразу выдвинуло его в число ведущих промышленников в области черной металлургии. Начало войны со Швецией и связанное с ней прекращение поставок в Россию шведского железа заставили правительство срочно изыскивать собственные возможности. Не имея подготовленных кадров, казна передает построенные на ее средства заводы «охочим людям» с обязательством поставлять в казну определенное количество металла. Никита Демидов к этому времени уже обратил на себя внимание двора незаурядным дарованием железных дел мастера и умелого и деятельного предпринимателя. Жалованной грамотой от 4 марта 1702 года незадолго до этого построенный казной Невьянский железоделательный завод был передан Никите Демидову. Вместе с заводом Демидов получил от казны 70 человек, закрепленных за предприятием. В 1703 и 1704 годах ему дали дополнительно 1186 душ мужского пола в 371 избе приписных крестьян. Демидов сразу стал одним из богатейших людей России того времени.

Во время второй переписи, осуществленной по распоряжению тобольской администрации в связи с многочисленными доносами на Демидовых, в приписных слободах и селах населения оказалось меньше: всего 919 душ мужского пола в 290 дворах. Переписчики отметили, что «многие дворы и избы опустели за выбытием хозяев с семьями безвестно куда». Зато количество собственно заводского населения значительно возросло. На Невьянском и вновь построенном Шуралинском заводах их оказалось 910. В большинстве своем это были пришлые из разных мест.

Как истинный предприниматель Демидов безжалостно выжимал последние соки из приписных крестьян, которые разбегались от него, конечно, не от хорошей жизни. Но пришлым, работавшим у него по найму, он давал определенные льготы. Это также в большинстве были крестьяне — беглые из центральных уездов. В заводских слободах Демидова действовала целая система укрытия беглых от розыскных команд, что, с одной стороны, привлекало к нему беглых, а с другой — ставило их в полную зависимость от демидовских приказчиков.

В числе жалобщиков на Демидова были Строгановы и некоторые воеводы. Но Демидову покровительствовали любимцы Петра Меншиков и Апраксин — самые крупные казнокрады в царской администрации, умевшие следить за настроениями царя и бесцеремонно обходявшие какие-либо законы. Никите Демидову благоволил и сам Петр I. Зная все это, местные власти обычно устраивали разного рода проверки, скорее для того, чтобы успокоить жалобщиков, чем действительно разрешить вопрос. Единственно серьезным обвинением против Демидова было то, что среди беглых оказались уголовные преступники и особенно беглые солдаты. Но как раз за эти-то нарушения и не слишком беспокоился Демидов, поскольку Военную коллегию

возглавлял Меншиков. И местные власти услужливо обходили скользкий вопрос.

Никита Демидов и после организации металлургического производства на Урале оставался в своих тульских владениях, а на Урале вел дела его сын Акинфий (1678-1745). Как это очень часто бывает, сын уже не ощущал трудностей восхождения, зато хорошо усвоил преимущества достигнутого положения. И хотя Демидовы формально еще даже не входили в ряды правящего класса (дворянское звание было пожаловано им уже после смерти Никиты — в 1726 году, во время наивысшего взлета Меншикова), Акинфий с явным пренебрежением относился к местным властям независимо от их чинов и должностей. Татищев оказался первым, кто и от Демидовых потребовал неукоснительного выполнения законов.

Развал казенных уральских заводов происходил, конечно, не без участия Демидовых, даже самого активного их участия. Для них казенные заводы были обычным конкурентом. Акинфий вполне научился управляться с местными властями, обманывая одних, подкупая других, запугивая третьих. Татищев же с первых дней пребывания на Урале явил собою новый тип администратора. Его нельзя было подкупить, трудно было запугать и почти невозможно обмануть. Осталось убирать его силой, провоцируя его на какие-либо злоупотребления по административной линии, а также опираясь на могущественных покровителей в Петербурге.

Стычки начались сразу после первых распоряжений Татищева, предусматривавших упорядочение положения на уральских казенных заводах. Приказчики Демидова увозили с казенных рудников руду, избивали рабочих, чинили препятствия при проездах через зону Демидовских слобод. Татищев организовал как бы централизованную добычу огнеупорного камня для всех казенных заводов, а также за определенную плату и для частновладельческих предприятий («за деньги, во что обошлась добыча»). Подходя к делу с широких государственных позиций, он заботился и о подъеме частновладельческих заводов. Но демидовские люди не только не собирались платить, а, более того, изгоняли из карьера казенных мастеров, забирали добытый ими камень (карьер находился на государственной территории). Татищев доносил в коллегии о самоуправстве Демидовых и его приказчиков. Но два важных его донесения до коллегии не дошли: они исчезли в пути, как исчезло и дело о продаже Алапаевского завода. Люди Демидова не стеснялись и прямо нападать на курьеров, доставлявших почту Татищеву из коллегии. Так, у «школьника» Одинцова, возвращавшегося из Берг-коллегии с «указами и посылками», по дороге все это было отнято. Позднее по требованию коллегии виновник преступления — староста — был наказан. Но действительно направляющая все эти действия рука в поле зрения властей никак не попадала.

Татищев, конечно, понимал, что за Демидовыми стоят такие фигуры, тягаться с которыми не по силам и Берг-коллегии. Поэтому он оставлял вопрос как бы на усмотрение начальства: «Пожалуйте нас, извольте решить, и ежели нам до того дела нет, то мы довольны вашим определением». Однако он здесь же разъясняет, что поступают Демидовы незаконно и бросают вызов опубликованной Берг-привилегии. Естественно, что Берг-коллегия не могла ни отказаться от своих прав, ни признать свое бессилие. В мае 1721 года из коллегии направляется Татищеву указ, уполномочивающий его на получение десятины с частных заводов Демидова. Между тем Демидовы не вносили в казну даже и эту обычную подать. И теперь Акинфий просто отказался подчиниться Татищеву, ссылаясь на то, что он такого указа от Берг-коллегии не имеет.

Поскольку регулярной почтовой службы не было, почта ходила медленно и неисправно. Акинфий всегда пользовался этим совершенно откровенно. Требовалось немало времени, пока Татищев сможет связаться с коллегией и получит оттуда ответ на Урале. Ответ такой все-таки пришел. Коллегия предписывала Демидовым быть послушным законным указам Татищева и писать ему доношениями (то есть по официальной форме, а не отписками), и «впредь особых себе указов из Берг-коллегий не ожидать». А тем временем противоборство принимало

тотальный характер. В связи с мероприятием Татищева по централизации добычи огнеупорного камня Демидов отправил Татищеву издевательское доношение: «Просим вашего величества о рассмотрении той обиды и о позволении ломать камень». Татищев, в свою очередь, не преминул обменяться уколами, объяснив насмешку невежеством заводчика: «Такая честь (то есть «ваше величество». — *Авт.*) принадлежит только Великим государям, и оное я уступаю, полагая на незнание ваше, но упоминаю, дабы впредь того не дерзали». Последняя фраза должна была означать, что Демидов оскорбляет таким образом не Татищева, а Петра.

Акинфий позволял себе такие выходки даже по отношению к Татищеву, уже определенному постановлением Берг-коллегии от 20 июля 1721 года в должности Горного начальника в Сибирской губернии, которому следовало подчиняться «и Демидову, и прочим промышленникам». С разного же рода мелкими казенными служащими и вообще не церемонились: их выгоняли, избивали, грабили. Приказчики Демидова не пускали никаких чиновников для сыска беглых крестьян или солдат, запутывали сведения о производимой продукции, чтобы уклониться от выплаты государственной десятины и т. п. А губернские власти не решались принимать какие-либо действенные меры. Опасалась занять решительную позицию и коллегия: не все материалы она получала, и далеко не все ее члены искренне радели за интересы казны и дела.

Положение, сложившееся на Урале, обеспокоило и Никиту Демидова. Он, конечно, верил во всемогущество своих покровителей, но достаточно знал и неуемную способность сына идти напролом там, где можно поискать обходные пути. Летом 1721 года он сам приехал на Невьянский завод и попытался установить с Татищевым более спокойные отношения, заставив и сына воздерживаться от хулиганских выходов против Горного начальника. Никита, очевидно, не верил и в то, что кого-то из администрации невозможно подкупить: ведь и любимцы Петра покровительствовали ему отнюдь не бескорыстно. Однако из такой попытки ничего не вышло. Татищев не отказался умерить требования. Демидовы подняли на ноги своих высоких покровителей. Жалобы от Демидова и его заступников дошли и до самого царя. И царь в данном случае готов был решительно наказать обидчика, если бы хотя какая-то часть обвинений оказалась обоснованной. Именно раздражением против Татищева всемогущих временщиков, а также самого царя объяснялась нерешительная позиция Брюса, не говоря уже о пассивности губернских властей, включая губернатора Черкасского.

У Петра имелась и одна личная причина оставаться недовольным ретивостью Татищева. Горный начальник, как можно было видеть, не особенно стеснялся источниками получения нужных ему специалистов. В сущности, он делал то же самое, что и Петр, но, как говорится, что позволено Юпитеру... В один из приездов в Тобольск Татищев обратил внимание на ссыльного Федора Еварлакова. По характеристике Татищева, это был «человек умный и в Саксонии не малое время быв и ездив по заводам, нарочно присмотреться мог; к тому умению языков, латинского и немецкого, немаловажную помощь подать может». Обращаясь в коллегия, Татищев уверял, что «подобнаго ему обрести не мог».

Сложность, однако, заключалась в том, что наказание на Еварлакова было возложено самим Петром, поскольку тот был замешан в деле царевича Алексея. Еварлакова дважды пытали, били кнутом и отправили в ссылку, правда — этим и попытался воспользоваться Татищев в своей аргументации, — «во дворяне, а не как прочие ссылочные». Берг-коллегия сделала соответствующее представление в Сенат, и через кабинет-секретаря Макарова ходатайство было доведено до Петра. Петр, однако, рассмотрение этой просьбы задержал: он на сей раз просто никак не выразил отношения к ходатайству. Нетрудно, однако, догадаться, что предложение ему весьма не понравилось. Он увидел в нем напоминание о тяжелой драме и косвенное несогласие с занятой им самим позицией. Не мог Петр в этой связи не вспомнить и того, что

Татищев вообще был близок кое с кем из замешанных в деле лиц.

Осторожный и хорошо знакомый с расстановкой сил при дворе Брюс дал ход прощению. Вряд ли он мог рассчитывать на успех. Тем не менее он, видимо, тоже воспользовался случаем выразить косвенное неодобрение направленности процесса, в результате которого многие преданные государству деятели были отстранены от дел. Когда государственные интересы сталкиваются с личными настроениями самодержца, правитель останется недоволен просителем, даже если он и удовлетворит просьбу. В данном случае Петр просьбу не удовлетворил, и это вдвойне раздражало его против просителей. Возбуждение Демидовыми дела против Татищева было в этой обстановке для царя весьма кстати.

Поначалу от Демидовых шли устные оговоры. Татищев о них ничего не знал. Официально о них не была уведомена и Берг-коллегия, в чем, возможно, проявлялось и недовольство Петра позицией ее президента. Царь сам взял это дело в руки и направил на Урал Вильяма де Геннина для разбирательства, а точнее, просто для ограждения интересов Демидовых.

Георг Вильгельм де Геннин, называвшийся в России также Вилим Иванович Геннин (1676-1750), был принят на службу самим Петром в 1697 году во время его поездки в составе «Великого посольства» в Амстердам. Как и многие другие иностранцы, Геннин не любил приказных и подьячих, что должно было нравиться Петру. Как и все в то время в России, он исполняет самые разные обязанности и занимает разнообразные должности. Будучи одним из лучших инженеров и артиллеристов тогдашней России, он строил крепости, достраивал пушечно-литейный двор и пороховые заводы в Петербурге. В 1713 году он был назначен олонеким комендантом и начальником заводов в крае. Петр высоко ценил и знания и преданность Геннина. Близок был Геннин и со многими вельможами, в частности с непосредственным покровителем Демидовых Апраксиным.

Берг-коллегия с марта 1722 года перемещалась в Москву, где ранее уже было создано ее подмосковное отделение. Здесь Татищев еще в феврале подал два доношения и выполнял различные дела, связанные с уральскими заводами. Брюса, однако, встретить ему не удалось, так как тот уехал в длительную командировку за границу и ожидался в Москве лишь к июню. У Татищева, правда, состоялась мимолетная встреча с Петром, который останавливался в Москве по пути в Персию. Судя по всему, уральских дел Петр даже не затронул. Разговор, по всей вероятности, ограничился историко-географическими сюжетами, которые могли непосредственно интересовать царя в связи с персидским походом. Он, в частности, взял с собой у Татищева рукопись «Муромской» летописи, содержание которой остается неясным, поскольку рукопись была утрачена, видимо, еще Петром.

Геннин получил назначение на Урал еще в марте. Но в Берг-коллегию доношение об этом поступило лишь 7 мая от самого Геннина. Геннин уведомлял об именном императорском указе, в котором, между прочим, значился и наказ «розыскать между Демидовым и Татищевым, также и о всем деле Татищева, не маня ни для кого». Геннину поручалось сообщать о ходе дела в Сенат, коллегию и самому императору. Татищева ему предписывалось взять с собой для очных ставок.

Уже после назначения Геннина и его отъезда на Урал Апраксин в письмах продолжает настоятельно требовать, чтобы тот поддержал Демидова. Геннин, однако, не давал каких-либо обязательств. Он соглашался оказывать помощь только до известных пределов. «Вспоможение Демидову чинить я рад только в том, — писал он Апраксину, — что интересу е. и. величества непротивно». Неудача обвинения позднее привела к охлаждению отношений Апраксина и Геннина (естественно, по инициативе первого) и прекращению их переписки на два года.

В отсутствие Татищева делами на Урале заправлял Михаэлис. Ничего, кроме вреда, это управление Уралу не дало. Большинство его распоряжений было бестолковыми или неверными.

В инструкции из тридцати шести пунктов, данной им уктусскому управляющему Бурцову, не было ни одного действительно нужного указания. Горный мастер Патрушев писал в мае 1722 года в Москву Татищеву: «О себе доносим: еще живы, только в печалех, что все у нас не так, как было при вашем благородии... Ежели его (то есть Михаэлиса) журнал и писание о заводском погрешении и о горном представлении изволишь читать, то весьма познаешь, что нам не дивно его нраву дивиться. Просим помощи божий и дарования вам здравия, дабы благоволил бог вашему благородию к нам прибыти». План Татищева построить завод на Исети Михаэлис решительно отверг. Он решил строить завод выше по Уктусу, где воды было еще меньше, чем на действовавшем заводе, а построенная им плотина скоро прорвалась.

Письмо Патрушева характерно для отношения к Татищеву той части администрации, которой не были безразличны судьбы дела. Сходная обстановка сопровождает всю его многолетнюю служебную деятельность. Но Патрушев, видимо, в этот момент еще не подозревал о том положении, в котором оказался его начальник. Демидовы упорно уклонялись от подачи письменного обвинения в адрес Татищева. Никита надеялся, по-видимому, что Татищева просто уберут с Урала. Но этого не мог сделать даже Петр, поскольку таким образом зачеркивалась бы деятельность целой коллегии и наносился бы самый непосредственный ущерб казне. Татищев же продолжал пользоваться доверием Брюса, который перед отъездом в заграничную командировку имел довольно жесткий разговор с Никитой Демидовым, предупредив его о возможной ответственности в случае необоснованности обвинения. 7 июня 1722 года в Берг-коллегию было наконец подано доношение Никиты Демидова на Татищева. Но оно мало соответствовало тем обвинениям, по которым был направлен столь авторитетный следователь, как Геннин.

Согласно доношению Демидова «в бытность в Сибири на Уктусских заводах от артиллерии капитан Василий Татищев поставил во многих местах заставы, а ныне я уведомился через письмо сына своего Акинфия, что те заставы содержит комиссар Уктусскаго завода Тимофей Бурцов, и чрез оныя на Невьянские заводы хлебнаго припасу не пропускают, и от того не токмо вновь медные заводы строить и размножать, но и железные заводы за небытием работных людей конечно в деле и во всем правлении государственных железных припасов учинилась остановка, понеже который хлеб и был, и тот мастеровые и работные люди делили на человека по четверику, и от такого хлебнаго оскудения пришлые работные люди на наших заводах не работали, все врозь разбрелись, да и крестьяне, купленные нами в Нижегородской губернии и переведенные на заводы из Фокина села для работ, и из тех крестьян от той хлебной скудости многие бежали, а наипаче большая половина померли, о чем сын мой в Сибири Горному Начальству подал доношение, с которого в Государственную коллегию берг-советник Михаэлис прислал копию». Доношение заключалось просьбой о пропуске через заставы хлеба.

В доношении Никиты Демидова кое-что, видимо, соответствовало действительности: положение работных людей на его собственных заводах, голодовки, поражавшие периодически слободы из-за неустойчивого снабжения заводских рабочих продовольствием. Но он, конечно, перекладывал вину с больной головы на здоровую. Он надеялся произвести впечатление своеобразной угрозой сорвать поставки стратегически важного материала и заодно возложить вину за это на Татищева. Расчет, очевидно, строился на том, что Геннин выполнит возложенное на него поручение так, как этого хотели бы Апраксин и другие покровители Демидовых, подтвердив вопреки фактам изветы первого промышленника страны. Но несостоятельность извета была слишком очевидной. Татищев мог на другой день разъяснить коллегии, что «заставы учреждены им по указу губернаторскому для удержания проезжих с товарами заповедными, неявленными, и чтоб неуказными дорогами для воровства никто не ездил; а о пропуске хлеба запрещения вовсе не было». К тому же в его распоряжении было только что полученное письмо

Бурцова, где сообщалось еще об одной выходке Демидова — челобитной в адрес Михаэлиса. Бурцов прямо писал, что «все это Акинфий клеветает напрасно».

В устных наветах на Татищева были и иные пункты обвинений, касавшиеся опять-таки пренебрежения со стороны Татищева государственным интересом. В составлении этих пунктов обвинения, видимо, принимали участие не только Демидовы, поскольку Татищева обвиняли в нежелании делать то, что он как раз и предлагал делать и на чем особенно настаивал. Не исключено, что некоторые из этих обвинений появились уже после прибытия Геннина на Урал, когда Геннину вторично открылись те же самые недостатки, которые ранее уже отметил Татищев и устранения которых он добивался. Теперь делалась попытка именно на Татищева взвалить ответственность за развал казенных предприятий.

Уже после того, как Татищев был предан Вышнему суду при Сенате, 18 мая 1723 года из канцелярии суда поступил в Берг-коллегию запрос, «в какой силе» была дана ему инструкция (то есть каков был круг его полномочий), сообщал ли он «о непорядочном устройении Уктусских и Алапаевских заводов, и чтоб вместо оных поведено было ему на Исети реке построить, вновь в Берг-коллегии многожды ль доносил? и к тому строению завода удобному месту чертежи сообщил ли?» и т. п. Само выдвижение подобных обвинений, видимо, строилось на надежде, что Татищев не писал или, что еще хуже, до коллегии не дошли его предложения. Но кое-чем коллегия все-таки располагала, и все показания Татищева она подтвердила.

Вышнему суду предшествовал довольно длительный период ревизионных проверок, осуществленных Геннином и другими лицами по его поручению. Геннин направился из Москвы 29 июля тем же маршрутом, что ранее проделал Татищев, то есть Москвой-рекой и далее водным путем. Он вез с собой ряд иностранных специалистов, в том числе таких профиблей, по которым Татищеву людей подобрать не удалось. Существенно иным, нежели ранее у Татищева, было и материальное обеспечение его экспедиции: оно обычно зависело не столько от важности дела, сколько от должности и влияния возглавлявшего его лица. Татищев выехал несколько позднее и также со вновь набранными специалистами (шесть «школьников» из Артиллерийской школы) и разного рода материалами, в которых на Урале испытывался недостаток. Он вез, в частности, порох (пятьдесят пудов) и огнеупорную глину (триста пудов). Положение его оказалось двусмысленным. С точки зрения миссии Геннина он был последственным. Но коллегия делала вид, будто ничего не случилось, и по-прежнему рассматривала его в качестве представителя Горного начальства.

Тяготясь таким положением, Татищев направил 30 июля, еще до отъезда в коллегию, доношение, в котором просил увольнения от занимаемой должности: «До окончания розыска у тех горных дел быть мне невозможно. Того ради покорно прошу, дабы от Горного начальства повелели меня отрешить, и по окончании розыска меня и подъячего Клушина, который при мне у прихода и расхода был, отпустить в Москву, дав подводы и прогоны». Коллегия согласилась с первой, частью просьбы, но отказала во второй. Указом 7 августа Татищев отстранялся от дел до окончания розыска, после чего его судьба должна была решаться коллегией.

К началу октября и Геннин и Татищев прибыли наконец в Кунгур. По-видимому, по инициативе Михаэлиса заводская администрация устроила обязательные сборы с населения на подарок проезжающему начальству — Геннину. Администрацию все это, конечно, удивить не могло: чем выше стоял по служебной лестнице тот или иной деятель, тем большими обычно были и размеры его поборов за счет казны и населения. Но Геннин искренне возмутился такой циничной попыткой его подкупить. Он потребовал возврата взятых с населения денег и пресечения подобных действий впредь. Неудивительно, что с самого начала между ним и Михаэлисом возникла неприязнь.

Отношения между Геннином и Татищевым на первых порах были сугубо официальными,

может быть, с оттенком недоброжелательства со стороны Геннина. Все-таки в целом ситуация на Урале понималась именно таким образом, что Геннин приехал защищать Демидовых от Татищева. И Геннин как будто не особенно скрывал это, с подчеркнутым дружелюбием обращаясь к Демидовым. Тем не менее, приступая к делу, он уже из Кунгура уведомил Никиту Демидова, чтобы к его приезду на Невьянский завод было подготовлено письменное доношение с подробным изложением обвинений в адрес Татищева. Демидов попытался уклониться от изложения своих обвинений на бумаге, памятуя предостережения Брюса. Прибыв на завод 1 декабря, Геннин повторил свое требование. «Я буду с ним, Татищевым, мириться, а взять мне с него нечего», — заявил на сей раз Демидов. Геннин вынужден был напомнить, что мириться уже поздно, поскольку император ждет результатов розыска. Демидов попытался подыскать другое обвинение: «Я-де писать не могу и как писать, не знаю, я не ябедник». И лишь после того, как Геннин разъяснил Демидову, что отказ подать письменное прошение будет равнозначен признанию его вины, тот изложил наконец два пункта претензий: 1) сооружение застав по дорогам и 2) отнятие Татищевым части пристани, устроенной на реке Чусовой (на земле казны).

Розыск по двум объявленным Демидовым пунктам не представлял затруднений. Правота Татищева была слишком очевидной, хотя позднее, в 1724 году, Геннин пристань все-таки передал Демидову. Передача (на определенных условиях) государственных предприятий частному капиталу вообще широко практиковалась, в том числе, как можно было видеть, и Татищевым. Но обязательным это, разумеется, для администратора, соблюдающего казенный интерес, не было. Проверил Геннин и другие, устные обвинения Демидова. Одно из них касалось уверения, будто по вине Татищева Демидов не может поставить медеплавильное дело. Но Демидов сам признался Геннину, что в меди он ничего не понимает и хотел бы вообще от этого дела избавиться, если бы можно было обойти предписания Берг-коллегии.

В устных обвинениях упоминалось и о взятках, которые якобы брал Татищев. Упоминание об этом в устах Демидова, который привык все и всех подкупать и покупать на Урале (но не смог купить Татищева), выглядело слишком уж ханжеским. Тем не менее Геннин рассмотрел и эту сторону обвинений. Ничего криминального в действиях и поведении Татищева он не нашел. Розыск с очными ставками был завершён к февралю 1723 года, и материалы следствия отправлены в Сенат и (копия) в Берг-коллегию. Сообщая Апраксину о завершении этого дела, Геннин как бы извинялся: «Демидова розыск да Татищева кончился. А что он на Татищева доносил, на оном розыске не доказал, или Татищев умел концы схоронить». Да и сам Демидов не настаивал более на каком-либо своем обвинении. В апреле 1723 года он будто даже благодарит Геннина: «Да спасет тебя бог за истинную твою, государь, правду, за что даждь боже вашему превосходительству быть генерал-губернатором в Сибири».

Петр I вернулся из персидского похода к концу 1722 года. В столице его ожидал ряд дел, очевидно, для него более важных, чем татищевское. «Птенцы гнезда Петрова» погрязли в склоках и казнокрадстве. Еще в 1721 году был казнен за казнокрадство бывший губернатор Сибири князь Гагарин. Умер, не дождавшись суда, знаменитый «прибыльщик» Алексей Александрович Курбатов. В отсутствие Петра продолжалось дело по очередной крупной махинации Меншикова, связанной с самовольным захватом ряда земель на Украине (так называемое почепское дело). К этому добавилось еще дело П. П. Шафирова, злоупотребления которого сопровождалось недостойным поведением в Сенате. Меншикову его хищения Петр в очередной раз простил. Шафиров был приговорен к смертной казни и возведен на эшафот. Но затем дело ограничилось ссылкой в Новгород. Петру явно нужны были новые люди, готовые соблюдать не только его, но и государственные интересы.

По возвращении Петра Геннин доносил о результатах своего розыска и ему

непосредственно. Он откровенно изложил существо дела. «Ему (то есть Демидову), — писал Геннин, — не очень мило, что Вашего величества заводы станут здесь цвести, для того, что он мог больше своего железа запродавать, а цену положить как хотел, и работники все к нему на заводы шли, а не на Ваши. А понеже Татищев по приезде своем начал прибавливать, или стараться, чтоб вновь строить Вашего величества заводы, и хотел по Горной привилегии поступать о рубке лесов и обмежевать рудные места порядочно, и то ему також было досадно, и не хотел того видеть, кто ему о том указал. И хотя прежь сего, до Татищева, Вашего величества заводы были, но комиссары, которые оными ведали, бездельничали много, и от заводов плода почитай не было, а мужики от забалованных Гагаринских комиссаров (речь идет о прежнем управлении заводами. — *Авт.*) разорились, и Демидову от них помешательства не было, и противиться ему не могли, и Демидов делал что хотел, и чаю ему любо было, что на заводах Вашего величества мало работы было, и они запустели. Наипаче Татищев показался ему горд, то старик не залюбил с таким соседом жить, и искал как бы его от своего рубежа выжить, понеже и деньгами он не мог Татищева укупить, чтобы Вашего величества заводам не быть».

Памятуя об особых симпатиях и Петра к Демидову, Геннин опять-таки извиняется: «Я онаго Татищева представляю без пристрастия, не из любви или какой интриги, или б чьей ради просьбы, я и сам его рожу калмыцкой не люблю, но видя его в деле весьма права, и к строению заводов смышленна, разсудительна и прилежна». Но Петр, видимо, и сам уже справился с раздражением против Татищева, проявившимся у него несколько месяцев назад. Теперь покровители Демидова рады бы были избежать публичного обсуждения дела. Но Петр назначил слушание его в Сенате в собственном присутствии, что и было осуществлено летом 1723 года.

Параллельно с розыском Геннин занимался и изучением положения уральских казенных заводов. Нашел он их, естественно, в крайне запущенном состоянии, что усугублялось бестолковым руководством Михаэлиса. Следуя путем Татищева, Геннин приходил к тем же выводам, которые ранее излагал в своих записках Татищев. Была лишь одна разница: многое, о чем безуспешно просил Татищев, Геннин мог теперь сделать собственной властью. В этом и заключался порядок, когда не «законы», а «персоны» осуществляют власть. Геннин был доверенным лицом императора, и навстречу любым его пожеланиям спешили все административные и финансовые службы.

Татищев всюду в поездках сопровождал Геннина, так как должен был давать пояснения, как он предлагал решить тот или иной вопрос. И во всех случаях, когда, например, мнения Татищева и Михаэлиса расходились, Геннин оказывался на стороне Татищева. Это ярко проявилось на одном из главных спорных вопросов — о постройке завода на Исети. Геннин не только решительно поддержал татищевский проект, но немедленно начал строительство здесь завода и крепости, куда им был истребован из Тобольска целый полк солдат. В июне 1723 года здесь уже был Екатеринбург. Сюда же (соответственно замыслу Татищева) были переведены и административные службы, «понеже, — как пояснял Геннин, — здесь новостроющиеся Катеринбургские заводы между всех других в самой середке лежат».

Зная об отношении Петра к Геннину, и Черкасский вел себя значительно смелее. Он без колебаний выделил Геннину тридцать тысяч рублей на строительство города и отпускал практически все, что просил у него Геннин. Правда, тот все-таки отмечает в письме к Петру, что Черкасский «человек добрый, но не смел». Он советует императору: «Дай ему мешочек смелости и судей добрых людей».

Поддержал Геннин и многие другие проекты Татищева. Воспользовавшись проездом через Уктус губернатора Черкасского, он подал ему ряд предложений, в том числе о перенесении Ирбитской ярмарки на Исеть. Согласился он также с предложением закрыть медный завод в Кунгуре, как не обеспеченный близко лежащими медными рудниками, и открыть таковой на

реке Мулянке (близ нынешней Перми), что и было осуществлено. Попытался Геннин начать и реализацию татищевского плана соединения приуральской и северной водных систем. По его заданию была осуществлена съемка местности, и в конце 1724 года он направил Петру проект сооружения канала, который должен был соединить обе системы. Но Петр 28 января 1725 года скончался, не успев принять какое-либо решение.

Геннин во многом был человеком иного склада и иных воззрений, нежели Татищев. В отличие от Татищева он избегал «поротых ноздрей», полагая, что «непристойно таких людей под командой иметь». Он устраивал жестокие расправы над беглыми, вешая их целыми партиями, и угрожал, что «ежели не перестанут бегать, то и жесточе буду поступать». Геннин и действительно вводит такие наказания (вешание за ребра, колесование), которые не только Татищеву, но и привыкшей ко всему администрации казались чрезмерными. Явное предпочтение оказывал он и иностранным специалистам перед русскими (при прочих равных данных), что нашло отражение и в переименовании созданного Татищевым управления — Высшего горного начальства — в Обер-бергamt. Но он умел ценить знания и добросовестность как в ближайших сотрудниках, так и у работных людей.

Геннину удалось сделать кое-что из того, на что у Татищева не находилось средств, в частности, несколько поднять жалованье сотрудникам. С просьбами подобного рода он обращается непосредственно к Петру. Необходимость увеличения жалованья управителям он обосновывает тем, что «здесь деревень ни у кого нет, а есть всяк хочет». Некоторую прибавку с санкции опять-таки самого императора получили и работные люди. Жалуется Геннин и на собственную неустроенность: «Никогда я жалованья без злобы и спора, а фуража и весьма лет с 10 получить не мог». Именно такое положение очень часто вынуждало администрацию к незаконным поборам с населения. «В Петербурге, — писал Геннин, — для нужды до жалованья занять можно, здесь же не у кого». Петр положительно рассмотрел жалобу своего эмиссара, настаивая на выплате казной начиная с 1724 года твердого жалованья уральским сотрудникам. Но казна не в состоянии была распространить это решение на все категории служащих.

Отношения между Татищевым и Геннином оставались довольно сложными. Сначала вынужденные, а затем и произвольные беседы с Татищевым несколько рассеяли предубеждение, существовавшее ранее у Геннина. Он все более проникается уважением к его знаниям и сноровке. Уже в декабре 1722 года он просит Брюса отменить указ об отстранении Татищева от дел, «понеже здесь людей, способных к строению заводов, не имею, наипаче же ежели отлучусь или, волею божиею, занемогу, то дела моего приказать некому. А его вины такой, для чего б весьма отрешить надлежало, не нахожу. К этому ж он здесь о всем известен и к строению заводов удобен, и вижу его в том радение и искусство». Геннин уведомляет, что «того ради определил я его к оному делу, до указа».

Решение Геннина вряд ли особенно воодушевляло Татищева. Ему было, конечно, нелегко оставаться в столь ложном положении, когда другим людям оказывали честь за реализацию его предложений, а иные его начинания гибли из-за того, что он теперь был. отнюдь не первым человеком на Урале. Многого Геннин делать и не умел, во что-то ему не хотелось вмешиваться. В письмах к Брюсу Татищев выражает тревогу по поводу хода дел на Урале. Он заверяет, что не сомневается в благополучном исходе розыска, но весьма беспокоится по поводу усугубления беспорядков в заводском хозяйстве. «На здешние Горного начальства дела, — пишет он, — с сожалением смотрю, ибо многие указы и дела, решения и исполнения требующие, лежат и исполнять некому: советник (то есть Михаэлис) не хочет, бергмейстер (Блиер) також опасается, яко чужеземец, дабы неведением не попасть в погрешность, а берг-фохг Патрушев болен, и русскаго такого, кто б вместо меня в денежных расходах и приказных делах им помогствовать, никого нет, а генерал-майор (то есть Геннин) також вступаться не хочет. И хотя мне дела до

онаго бы не было, однакож, опасаясь большего непорядка, не мог удержаться, чтобы вашему сиятельству не донести, дабы заблаговременно определением доброго управителя вредам подлежащим предупредить соизволили прекратить сие».

Беспорядок в финансовых и административных делах, помимо прочего, приводил к огромному перерасходу средств и удорожанию себестоимости продукции. Геннин действительно не слишком следил (и не умел следить) за тем, во сколько обходится то или иное производство или строительство. Но он, конечно, понимал, что это важно и что это умеет делать Татищев. Поэтому он вновь и вновь просит возвращения в строй Татищева.

Петр, стремясь как-то удовлетворить Геннина, направил ему сержанта Преображенского полка Украинцева на должность «директора». Поездка Геннина мыслилась как кратковременное мероприятие по «исправлению» положения и розыску между Демидовыми и Татищевым. Украинцев должен был затем сменить Геннина. Но сержант вовсе не обладал качествами, необходимыми управителю столь сложным хозяйством.

Поскольку затягивалось рассмотрение дела Татищева в Петербурге, затягивалось и пребывание Геннина на Урале. Геннин продолжает просить в письмах к разным лицам (в частности, кабинет-секретарю Макарову и Петру) ускорить рассмотрение этого дела, а также прислать людей, сведущих в рудном и металлургическом производстве. Время от времени пополнение поступало. Но оно редко удовлетворяло самым насущным требованиям. Советник Берг-коллегии Рейзер был послан в Саксонию для набора «мастеров» и за крупную сумму направил в Россию группу «охочих» иноземцев. Но оказалось, что дела они не знали. Как писал об этом Геннин, «саксонские мастера, или, как их назвать, ученики сюда прибыли, и я их определил куда следует. То-то надлежало бы там людей хотя бы словами экзаменовать и потом принять, чтоб время и деньги не пропадали, а которые нужны мастера, Рейзер позабыл привести».

Не побоялся Геннин осудить и выбор Петра: «Ваше величество изволили мне дать от гвардии сержанта Украинцева, чтоб без бытности моей быть ему над всеми заводами директором. И хотя он человек добрый, но не смыслит сего дела, и десятеро в Украинцеву меру не смыслят. Того ради Вашему величеству от радетельного и верного мне сердца, как отцу своему объявляю: к тому делу лучше не сыскать, как капитана Татищева».

Геннин излагает царю и причины, по которым Татищев отказался принять на себя какие-либо обязательства по службе без разрешения спорного дела: поскольку царь имеет на него «гнев и подозрение», он не сможет действовать с необходимой для администратора смелостью, а без смелости ничего путного не выйдет. Не мог Татищев рассчитывать и на достойную оценку труда, «особливо в таком отдалении, где и великого труда видеть не можно». Заводы были государственные, а государство мыслилось все-таки как вотчина государя. Формальное отстранение от должности наносило, естественно, и большой материальный ущерб Татищеву, на что Геннин также обращал внимание.

Занятый разными делами, Петр не всегда даже и отвечал на письма Геннина. Геннина это не могло не беспокоить, поскольку он подозревал в этом форму несогласия царя с представленными доводами. В середине июня 1723 года он обращается за содействием в Берг-коллегию. Татищев, настаивал Геннин, «здесь зело нужен и, кроме его, всех сибирских горных и заводских дел некому здесь в команду отдать; понеже он искусен и скоро может горных и заводских дел признать; такожде и в приказном и в земском деле довольно порядки знает, и при нем приказные и прочие не могут так делать, как в прежних управителях бездельничали. Он же действительно может отправить, для того что губернатор и воеводы против его представлений будут чинить решения без остановки, а препятствовать опасутся...». Татищев не хотел брать на себя обязательств «без указа», и Геннин боялся назначить его на прежнюю должность своей

волей. «Понеже я о Татищеве, чтобы ему быть и оную команду надо всеми в Сибири горными и заводскими делами иметь от самого государя не получил, того ради опасно его определить, чтоб его величество во гнев не привести. И того ради я не смею определить его без указа от самого или из кабинета его величества. Того ради Государственной Берг-коллегии прошу, чтоб об указе от его величества изволила приложить старание... Ибо я прошу не для интересу моего, но для лучшей пользы Берг-коллегии».

Слушание дела в Сенате состоялось в июле в отсутствие Татищева. На суд сенаторов выносились обвинения Демидова, ответы Татищева и заключения Геннина. Положение тяжущихся сторон было неравноправным: Демидов обвинял — Татищев оправдывался. Нарушения законов и злоупотребления заводчиков, вскрывавшиеся по ходу разбирательства, рассмотрению не подлежали. Но сенаторы, видимо, хорошо уловили настроение главного заинтересованного лица — Петра. А потому целиком приняли заключения Геннина и вынесли решение: за пренебрежение обычными судебными инстанциями и за то, что заводчик «дерзнул его величество в неправом своем деле словесным прошением утруждать, вместо наказания взять штраф 30 000 рублей». Правда, Петр вскоре «отошел» и распорядился отложить окончательное решение вопроса. В конечном счете дело ограничилось взысканием с Демидовых шести тысяч рублей за «оболгание» в пользу Татищева. За все годы службы Татищев не получил такой суммы в качестве жалованья. Но Демидовы и от этого наказания стремились уклониться, рассчитывая, видимо, на новый поворот в настроении царя. Уже после смерти Петра Акинфий Демидов, наследовавший уральские заводы отца, справлялся у всесильного тогда Меншикова, обязан ли он уплатить Татищеву, очевидно, недоданные ранее двести рублей.

О решении Петр известил Геннина специальным письмом, написанным на борту корабля «Екатерина» под Ревелем 16 июля 1723 года. Царь извинялся, что не отвечал на письма Геннина, и направлял собственноручный указ: «Онаго Татищева определи к тем делам (которые ранее Петр возлагал на Украинцева). Также и Федору Еварлакову при нем же вели быть у того дела».

Упоминание в одном письме (и указе) и назначения Татищева, и удовлетворения его просьбы относительно Еварлакова свидетельствует о том, что для Петра оба эти дела сливались в одно. Царь поступался в пользу Татищева в данном случае чем-то большим, нежели давним расположением к Демидову. Но он шел на это: слишком часто, и как раз в последние годы его жизни, ему приходилось разочаровываться в полезности для государства беспрекословно преданных ему лично вельможных слуг.

19 июля кабинет-секретарь Макаров собственноручно уведомил Брюса о решении вопроса в пользу Татищева и предложил возобновить выплату ему жалованья. Макаров писал также о намерении Петра отозвать с Урала Геннина и передать все дела Татищеву. Но к этому вопросу император собирался еще вернуться, а вернувшись, решил его иначе.

Отношения Геннина и Татищева к этому времени стали вполне доверительными. Татищев обращался к Геннину и по бытовым вопросам, вроде просьбы прислать взаимнообразно до поездки в Тобольск с полфунта тебу (чаю), и по административно-хозяйственным. В свою очередь, Геннин откровенно издевался над высокомерной тупостью Михаэлиса в письмах к Татищеву, будучи уверенным в единомыслии собеседника. Но над этими отношениями все-таки лежала печать случайной дорожной встречи. Ни тот, ни другой не задумывались всерьез о возможности совместной работы в течение длительного времени. И лишь позднее, когда такая вероятность возникла, оба стали понимать, что вместе им работать трудно: Геннин стоял значительно выше Татищева по чину, но он и сам признавал, что как администратор и разносторонний специалист Татищев не только не уступает ему, но во многом и превосходит.

Яснее обстояло дело с Михаэлисом. На Урале Михаэлис просто мешал, и Геннин

неоднократно писал в Берг-коллегию о его непригодности. Но и этот вопрос никто не решался брать на себя без ведома Петра. Петр же полагал, что дело заключается лишь в личном столкновении Геннина и Михаэлиса, и предполагал «развести» соперников. Удален Михаэлис с Урала был лишь в 1726 году. Он снова вернулся в Берг-коллегию подписывать никому не нужные и малотолковые бумаги.

В конце 1723 года Геннин направил Татищева с целым рядом проектов в Петербург. На сей раз Петр встретил Татищева вполне благожелательно. Он беседовал с ним о разных науках, о создании училищ, об открытии Академии наук. Поинтересовался он и одной деталью розыскного дела. На обвинение о взятках Татищев отвечал словами апостола Павла: «Делающему мзда не по благодати, но по долгу». Ни Геннин, ни сенатский суд не увидели в действиях Татищева ничего противозаконного. Но Петр почувствовал, что у Татищева есть какое-то свое определение, что есть взятка и что есть не взятка, а необходимая плата за труд. Он и попросил Татищева разъяснить смысл этой апостольской притчи и татищевского ее толкования.

О разговоре с Петром вспоминал позднее сам Татищев в «духовной». Это не было оправданием. Скорее, напротив, назиданием. Здесь целая система понимания различия между взяткой и платой за труд, рекомендуемая им и сыну, и каждому административному работнику. «По вступлении в дело, — наставляет Татищев, — наипаче всего храни правосудие во всех делах, не льстяся никакою собственною пользою, помня то, что хотящие богатиться впадают в беды и напасти и что несправедное создание прах есть; и подлинно оным хотя не малое время возвеселишься, но совестью всегда будешь мучиться и оно богатство весьма непрочно; наипаче в делах государственных ущерб казне каким бы то образом не учинил».

Государственный интерес и в делах и в помыслах Татищева неизменно стоит на первом плане. Но Татищев считает, что всякий труд должен оплачиваться. Он отсылает к «письму святому», то есть к Библии: «служи олтарю от олтаря питается». Поэтому предлагается различать лихоимство и мздоимство. «И то мне в памяти, — рассуждает Татищев, — что мзда и мудрых очи ослепляет, да небезизвестно и то, что некоторые безсовестные судьи некогда указы о лихоимстве на все мздоимства наклоняют». Татищев считает, что такие судьи «более сами, нежели мзду взявшие, душу свою губят, ибо лихоимство показывает яко неправо взятое, а мзда делающему по должности». Отсылая опять-таки к «письму святому», Татищев напоминает: «делающему отдаждь мзду без умаления» и «достойн делатель мзды своя». Иными словами, грех таких судей заключается в том, что они препятствуют справедливой оплате за труд.

Как известно, жалованье и позднее выплачивалось обычно не за труд, а за должность или звание. Татищев впервые ставит вопрос о соответствии размеров жалованья продуктивности деятельности работника. Вопрос этот, как известно, остается не вполне разрешенным и до наших дней, особенно когда приходится оценивать те сферы деятельности, где материальные ценности непосредственно не производятся. Татищев предлагает как бы соединение чисто административно-феодалского и экономического начал. Отвечая на вопрос Петра, Татищев отсылает как бы к собственной практике: «В начале судья должен смотреть на состояние дела; если я, и ничего не взяв, а противу закона сделаю — повинен наказанию, а если из мзды, то к законопреступлению присовокупится лихоимство и должен сугубого наказания; когда же право и порядочно сделаю и от правого вознаграждение приму, ничем осужден быть не могу».

Татищев полагал, что «если мзду за труд пресечь и только мздоимство судить, то, конечно, более вреда государству и разорения подданным последует». Здесь, очевидно, имеется в виду принцип материальной заинтересованности. В условиях феодализма, да в его крепостническом варианте, этот принцип мог играть прямо-таки революционную роль, если бы его обратить, например, на отношения между эксплуататорами и эксплуатируемыми. Сам Татищев частично

пытался это сделать. Но в данном случае речь шла об оплате труда судей и вообще административного аппарата. «Я должен, — говорит Татищев, — за получаемое жалование сидеть только до полудня (обычная практика работы административных учреждений), в которое мне, конечно, времени неостанет, а после обеда трудиться моей должности (то есть обязанности) нет. Другое: когда я вижу дело в сумнительстве, то я, никогда внятно его исследовать и о истине прилежать причины не имея (то есть не имея заинтересованности в глубоком его рассмотрении), буду день от дня откладывать, а челобитчик принужден с великим убытком волочиться и всего лишиться. Третье: дела в канцеляриях должны решаться по регистрам порядком (то есть в порядке очереди), и случается то, что несколько дел, весьма нужных впереди, а последнему по регистру такая нужда, что если ему дни два решение продолжится, то может несколько тысяч убытка понести, что купечеству нередко случается. И тако от правого порядка может более вреда быть. А если я вижу, что мой труд не туне будет, то я не только после обеда, и ночью потружуся. Для того карты, собак, обеды или прочие увеселения оставляю и, несмотря на регистр, нужнейшее прежде ненужного решу, чем как себе, так и просителям пользу принесу».

Татищев, следовательно, имел в виду оплату сверхурочных работ, и это он, кстати, неизменно практиковал при оплате труда работных людей и крестьян (в том числе и крепостных). Петр согласился с разумностью доводов Татищева. Однако они вызвали у него и сомнения: как можно все это осуществить на деле? «Сие все правда и для совестных людей невинно, — заметил он, — токмо не без опасности безсовестным позволить, чтоб под тем доброхотным принужденнаго не было». Трезво оценивая свою администрацию, Петр справедливо опасался создать таким образом еще один источник злоупотреблений, когда добровольный договор о рассмотрении дела во внеслужебное время превратится в обычное вымогательство. Татищев также не исключал такой опасности. Но он считал, что «лучше виннаго и безсовестнаго законом помиловать, нежели многих невинных оным отяготить».

Несомненно, что, если бы принципы, изложенные Татищевым, можно было воплотить в жизнь, работа административных органов стала бы во много раз продуктивней. Но ни Петр, никто другой позднее не могли решиться на подобный опыт.

Впрочем, закона, запрещавшего принципы Татищева, тоже не было. Поэтому сам он продолжал им следовать. Он неизменно платил за чужой труд, советовал это делать подчиненным и брал плату с тех, для кого делал услуги во внеприсутственное время. Когда речь идет о финансовых делах, услуги обычно оцениваются не реально затраченным трудом, а размером выигрыша челобитчика. Так издревле поступало государство. Так поступал и Татищев. Но он предостерегает от погони лишь за выгодными делами. В «Духовной» он советует «храниться гордости», то есть не допускать высокомерия в обращении с посетителями. «У некоторых людей, — говорит он о чиновниках, — и лице челобитчикам в честь показывается, не токмо ему беднаго человека выслушать терпеливо и дать ему добрый совет или наставление в помощь». У самого Татищева «никогда, хотя бы на постели лежал, двери не затворялись и ни о ком холопи не докладывали, но всяк сам о себе докладчик был (то есть он принимал посетителей непосредственно). И хотя многократно за безделицами и в неудобный времена прихаживали, но я не оскорблялся, ибо часто то случалось, что многим в краткости (то есть срочно) нужно было помощь подать и великий вред отвратить».

Все эти советы Татищев изложил в 1734 году. Но он имел в виду, очевидно, прежде всего свою уральскую практику. На первом плане у него всегда стояли государственные интересы, воплощавшиеся на Урале прежде всего в увеличении прибытка казне, а также и в более широко понимаемом общем благе. Из средств, отпущенных на казенные дела, на личные нужды он ничего не истратил. Вместе с тем он мог своей властью объявить сбор с населения какого-

нибудь нового обложения для выполнения казенных или общественных начинаний, вроде платы учителям или проектировавшейся им рублевой подати с неподатной части заводского населения. Частные же дела шли иным порядком. Здесь Татищев имел дело с предпринимателями и выступал в таком же качестве. Эта практика и позднее будет поводом для обвинений в злоупотреблениях. Но всякий раз Татищев оказывался неизмеримо честнее его обвинителей.

Последнее поручение императора

Ногами человек должен вращать в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир.

Сантаяна

Дипломат служит не тому или иному режиму, а своей родине.

Силва Паранос

На родине у тебя и прошлое и будущее. В чужом краю — одно лишь настоящее.

Гиришфельд

Татищев ехал в столицы, рассчитывая остаться в Москве или Петербурге и, по крайней мере, не возвращаться на Урал. Он откровенно говорил Геннину, что не станет работать под началом Михаэлиса, которого он не ценил как специалиста и презирал как человека. Весьма нелестно отзывался Татищев и о работниках Берг-коллегии, исключая Брюса и отчасти Любераса. И конечно, оснований у него для этого было вполне достаточно. Известная натянутость сохранялась и в его отношениях с Геннином. Хотя последний и оправдал его в глазах царя, но неприязни к «калмыцкой роже» он все-таки, особенно поначалу, не скрывал. Татищев не мог простить Геннину и высокомерного пренебрежения, и мелочности в ходе розыска. Был и еще один источник разногласий как с Геннином, так и с немецким руководством Берг-коллегии. Выделенное в качестве особого сибирского подразделения коллегии Высшее горное начальство, как было сказано, Геннин и коллегия переименовали в Обер-бергамт. Татищев же этого переименования не принял и во всех письмах и документах пользовался прежним, им самим предложенным названием. Татищев был весьма свободен в вопросах вероисповеданий и ни в коей мере не страдал национальной ограниченностью. Он, как можно было видеть, привлекал знающих людей отовсюду, где только мог их найти, не справляясь ни о национальности, ни о вере, ни о социальной принадлежности. Но все-таки он был убежден, что руководить делом может успешно и надежно только русский человек. Геннин считал естественным, что русскими специалистами руководят иностранцы (даже не слишком подготовленные и не очень болеющие за дело). Татищев был убежден, что по-настоящему болеть за дело может только русский человек, а потому он и должен руководить работой иностранцев.

О настроениях Татищева Геннин сообщил в особом доношении от 28 августа 1723 года Брюсу. Коллегия предложила Геннину потребовать от Татищева письменного объяснения: «Для чего он, кроме генерал-фельдцейхмейстера, кавалера и президента графа Якова Вилимовича, также и без тебя генерал-майора, под ведением Берг-коллегии быть не может, ниже не хочет? И какая явная неправда от оной коллегии ему, капитану, учинена? И на какие его предложения к пользе и службе его имп. вел. касающихся интересов ни в малом, в чем никакой резолюции не учинено? И какое ему в том помешательство чинили? И в чем виноваты были в ссоре его с Демидовым? И для чего он, капитан, в бытность свою в Сибири и в Москве, ежели на доношения его от Берг-коллегии резолюции какой не учинено, о том в Берг-коллегию не доносил?»

Вполне вероятно, что взаимное неудовольствие во многом явилось следствием все тех же интриг Демидовых и, может быть, кого-то еще, в результате чего была нарушена нормальная

деловая переписка. И в это время обе стороны еще не знали о действительных размерах этих нарушений. Но объясняться с начальством из коллегии, да еще в письменном виде, Татищеву, конечно, не хотелось, и он с этим не торопился. Геннин сообщил в коллегию, что «Татищев ныне не имеет времени, за отъездом, ответить». Разумеется, дело заключалось не во времени. Татищев искал возможности как-то иначе разрешить свои разногласия с коллегией.

В Москву Татищев прибыл в конце 1723 года. В связи с предстоящей коронацией Екатерины сюда должен был вскоре прибыть и император со своим двором. Но Петр задерживался, и Татищев проехал в Петербург, где он в январе 1724 года изложил Петру просьбы и предложения, подготовленные им совместно с Геннином. Видимо, тогда же он просил подыскать ему какое-нибудь иное дело. В частности, возобновился разговор о межевании. Дело это за прошедшие три года с места не сдвинулось, и Петр дважды напоминал Татищеву об ускорении расчетов: сколько нужно будет специалистов и сколько будет стоить все мероприятие. Вопрос об уральских обязанностях Татищева пока оставался открытым. Но Татищев был взят ко двору. Император явно с повышенным интересом присматривался к деятелю, который по уровню знаний и организаторских способностей вполне мог бы занять высокое положение в правительстве. Но за Татищевым уже тогда тянулся шлейф сплетен и подозрений, связанных с его слишком вольным образом мыслей и независимым характером. Петр, очевидно, не из простого любопытства заводит с Татищевым разговоры на самые различные темы, связанные с вопросами государственного устройства, политики, религии, наук. Петр проявлял неизменный интерес к мнению Татищева. Мнение это почти всегда было оригинально. Но не всегда оно могло понравиться императору. Известный автор «Деяний Петра Великого» И. И. Голиков уверяет даже, что Петр однажды, когда Татищев публично осмеивал Священное писание, пустил в ход свою знаменитую дубинку, приговаривая: «Не соблазняй верующих честных душ, не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству. Не на тот конец старался я тебя выучить, чтоб ты был врагом общества и церкви».

Голиков, конечно, отразил придворную сплетню. Но суть опасений императора она отражает достаточно верно. Царь и сам не любил церковников и не смущался общением с иноверными. Однако он понимал, конечно, значение истинной веры для социальных низов и вообще для благоустройства страны. Татищев мог его пугать чрезмерной свободой суждений в некоторых вопросах.

Известные разногласия возникали даже при обсуждении вопросов распространения наук. Сам Татищев вспоминал позднее о разговоре в летнем доме императора, связанном с подготовкой к открытию Академии наук. Лейб-медик Блюментрост, исполнявший обязанности президента будущей академии, попросил Татищева приглашать ученых из Швеции (куда в это время готовился он ехать) «в профессоры». Татищев по этому поводу рассмеялся: «Ты хочешь сделать Архимедову машину очень сильную, да подымать нечего и где поставить места нет». Петр вступил в разговор, попросив разъяснить, что имеет в виду Татищев. А Татищев имел в виду то, что начинать надо снизу, а не сверху: «Ищет учителей, а учить некого, ибо без нижних школ, академия она, с великим расходом будет бесполезна». Петр ответил в тон Татищеву аллегорически: «Я имею жать скирды великия, токмо мельницы нет, да и построить водяную и воды довольно в близости нет, а есть воды довольно в отдалении, токмо канал делать мне уже не успеть, для того что долготы жизни наша ненадежна; и для того зачал перво мельницу строить, а канал велел только зачать, которое наследников моих лучше понудит к построенной мельнице воду привести». Петр не без оснований полагал, что «зачало» он уже осуществил созданием «школ математических», а также распоряжением об устройстве школ по епархиям и губерниям. Но это было именно «зачало», так как реально действовали очень немногие училища, и вопрос заключался в том, как целесообразней израсходовать одни и те же средства: на «учителей» или

на эти самые «училища». В итоге опасения Татищева оказались обоснованными: после смерти Петра «люди преславные в науках... съехались и академию основали», школы же не только не расширились, но и прежние пришли в упадок. Академия долгое время, поглощая значительные средства, не давала необходимой отдачи.

Геннин придавал большое значение военному укреплению новых поселений (от нападения башкир и возможных волнений местного русского населения). Такого рода предложения центральные органы обычно поддерживали в первую очередь. 16 февраля 1724 года эти и некоторые другие вопросы рассматривались в Сенате в присутствии императора. Здесь же ставился вопрос о приписке к заводам новых крестьянских слобод. Сенат в целом шел навстречу просьбам Геннина. За два года он получил неизмеримо больше средств, чем мог рассчитывать Татищев получить когда-либо в отдаленном будущем. Но в Петербурге не могли не выражать беспокойства по поводу весьма значительных расходов, сопровождавших каждое очередное мероприятие Геннина.

4 июня Сенат рассматривал особые «докладные пункты», поданные Татищевым. Здесь речь шла об учреждении еженедельной почты из Сибири «без тягости людской» (то есть без возложения этой обязанности на население). Решение было принято. Но, как это часто случалось, никто не собирался воплотить его в жизнь, и никто не выделил на это средств.

Другим вопросом, постоянно занимавшим Татищева, было предложение «об учинении фабрики, где бы ножи складные и столовые, ножницы, бритвы и тому подобные железные мелочи, к тому обучались бы крестьянство и могли бы работать для своей и государственной пользы». Этот вопрос тоже был решен таким образом, что дело не сдвинулось с места.

Предлагая создание фабрики разных металлических мелочей, Татищев преследовал две цели: во-первых, освоить на месте производство необходимой для широкого потребления железной продукции, чтобы сократить объем перевозок металла, уменьшив, так сказать, встречные перевозки; во-вторых, показать крестьянам доступность этого ремесла и в домашних условиях. Татищева ни в коей мере не привлекала государственная монополия на тот или иной вид производства и возможность получения таким образом дополнительной прибыли для казны. Наоборот. Он видел свою задачу в возможно более широком приобщении к ремеслам и торговле, а также более значительному предпринимательству разных слоев населения.

Разочарование в деятельности Берг-коллегии побуждало Татищева еще на Урале уделять большее внимание частной инициативе. Так, например, он распорядился принимать медную руду на заводы от «охочих людей», не покушаясь на самые рудники, поскольку у него все равно не было бы средств их продуктивно эксплуатировать. К тому же большинство таких рудников было весьма незначительных размеров. Широкий размах строительства казенных предприятий, начавшийся с приездом Геннина, ничуть не поколебал этой убежденности: слишком дорого обходился казне каждый пуд произведенного на этих заводах металла, намного дороже, чем на частных предприятиях. И ранее Татищев считал целесообразным оставлять за казной только крупные, достаточно прибыльные действующие и легкоуправляемые (и контролируемые) предприятия. Теперь же он в государственной поддержке частного предпринимательства видит наиболее целесообразный выход вообще.

Вскоре Татищеву представилась возможность изложить на бумаге предложения о наиболее целесообразных способах эксплуатации медных рудников по речке Полевой и в верховьях реки Чусовой. Верховья этой реки издавна считались владениями Строгановых, и Строгановы, естественно, стремились отодвинуть от своих рубежей казенные заводы. Может быть, поэтому они сами или через чье-то посредничество вошли к царю с ходатайством передать эти рудники в компанию «охочим людям». Петр поручил Татищеву составить проект условий, на которых это можно было бы сделать.

Татищев, очевидно, решил воспользоваться поручением для того, чтобы предложить новую форму предпринимательства. В основу его проекта была положена задача привлечения большего числа участников и, следовательно, больших средств. С этой целью он предлагал «позволить горным начальникам участие иметь, яко и посторонним протчим охотникам, как о том в протчих царствах позволено». Иными словами, предполагалось участие в компании и работников самой Берг-коллегии, что должно было бы более заинтересовать их в расширении производства, а также в повышении его доходности. Трудно сказать, имел ли намерение сам Татищев войти в такую компанию (он вряд ли располагал необходимым капиталом). Но Геннин о таком желании заявлял, хотя к идее Татищева он отнесся резко отрицательно.

Расхождения у Геннина с Татищевым возникли, собственно, не из-за идеи, а ее воплощения. Татищев «для лучшего размножения и охоты других» предлагал дать компании большие льготы. По его плану, казна брала на себя расходы по содержанию укреплений, должна была помочь с подысканием мастеров (русских и иностранных), приписать необходимое число крестьян, давать ссуды на определенный срок без процентов, освободить на двадцать лет от уплаты десятины, разрешить переработку меди (не поставляя ее в казну в слитках) в готовую продукцию.

Предложение Татищева Петр нашел вполне разумным, но преждевременным. Пока медь добывалась казной для того, чтобы заменить мелкую серебряную монету медной. И в резолюции Петр указал: «Делать одне деньги, пока так умножатся, что копейки переведутся: тогда сие позволить».

Свой проект Татищев попытался осуществить десять лет спустя в несколько ином виде, что в итоге принесло ему немало неприятностей. Пока же проект был передан в Берг-коллегию, а та запросила Геннина о его мнении.

Геннин решительно не согласился с предложением Татищева. К весне 1724 года из Полевских рудников уже было выплавлено 1500 пудов меди. Руда оказалась богатой и удобной для добычи. Геннин в письме Петру от 4 апреля 1724 года категорически возражает против передачи заводов частным лицам. Он убеждает царя, что «иной умыслом будто радеет и хочет заводы строить, опасаясь, чтоб государь на оной земле заводов не строил и не селился, и потом, когда привиллегию возмет, тогда год за год будто руд ищет, а ничего не учинит; и так оное завалится и забудется и ни его, ни твои заводы не строятся».

Геннин, конечно, имел в виду Строгановых, которые стремились не допустить разработки руд в их владениях. Позднее они все-таки включились и в непосредственную промышленную деятельность и, должно сказать, делали это с большим успехом.

Поскольку коллегия и от себя заставляла Геннина высказать мнение о проекте Татищева, он снова обращался к Петру и в коллегию, возражая против передачи завода в частные руки. В случае же если будет принято решение отдавать заводы частным компаниям, он просил два новых Пыскорских завода передать ему в компании с соликамским бургомистром Турчаниновым и тем же Строгановым с обязательством выплатить за три года медью стоимость завода и уплачивать десятину. На таких условиях, по его мнению, следовало отдавать и иные заведения, в частности Полевские рудники.

Столкновение Татищева и Геннина имело, конечно, не личный характер (хотя натянутость в их отношениях, очевидно, усилилась после упомянутого донесения Геннина в Берг-коллегию). Речь шла о двух существенно разных взглядах на пути развития отечественной промышленности. Представляя казну, Татищев и сам был ярким сторонником укрепления казенных заводов. Но цель у него в конечном счете заключалась не в укреплении дворцового хозяйства, как понимал задачу, например, Геннин, а в подъеме благосостояния страны в целом. Там, где казенные заводы действовали достаточно прибыльно и успешно соперничали с частными, они работали

как раз на эту идею. Но опыт показывал, что в целом они были в значительно более худшем состоянии, чем частные. Поддерживать казенные заводы на должном уровне могли только такие деятели, как Татищев или Геннин, да и то при условии их непосредственного выхода на императора, а не на Берг-коллегию. Но подобных им деятелей было наперечет. При этом и Геннин был на Урале человеком временным, и Татищев ехать туда не собирался. В конечном же счете речь шла о чисто феодальном или буржуазном (насколько это позволяли крепостнические отношения в стране в целом) направлении развития промышленности.

В июне 1724 года сенатским указом Татищев был произведен в советники Берг-коллегии с жалованьем шестьсот рублей в год. Берг-коллегия должна была решить, каким образом распределятся обязанности их с Михаэлисом после отъезда из Сибири Геннина. Но Геннин вошел во вкус и теперь уже не хотел уезжать с Урала. Еще более не хотел возвращаться туда Татищев. «Что г. капитан Татищев пожалован советником и сюда в Сибирь будет, — писал Геннин в коллегию, — то воля государева, как он изволит. И хотя его господь бог довольно разумом благословил, однако, волею божиею, бывает больше болен, нежели здоров, и хотя он и желает трудиться, да болезнь его не допускает, и завсегда по заводам ходить я присматривать, також и на другие заводы ездить ему трудно будет. Токмо из Обер-берг-амта указами и письмами о всяких делах определить и отправлять может, и правление его действительно, понеже в оном зело искусен. Токмо надобны ему здоровые и добрые управители, которые б могли всегда по заводам ходить и на другое ездить и заводские дела управлять».

Геннин, несомненно, сгущал краски. Активности и подвижности Татищева в первый год его работы на Урале можно только удивляться. Не упоминал Геннин о частых болезнях Татищева и в то время, когда оба они находились на Урале. Но, находясь в подследственном состоянии, Татищев, конечно, не слишком старался. Здоровьем он, очевидно, не отличался. Но когда приходилось воплощать в жизнь свои замыслы, он мог преодолевать и недуги.

Берг-коллегия все-таки намеревалась направить Татищева на Урал. Но он был уже приписан ко двору, а потому самостоятельно решить этот вопрос коллегия не могла. Необходима была подпись императора. Петр же по размышлении решил этот вопрос иначе. Он направил Татищева в Швецию с целым рядом поручений.

Прошло немногим более двух лет после заключения Ништадтского мира, и в феврале 1724 года был заключен русско-шведский оборонительный союз. Швеция из враждебной стала дружественной державой. Петр, как известно, высоко ценил военный и технический опыт недавних противников и демонстративно учился у пленных шведов и военному делу, и гражданскому устройству (сама система коллегий была заимствована прежде всего у шведов). Теперь представлялась возможность полнее изучить этот опыт в самой Швеции, использовать для развития русской экономики ее специалистов и, если удастся, подготовить на шведских заводах своих мастеров. Все эти задачи и были возложены на Татищева. Кроме того, Петр поручил ему некоторые «секретные дела», не подлежащие оглашению в Сенате и коллегии. Речь, очевидно, шла о выяснении возможности поддержки притязаний на шведский стол герцога голштинского Карла-Фридриха — жениха царевны Анны Петровны. Сын старшей сестры Карла XII Карл-Фридрих имел не меньше прав на шведский трон, чем его тетка — младшая сестра покойного короля Ульриха Элеонора. Татищеву предстояло связаться с возможными сторонниками герцога в Швеции и привлечь на его сторону колеблющихся.

Легальная часть поручения готовилась при участии самого Татищева. 7 сентября 1724 года он представил в Берг-коллегию предложение о приглашении на уральские заводы шведских мастеров и об отправке в Швецию молодых людей, «знающих геометрию», для обучения горному делу. Эти две задачи почитались главными. Ему предписывалось также ознакомление с состоянием горного дела и экономики вообще, а в особенности с монетным производством.

Берг-коллегия знала только об этой части поручения Татищеву и лишь эту часть его деятельности и субсидировала, причем очень неаккуратно.

Указ о новом назначении Татищева последовал 1 октября. В конце ноября он выехал из Петербурга и 4 декабря прибыл в Стокгольм. Но с самого начала миссия его протекает в крайне неблагоприятных условиях. Татищев успел только представиться вместе с русским посланником Михаилом Петровичем Бестужевым шведским министрам и заболел на целых два месяца. А в январе 1725 года в результате резкого обострения давней болезни скончался Петр Великий. Татищев оказался в затруднительном положении.

Изыскивая способы сокращения государственных расходов, новое правительство отказывалось от многих намечавшихся Петром программ. 16 марта 1725 года Сенат установил чинам, занятым на гражданской службе, выдавать лишь половину жалованья соответствующего (согласно Табели о рангах) чина военнослужащих. Основываясь на этом, Берг-коллегия снизила жалованье Татищеву до трехсот рублей. Но и этого жалованья в 1725 году он не получил. Не получал он средств и для оплаты явной части его поручений, не говоря уже о тайной. В последней ему согласно указанию Петра должен был содействовать Бестужев. Но Бестужев, по-видимому, не был вполне осведомлен об императорском задании Татищеву и не поддерживал его дорогостоящих связей со шведской аристократией. Во всяком случае, оба оказываются недовольны друг другом: первый — излишней, с его точки зрения, расточительностью Татищева, а второй — безразличием дипломата к важному, как ему кажется, государственному делу.

Проще всего Татищев мог выполнить задачу ознакомления с состоянием шведской экономики, к чему и сам он проявлял наибольший интерес. Он осмотрел тринадцать железных, медных и серебряных рудников и сорок пять заводов, расположенных в разных городах Швеции, внимательно выявляя достоинства и недочеты в организации горнорудного дела и общей правительственной экономической политики. Иноземный опыт в некоторых случаях служил как бы подтверждением правильности его собственных экономических представлений. Так, Татищев отмечает, что наибольший доход шведская казна получает от «промыслов и заводов горных». Другие же доходы значительно ниже соответствующих доходов русской казны. Он считает положительным то обстоятельство, что заводы в Швеции принадлежат частным владельцам любых чинов и сословий. В итоге казна, не предпринимая никаких усилий, извлекает выгоду из промышленных предприятий. Со своей стороны, он считает, что шведская казна действует недостаточно активно. По мнению Татищева, казна должна помогать частному предпринимательству, что способствовало бы еще большему процветанию промышленности и, следовательно, дополнительному росту доходов казны.

Металлургическое производство Швеции в 1725 году значительно превосходило российское. Даже и после достаточно успешной деятельности на Урале Татищева и Геннина, а также поощрения частного предпринимательства (прежде всего Демидовых) русская металлургия давала едва более семисот-восьмисот тысяч пудов металла, тогда как Швеция от трех до четырех миллионов пудов. Татищев обратил внимание на то, что шведская руда в целом такого же качества, что и русская, за самым небольшим исключением. Но, оплачивая труд рабочих вдвое выше по сравнению с русскими заводами, шведские предприниматели добиваются равной с русскими себестоимости продукции.

Вопросам справедливости оплаты труда Татищев всегда придавал первостепенное значение, и в повышении оплаты он видел главное условие для повышения заинтересованности в любого рода деятельности. Поэтому он и не мог удовлетвориться формальным равенством себестоимости. Его внимание привлекают два обстоятельства. Во-первых, вододействующие машины, «которые подают великую в работах помощь», во-вторых, наличие училищ, в частности

«особливой экономической школы», в которых готовят «искусных людей» для горного дела и разных ремесел. Он, например, обращает внимание на то, что плотины для приведения в действие механизмов делаются в Швеции не из «земли и камня», а лишь из брусьев и досок, в результате чего себестоимость снижается в десять раз (триста рублей вместо трех тысяч), а работы, на которых в России бывает занято пятьсот человек, выполняются всего пятьюдесятью. Плотины из земли и камня обычно размывались весенним половодьем и требовали постоянных дополнительных затрат на их ремонт, «а сию, — писал Татищев, — в несколько часов тремя человеки починить возможно». Чтобы показать преимущества подобного рода плотин возможно более широкому кругу русских предпринимателей, Татищев предлагал «на удобном месте при заводах таковую построить» и одновременно «чертежом в народе объявить».

Даже преданный идее государственного блага император не смог создать административной машины, работавшей в том же направлении. Бюрократический аппарат привык служить прежде всего царю, не очень задумываясь о том, как эта служба будет соотноситься с государственными интересами. Иностранцы же наемники этих интересов попросту не замечали. Положение усугублялось тем, что Татищев был поднят и определен на новую должность самим императором вопреки намерениям Берг-коллегии. Смерть Петра сразу заставила Татищева почувствовать, как ненадежно положение даже самого ревностного слуги государства, когда оно определяется лишь расположением или нерасположением монарха. К тому же вскоре после смерти императора и Брюс должен был уйти в отставку. В данном случае бюрократия не проявляла никакой заинтересованности во внедрении новшеств, постоянно предлагаемых Татищевым. Татищев заказывал чертежи лучших шведских шахт и механизмов, а Берг-коллегия отказывалась их оплачивать. Царская бюрократия упорно подтверждала свою неспособность или нежелание действительно руководить развитием промышленности в стране, а Татищев настойчиво изыскивал средства и возможности занять денег, чтобы выполнить эти крайне важные для государства работы за свой счет.

Договорился он и о приобретении ряда машин, значительно более совершенных, чем имевшиеся в это время в России. В числе этих машин были прядильная, чулочная, машина для производства железной луженой посуды. Администрация опять не проявила никакой заинтересованности. В крайнем случае Татищев предлагал прислать в Швецию русских механиков во главе со знаменитым Андреем Константиновичем Нартовым, дабы они на месте ознакомились с этими машинами. Однако и это предложение не было принято. Соображение же Татищева о целесообразности перехода к десятичной системе мер и весов и не рассматривалось. Потребовалось почти два столетия и замена самой государственной машины, чтобы можно было осуществить это подсказанное здравым смыслом предложение.

В итоге правительство согласилось лишь на приобретение водоливной машины, то есть насоса, откачивающего воду на кораблях. На сей раз Татищева энергично поддержал Николай Федорович Головин, служивший в русском флоте, а затем сменивший Бестужева на посту русского посланника в Швеции. Петербург затребовал машину для испытания, которое проводилось в ноябре 1725 года в присутствии самой императрицы. После этого машину передали в Адмиралтейство для изучения, «чем она превосходит имеющиеся водоливные машины».

Отчаявшись в надежде получить какое-нибудь содействие со стороны Берг-коллегии, Татищев обращается за помощью к Геннину. Он пишет ему в Пермь, а затем, узнав, что Геннин находится в столице, — и в Петербург. В сложившихся обстоятельствах Татищев видел в Геннине едва ли не единственного человека, которого можно было побудить к действию соображениями государственной пользы. «Я здесь, — писал он, — у славных механиков Полгейма, Дура и Нильсона, такие искусные и весьма государству полезные машины видел, что

дивиться миру надобно. Потому я представил, дабы прислать человека искусного в механике, а особливо токаря Андрея Константинова или из артиллерийских офицеров, ежели прилежного к механике знаете, и с ним искусных кузнецов и столяров, дабы оные могли основательно понять и сами такие сделав здесь, к великой корысти государственной в России употребить». «Ежели бы я имел деньги оныя купить, — добавляет Татищев, — воистину для пользы отечества и славы нашей государыни императрицы... не жалел бы всего отеческого имения положить, ежели бы возможность токмо имел».

Геннин, конечно, понимал, что от Берг-коллегии, да и от самой императрицы, Татищеву трудно ожидать реальной помощи. Он сам незадолго до этого писал Петру, что если царь своей властью не распорядится выдать жалованье штату горных работников, включая и его, Геннина, то от коллегии они жалованья не дождутся и за год. Геннин предупреждал царя, что горным работникам придется добывать средства к пропитанию сомнительными способами, поскольку нищенствовать им неприлично и этого он не может допустить. И теперь Геннин не нашел ничего лучшего, как посоветовать Татищеву больше запоминать, дабы можно было обойтись без машин и чертежей.

Татищев так и делал. Но ему было досадно. Досадно за тупость и упрямство администрации. Договорился он «с здешним славным обер-маркшейдером Гейслером чертеж ямы Фалунской на 25 листах, да чертежи всех машин в плане и профиле перспективически на 10 листах большой александрийской бумаги... за 100 червонцев (около 200 рублей) сделать, которое французский посланник за один чертеж токмо дать не жалел, но мне коллегия запретила». Положение было именно таково. Французский посланник за небольшую часть работы, организованной Татищевым, готов был дать столько, сколько с Татищева брали за все чертежи. Но коллегия это не интересовало.

Не лучше обстояло дело и с вопросом о найме шведских специалистов. Шведское правительство препятствовало выполнению этой задачи Татищевым, поскольку по традиции стремилось противодействовать всему, что могло способствовать усилению мощи Российского государства. Обойти эти препятствия можно было только одним путем: договариваясь с «искусными людьми» в частном порядке, подговаривая их ехать в Россию. Татищев обратился с соответствующим предложением в коллегия, рассчитывая получить от нее средства, необходимые для «дельных подарков» лицам, через посредство которых можно было бы организовать найм мастеров. Коллегия и в данном вопросе заняла непреклонную позицию, и Татищев жаловался опять-таки Геннину: «Как вы известны, таких дел трубкою табака не сделаешь, а особливо здесь, где деньги паче лучшего оратора желание и требование внушить могут».

Раздражало Татищева и полное безразличие коллегии к вопросам, так сказать, «повышения квалификации» самих руководителей горного дела в России. По предварительному обговору с Петром, Татищев предполагал после Швеции посетить Саксонию, чтобы сопоставить организацию горнозаводского дела в этих двух странах и за счет сопоставления четче определить круг мер, необходимых для поднятия русской металлургии и прочего производства на уровень передовых стран Европы. Необходимость поездки в Саксонию возрастала в связи с отказом шведского правительства разрешить набор для российской промышленности шведских специалистов. Но и в этом коллегия отказала Татищеву. И он снова жалуется Геннину: шведские советники постоянно ездят «по всей Европе, некоторые в Азию, Африку и Америку... и непрестанно четыре человека ездят, как скоро один прибудет, то паки иного посылают, а приехавшего определяют к заводам. И тако искусства умножаются, и корысть государственная растет. И ежели так малое и против России убогое государство такое прилежание о науках имеет и денег на то полагать с разсуждением не жалеет, то нам сугубо надобно прилежать». Денег же

на эту поездку Татищев просил всего триста червонных. Ровно столько же коллегия предполагала положить в год квасцовому мастеру, если бы его удалось Татищеву нанять.

Затраты шведов на научные занятия неоднократно заставляли Татищева делать грустные сопоставления. В письме к Ивану Антоновичу Черкасову, сначала сотруднику канцелярии кабинет-секретаря, а затем в 1725 году сменившему кабинет-секретаря Макарова, Татищев напоминает о поручении, данном ему Петром, подготовить представление о «землемерии всего государства». Татищев говорит, в частности, что «королю шведскому сочинение одних лифляндских землемерий и карт неколико сот тысяч стало». Правда, Татищев недоумевает: куда смогли угрохать столько денег?! Он полагает, что в «Российском так великом государстве» достаточно было бы двадцати тысяч рублей. И эти деньги скоро бы вернулись в казну за счет упорядочения земельных отношений. Но казна ни сейчас, ни в будущем не собиралась тратить на это дело и нескольких тысяч, хотя бы это и сулило реальные барыши в самом ближайшем будущем.

В числе записок Татищева было и уведомление об организации экономической школы в Швеции. Смысл этого описания заключался в побуждении правительства организовать подобную школу в России. Но на такого рода реакцию властей Татищев вряд ли и сам надеялся.

После смерти Петра Берг-коллегия стремилась побыстрее свернуть программу деятельности Татищева в Швеции и вернуть его домой. Она легко примирилась с тем, что не удавалось нанять специалистов: Татищев в частном порядке завербовал лишь одного гранильщика Рефа, который позднее работал на Урале с мрамором и драгоценными камнями. От Татищева требовали только устройства русских учеников, после чего предлагали вернуться домой.

Вопрос о распределении русских учеников по разным предприятиям решался сравнительно легко. Сложность здесь заключалась в другом. Хотя Табель о рангах требовала прохождения к высшим ступеням через низшие, существовало сословное разделение чинов и должностей. Так, дети дворян должны были учиться и специальности, соответствующей их сословной принадлежности. Попытка уравнивать выходцев из разных слоев в делах обучения вызывала резкое противодействие со стороны дворян. Считаясь с этим положением, Татищев добивался, с одной стороны, более высокого обеспечения дворянских недорослей, чем разночинских, а с другой — стремился по возможности сократить число дворянских учеников, считая наиболее нужные специальности недворянскими.

Коллегия прислала Татищеву шестнадцать человек, из которых было восемь дворянских детей, а предписывала распределить их в основном к «черным работам». Татищев же полагал, что дворянские дети для обучения таким специальностям не нужны, поскольку им будут мешать «стыд и леность», «а понуждать их никто не будет». И дело здесь заключалось не только в том, что сами русские дворяне не были пригодны ко многим ремесленным делам, а и в особом социальном климате Швеции, где знатность происхождения почиталась куда больше, чем в России. «Стыд» предполагался именно со стороны шведов, которые непременно выразили бы пренебрежение к дворянам, занявшимся недворянским делом.

Коллегия, по-видимому, не понимала особенностей сложившегося положения. Ее чины видели в соображениях Татищева лишь очередное проявление его «строптивного» характера. Они ссылались на то, что сходная ситуация в Англии и Голландии не вызывала никаких осложнений. В этих буржуазных странах их и действительно не было. Другое дело — аристократическая Швеция. Татищев опасался также, что, даже если дворяне и переживут в Швеции все злословия и унижения, они окажутся бесполезными в России, поскольку их нельзя будет заставить обучать полученной специальности «подлых».

Именно особенность положения дворянских учеников в Швеции заставила Татищева идти

на такой шаг, который как будто не одобряла отнюдь не чуждая сословных предрассудков коллегия. Татищев старался подчеркнуть преимущество дворянских детей перед «подлородными» выделением им относительно большей доли средств на содержание. Так, дворянскому сыну на платье выделялось 64 рубля, а разночинцам — 112 рублей на пятерых. Соответственно за квартиру и на питание дворянину полагалось 51 рубль 20 копеек, а пятерым разночинцам выделялось 192 рубля (то есть менее чем по сорок рублей). Расхождение, очевидно, возникало за счет неодинаковых квартир, нанимаемых для дворян и для недворян, и, конечно, дворянина должна была выделять его одежда.

Отпущенные средства были, конечно, немалыми, особенно если вспомнить, что работные люди на заводах получали всего шесть рублей в год. Но их нельзя было счесть и значительными, даже если и не сопоставлять с закупками императрицей Екатериной одних только венгерских вин на семьсот тысяч рублей. Во всяком случае, ученики жаловались и Татищеву, и на Татищева, считая такое обеспечение совершенно недостаточным. Их претензии в полной мере поддержал и Головин. Он писал, в частности, в Берг-коллегию, что «ученики жалуются на онаго Татищева, что как за квартиры, так и платье по определению его им дано очень скудно и о прибавке его, Татищева, непрестанно просят. Но он не токмо прибавить, но сказал мне, что в предбудущей год велено ему еще убавить». «Я вижу, — заверял Головин, — что за такие малые деньги для великой дороговизны здесь содержать их невозможно, ибо лакея здесь за шестьдесят рублей никоим образом со всем убрать в год невозможно, того ради непрестанно и мне о деньгах докучают». Головин высказывает опасение, что «от такого недостатку могут оставить повеленную науку и искать пропитания иным способом, как мне сказывал оной Татищев, что некоторые из тех учеников хотели уйти и записатца в салдаты от такого скуднаго определения».

Дороговизна в Швеции по сравнению с Россией распространялась и на продукты, и на одежду, а в особенности на услуги. Головин, конечно, вполне разделял мнение Татищева о том, что русский дворянин должен был выглядеть в Швеции, по крайней мере, не хуже лакея, убранство которого стоило шестьдесят рублей в год. Коллегия с престижной стороны в данном случае не беспокоилась, ссылаясь на правила, принятые в России, где учащиеся имели одинаковую для всех ученическую форму.

Скудное содержание учеников беспокоило Головина еще и потому, что ему предстояло принять их от Татищева и взять далее на себя ответственность за их поведение. А брать все это на себя Головину, естественно, не хотелось. Незадолго до его назначения посланником один из двух находившихся здесь ранее учеников, Семен Мальцев, куда-то сбежал, а другой, Федор Немчинов, гулял и пьянствовал, не проявляя ни малейшего интереса к наукам. Поэтому Головин предлагал нанять специального смотрителя за триста рублей жалованья, то есть такого жалованья, которое должен был получать (и не получал) Татищев, имевший еще огромное множество более сложных поручений.

Одним из важнейших дел, которым Татищев надеялся принести наибольшую пользу отечеству, были его собственные научные занятия, встречи с разными учеными и приобретения книг по различным вопросам. Буквально с первых дней своего пребывания в Швеции он отыскивает некоторых своих старых знакомых и через их посредство устанавливает тесные отношения со многими видными учеными и общественными деятелями тогдашней Швеции.

Знакомство с учеными кругами Татищев осуществил, по-видимому, с помощью ранее находившегося в плену шведского офицера Филиппа-Иоганна Табберта, получившего по возвращении на родину в 1723 году дворянское звание и фамилию Страленберг (Татищев на немецкий манер называет его Штраленбергом). Татищев встречался с ним в Тобольске в 1720 году и, видимо, уже тогда заинтересовался его замыслом написать труд по этнографии и географии Сибири. О покровительстве со стороны Татищева шведским пленным офицерам,

очевидно, хорошо знали и бывшие военнопленные, и их знакомые в Швеции. Поэтому неудивительно, что шведские ученые оказывают Татищеву всюду активное содействие.

В научных исканиях у Татищева все отчетливее вырисовывается интерес к истории и географии. Этим областям знаний он и посвящает большую часть своих занятий. Известный автор работ по истории и теологии профессор Упсальского университета Бенцель (Бенселиус — в транскрипции Татищева) сообщил Татищеву о находящихся в упсальской библиотеке во «множестве» «российских древних гисторий и прочих полезных книг» и разрешил сделать с них копии. Татищев составил «роспись» этих книг (семнадцать наименований) и отправил в Петербург. При содействии Бенцеля в периодическом собрании документов шведской истории в 1725 году была издана на латыни заметка Татищева (в форме письма к Бенцелю) о находках костей мамонта в Сибири. Это была первая и единственная прижизненная публикация Татищева. Заметка вызвала большой интерес в научном мире. В том же году она была переведена на шведский язык. Затем перепечатана на шведском языке в 1729 году. В 1743 году статью перепечатали также в Англии. В 1730 году только что открывшаяся Академия наук в Петербурге пыталась дать ее в своих «Примечаниях к Ведомостям», где появилось ее изложение. Но полный текст, заново проверенный и подготовленный к изданию на русском и немецком языках самим Татищевым, вышел в свет лишь в самое недавнее время.

По заказу Татищева секретарь коллегии древностей Эрик Юлий Биорнер (1696-1750) делал из шведских рукописей выписки, относящиеся к «гистории российской». Биорнер незадолго до приезда Татищева совершил путешествие по северу Швеции с целью осмотра древних курганов, рунических надписей на камнях и иных древностей. Помимо того, он был лучшим знатоком древних саг. В сагах и надписях на камнях он встречал упоминания о варягах (верингах). Знал он также, что, по русским историческим преданиям, записанным в летописях, варяги были основателями княжеской династии на Руси. Уже несколько позднее, в 1743 году, была издана его работа о варягах. Автор знал, что такого народа в Швеции никогда не было. И он доказывал, что варяги — это «оберегатели границ», служившие у шведских и других скандинавских королей. Родоначальником этой сторожевой службы он считал Тригва, жившего, по расчетам Биорнера, в VI веке. Потомками этих варягов были, полагал он, легендарные Рюрик с братьями.

Коснулся Биорнер и вопроса о происхождении Руси. Он считал, что руссы — это славянский народ, поселившийся в районе Ладожского озера. Татищев, очевидно, уже был знаком с точкой зрения (точнее, с ходом рассуждений) Биорнера, почему позднее также ищет разрешения варяжского и русского вопроса в Приладожье.

Мнение Биорнера интересно и как первая реакция на возникновение норманской теории. В начале XVIII века, по традиции, варягами считали население южного берега Балтики, и спор велся лишь о том, был ли, например, Рюрик славянином-вендом или германцем. Эти две точки зрения соперничали и в исторических рассуждениях ученых людей из германских герцогств на побережье Балтики. Зигфрид Байер, приехавший в Россию с открытием Академии наук, выдвинул теорию, что варяги и руссы — это норманны, то есть принадлежащие к германскому корню племени шведов, датчан и норвежцев. Схема эта, кстати, удерживается и до сих пор почти в том же виде. Биорнер, понимая ее неосновательность и умозрительность, предложил иное объяснение (впрочем, также умозрительное).

Тесные взаимоотношения поддерживал Татищев и со Страленбергом. Он пытался заинтересовать русское правительство трудом Страленберга, поскольку речь шла об описании Сибири. Сам Страленберг готов был посвятить свой труд Петру I и в предисловии «обещал многия его величества вечной памяти достойный дела изобразить».

В XVIII веке посвящение труда тому или иному деятелю обычно означало, что это лицо берет на себя расходы по изданию. Татищев уже 2 января 1725 года сообщал о желании

Страленберга в Петербург, надеясь заинтересовать возможностью издания книги самого Петра. Но Петр вскоре умер, а больше никого в Петербурге эта идея интересовать не могла. В конечном счете книга вышла несколько лет спустя с посвящением шведскому королю Фридриху.

В Стокгольме Татищев общался также с известным ученым Генрихом Бреннером (1669-1732), знатоком восточных языков. Бреннер также с 1700 по 1722 год находился в русском плену, что придало его восточным занятиям большую широту. Татищев получил от Бреннера немало толкований отдельных топонимов и терминов, встречавшихся в различных источниках, что было им позднее использовано в «Истории Российской».

В письмах Черкасову Татищев сообщает и «о госпоже Бреннеровой, которая в стихотворении не только в Швеции, но и в других государствах славу имеет». Татищев ничего не написал о Петре I ни при жизни царя (он считал при жизни вообще неприличным писать о ком-либо), ни позднее. Но, находясь в Швеции, он настойчиво занимался вопросом возможного прославления русского императора. Ему виделся в этом один из путей «к славе и пользе российской». Он готов был помочь Страленбергу сочинить посвящение Петру. Теперь же он пытается натолкнуть на эту мысль кузину Генриха — Софию Бреннер (1669-1730).

Интересно, что длительная Северная война ничуть не усилила этнического антагонизма между русскими и шведами. Скорее даже наоборот. Многие шведы, побывавшие в русском плену, вывезли самые благоприятные впечатления и о стране, которая оказалась на редкость доброжелательной и гостеприимной, и о самом императоре, благоволившем иноземцам более, нежели своим соотечественникам. София Бреннер по своей инициативе написала стихи на коронацию Екатерины I и направила их в Петербург. Теперь она готова была согласиться с предложением Татищева и написать поэму о Петре. Но она хотела, прежде чем приступить к работе, получить одобрение Екатерины. «Она тем отговаривалась, — пишет 9 апреля Татищев Черкасову, — на посланное от нея к коронации ея величества никакой отповеди получить не могла, того ради оное до днесь не печатано». Татищев обещал заплатить за свой счет. Но просил поставить в известность Екатерину: «Мню, что сто червонных довольно б ей было». В данном случае Екатерина выслала сто червонных и золотую медаль о коронации. К собственному прославлению она все-таки не была безразличной.

Уговаривая Софию Бреннер, чтобы «она для бессмертной славы его императорского величества величайте ниже в стихах изобразить потщилась», Татищев составил своего рода проспект, копию которого отправил в Петербург. Речь, конечно, шла об официальном панегирике. Тем не менее кое-что в этом иконописном образе было и от татищевского идеала. Первый тезис Татищева гласит, что Петр побеждал не силой, а «благоразсуждением и храбростию». Второе положение прямо должно было ответить на волновавший некоторых шведов вопрос: в какой мере можно было полагаться на союз с Россией? Тезис Татищева гласил, что Петр «союзников и приятелей, не взирая пременностей оных, для утверждения своего постоянства и славы отечества до конца был защитник и охранитель».

В двух пунктах Татищев говорит о покровительстве Петра наукам и ученым людям. В поэме надо было показать, что Петр «манифактуры и купечество многократно размножил, вольные науки и искусства открыл, суеверие опроверг». В заслугу царю ставится также упорядочение правосудия, искоренение несправедливостей и мздоимства (в смысле лихоимства), чего, полагает он, не было до сих пор ни в монархиях, ни в республиках.

В отношении дворянских недорослей Татищев сомневался, будут ли они учиться и захотят ли передавать свои знания ученикам из «подлого» сословия по возвращении в Россию. Но в числе ценнейших качеств Петра он выделяет как раз его владение многими недворянскими специальностями, в особенности токарным искусством, «в котором подобного себе не имел». Социальных вопросов в данном случае Татищев не затрагивает. Но задача правителя и

правительства нарисована им весьма четко: забота о благосостоянии отечества путем развития промышленности, наук и просвещения.

Будучи в Швеции, Татищев устанавливает (или возобновляет) связи также с рядом немецких и датских ученых, ведет с ними переписку. В Германию ему поехать не удалось. Но Копенгаген он все-таки посетил. И целью этой поездки было прежде всего приобретение книг.

Книги, как и во все другие поездки, составляли главную статью расходов Татищева. Он неустанно пишет по всем возможным российским адресам, сообщая об имеющихся книгах и предлагая купить их для казенных библиотек или в частные собрания. «Ежели б я деньги мои имел, — писал он Черкасову, — то б я все здешния до российской истории касающиеся книги купил, на которое надобно до ста червонных, и ежели бы занять мог, то б не жалел, ибо многое, нам неизвестное в древности находится».

Кунсткамера согласилась взять за свой счет десятка два разных книг, а также ряд картин и коллекций медалей. Некоторые книги оказались весьма дорогими. Так, заказанная Павлом Ягужинским книга «о чинах цесарских» стоила двести рублей. Значительно больше, очевидно, купил Татищев книг для себя. 27 сентября 1725 года он отправил из Христианштадта «ящик с книгами и с коллежскими письмами за печатью штокгольмской таможни». Татищев просит Черкасова сохранить эти книги до его возвращения в Петербург. Видимо, это была не единственная посылка.

По своей инициативе Татищев задумал собрать сведения о всей коммерческой деятельности Швеции. Ему удалось получить «табель» о торговле стокгольмского порта за 1723 год. Он полагал, что такие же сведения надо было бы иметь и по другим торговым центрам Швеции, но явное безразличие Кабинета вызывало у него беспокойство: «То удерживает, — писал он, — что не всяк знает, колико оное потребно нам ведать, и может быть, что вместо благодарения за такие расходы, могу оскорбление понести. Однакож мя за неколико червонных оныя достать, и оныя, ежели не примут, за благо про себя удержу». «За благо» правительство Екатерины добытые Татищевым сведения принимать не хотело.

Пребывание в Швеции явилось большим стимулом к осуществлению давнего намерения написать историю России на широком фоне всемирной истории. Поэтому Татищев собирает исторические сочинения, касающиеся разных европейских стран, а также сочинения древних авторов. Интересуют его также вопросы общей государственной экономической политики и постановки образования. Он высоко оценил действовавшее в Швеции специальное училище «для пользы горных заводов», о чем сообщал в отчете на имя императрицы от 17 октября 1726 года.

На протяжении 1725 года Татищеву из Петербурга неоднократно напоминали о необходимости немедленного возвращения и отправки на Урал. Но вернуться он не мог, так как у него не было денег для погашения долгов и на дорогу. Доверенное лицо императора оказалось за рубежом в положении, унижительном для великой державы. Жалуясь на свое бедственное положение, Татищев писал Головину: «В коллегию же хотя многократно о присылке денег писал, но отказ с гневом вместо денег получил, ис которого вижу, что они моим письмам не верят и поставляют здешнее мое разорительное икаждочасно досадное житье в самохотную и бездельную прихоть». Головин в целом поддерживал и действия и траты Татищева. Он настойчиво разъяснял это в доношениях петербургским чинам, сожалея, что не имеет собственных средств, чтобы покрыть долги Татищева или дать ему ссуду в долг (долги в общей сложности составляли 2600 рублей, израсходованных на разные приобретения для казны). Коллегия вынуждена была уступить этим настояниям. Деньги наконец выслали. 12 апреля 1726 года Татищев покинул Швецию. В конце апреля он был в Ревеле, а в начале мая прибыл в Петербург.

Выгода для одного часто бывает ущербом для другого.

Монтень

Компромисс — хороший зонтик, но плохая крыша.

Боуэлл

Полтора года не был Татищев в России. Но за это время произошли весьма значительные изменения как в расстановке сил при дворе, так и в общих настроениях в господствующих сословиях.

Смерть Петра I привела к неизбежной борьбе при дворе, а борьба помогала выявлять недостатки предшествующего правления. С другой стороны, возникшие проблемы оказались настолько неотложными, что требовалось объединение потенциальных противников для их решения. Уже в 1725 году Меншиков вынужден был признать крайне бедственное положение основных податных сословий. Недоимки в 1724-1725 годах составили одну треть от всей суммы налогов. В этой обстановке 8 февраля 1726 года создается Верховный тайный совет, в который вошли А. Д. Меншиков, Ф. М. Апраксин, П. А. Толстой, Г. И. Головкин, А. И. Остерман, герцог голштинский Карл-Фридрих, а также Д. М. Голицын.

Еще в 1721 году Дмитрий Михайлович Голицын был призван из Киева в Петербург, чтобы возглавить сначала Камер-, а затем (при Петре II) Коммерц-коллегию. Включение его в состав Верховного тайного совета было и признанием его деловых качеств, и выражением стремления ближайшего окружения Екатерины создать действенное и авторитетное правительство. И действительно, на всех крупных экономических мероприятиях правительства в это время так или иначе сказывается влияние Голицына — лучшего в совете знатока финансов и коммерции.

Необходимость серьезного снижения разорительных налогов, конечно, сознавалась всеми членами Верховного тайного совета. Весь 1726 год предлагаются разного рода проекты, в которых изыскиваются пути сокращения государственных расходов или возмещения предполагаемого снижения на одну треть подушного обложения. Но ничего весомого в этом отношении, разумеется, не предлагалось, поскольку значительное сокращение расходов могло быть осуществлено прежде всего за счет резкого сокращения армии. А на это правительству было пойти нелегко хотя бы по престижным соображениям. К тому же простое закрепление результатов Ништадтского мира требовало поддержания вооруженных сил на высоком уровне.

Некоторую экономию могло дать возвращение столицы из Петербурга в Москву, на чем постоянно настаивали Д. М. Голицын и поддерживавшие его собственно «русские» деятели. Эта экономия положительно должна была сказаться на расходах двора и особенно на бюджете дворян, имения которых располагались, как правило, в Подмоскovie. Но расходы двора как раз и труднее всего было регламентировать. Лишь задним числом, после смерти Екатерины, новый состав Верховного тайного совета смог осудить чрезмерное расточительство императрицы, тратившей сотни тысяч на свои прихоти, «в то самое время, когда тысячи ее подданных терпели недостаток в насущном хлебе».

Пока же приходилось выбирать, с кого брать: с крестьян или с купцов и промышленников? Меншиков и его сторонники рассчитывали возместить уменьшение поступлений от крестьян повышением налогов на купечество и предпринимателей. Речь в этом случае шла, конечно, не столько о крестьянах, сколько о дворянах, которые постоянно жаловались на чрезмерные

государственные подати, не позволявшие дворянам увеличить собственное обложение их крепостных. Тем не менее в указах Екатерины от 26 января и 9 февраля 1727 года звучат такие мотивы, которые не всегда можно встретить даже у оппозиционных деятелей: «Известно нам учинилось, что нашей империи крестьяне, на которых содержание войска положено, в великой скудости находятца, и от великих податей и непрестанных экзекуций и других не порядков в крайнее и всеконечное разорение приходят».

Поразившая императрицу скудость крестьян не могла, конечно, устраняться за счет сокращения потребления венгерских вин или данцигских устриц (последних Екатерина закупила на 16 тысяч рублей). Поэтому увеличиваются косвенные налоги, непосредственно бившие по карману купечества и мануфактурно-ремесленного населения. Голицын такой путь считал самым неудачным, так как справедливо полагал, что именно торговля и расширение производства обещали значительное увеличение доходов в будущем. Борьба в Верховном тайном совете приводила к постоянному изменению курса в налогообложении. В 1726-1727 годах несколько были ослаблены подати с крестьян и увеличены косвенные налоги. Затем правительство решает, что положение уже «выправилось», и стремится вернуть «недобранное». Напротив, в отношении предпринимательства делаются известные послабления.

Неудачи с попытками выйти из финансового тупика побуждали противоборствующие стороны согласиться с тем временным решением, которое дает инфляция. Правительство Петра I постоянно практиковало выпуск медных денег взамен серебряных. Сначала это была мелочь — полушки и копейки, а затем пошки и пятаки. В последние годы постоянно вставал вопрос о необходимости изъятия из обращения медных пятаков. Однако неизменный дефицит побуждал продолжать их выпуск. И теперь Меншиков, Остерман, Макаров и генерал-поручик Волков подали в ноябре 1726 года записку о покрытии бюджетных расходов за счет выпуска медных денег. Указом 26 января 1727 года «для облегчения крестьян в податях и других нужд» было предписано выпустить на два миллиона рублей медных пятаков.

Уже в Швеции Татищеву пришлось заниматься некоторыми делами, связанными с российским монетным производством, тем более что Монетная контора входила в ведение Берг-коллегии. Но о непосредственном участии его в этом производстве речи пока не было. Да и вообще никто в Петербурге не ожидал его с распростертыми объятиями.

Возвышение Меншикова, сопровождавшее воцарение Екатерины I, привело к отставке Брюса с поста президента Берг-коллегии. Вернулся в коллегию с Урала Михаэлис, усилив и без того значительный круг недоброжелателей Татищева в его непосредственном ведомстве. В коллегии, в сущности, не оставалось никого, в ком Татищев мог надеяться встретить единомышленника. Бесполезно было предлагать что-либо на обсуждение господ коллежских советников. И советники были озабочены лишь тем, как бы им поскорее вытолкать Татищева подальше от столицы. «Птенцы гнезда Петрова» — Меншиков, Апраксин и кабинет-секретарь — охотно присоединялись к этому желанию коллег Татищева. В таких условиях коллегии нетрудно было принять решение о посылке Татищева на Урал под начало Геннина.

О том, что коллегия руководствуется отнюдь не деловыми соображениями, было ясно всем, и в первую очередь, конечно, Татищеву и Геннину. Но в сложившихся обстоятельствах Татищеву не на кого было опереться. Поэтому он оттягивал окончательное решение необходимостью составить обстоятельный отчет о пребывании в Швеции. Попутно он обращается в Сенат с рядом записок и напоминаний о поручениях, возлагавшихся на него Петром I. Он, в частности, попытался воспользоваться тем, что Петр в 1724 году дважды напоминал ему о скорейшей подготовке межевания. В Швеции он приобретал соответствующие книги и знакомился с современной ему практикой межевания и составления карт. Из Швеции же через посредство Черкасова он пытался заинтересовать этим делом Кабинет Екатерины. Однако его предложение

никто даже не рассматривал. Другой проект Татищева касался постройки канала, о чем он писал еще в 1721 году. Теперь, после возвращения из Швеции, он в представлении Екатерине излагает план сооружения водного пути, соединяющего Белое море с реками Каспийского бассейна, а также сухопутного тракта из европейской части России в Сибирь. Татищев прямо намекал на то, что он мог бы осуществить этот план «без обиды обывателей и надмерных расходов». Однако и это его предложение не получило одобрения. Снова напоминал он и о своем проекте 1724 года, предусматривающем передачу рудников и предприятий в компании. К этому времени идея эта все более стала привлекать и Геннина. Сенат также не считал ее слишком смелой. Но дело пока откладывалось до «лучших» времен.

Чиновники из Берг-коллегии с явным раздражением встретили попытки Татищева выйти на более высокий уровень со своими проектами и предложениями. Уже 3 июня 1726 года, то есть менее чем через месяц после возвращения Татищева, коллегия обязала его «бес продолжения времени» представить отчет и ехать в Екатеринбург в распоряжение Геннина. Татищев должен был прямо изложить свои «резоны» против такого заключения. Он это и сделал в специальном доношении в коллегию, которое обсуждалось 31 октября 1726 года. Рассчитывая на полное содействие высокопоставленных недругов Татищева, коллегия приговорила услатить его в Нерчинск, на серебряные заводы, «для доброго установления и произведения» этих крайне запущенных и убыточных предприятий. Очевидно, речь шла о простой ссылке. Так это вполне основательно расценивал и сам Татищев. Поэтому он обращается с челобитной к Екатерине, в которой, перечисляя предшествующие заслуги перед государством, просит определить его «к иному делу».

Остается неясным, кто непосредственно оказал покровительство Татищеву в этот чрезвычайно трудный для него момент. Сама императрица никаких симпатий к нему не испытывала, да и он никогда не обмолвился о ней добрым словом. Но к концу 1726 года Меншиков уже не был всесильным временщиком. У него были довольно натянутые отношения с зятем Екатерины — герцогом голштинским Карлом-Фридрихом. Герцог заменял императрицу в заседаниях Верховного тайного совета и энергично добивался возвращения захваченного Данией герцогства. Екатерина рада была оказать любимому зятю любую помощь. Но другие члены совета, в особенности как раз Меншиков, ограничивались ничего не обещавшим сочувствием. У Меншикова с Карлом-Фридрихом, как у своеобразных соперников, установились и лично неприязненные отношения.

Из последующих событий не видно, чтобы у Татищева были какие-либо связи с Карлом-Фридрихом. Но герцог не мог не знать, что заморские страдания Татищева происходили в значительной мере по его вине. Весьма вероятно, что только он и был в какой-то мере осведомлен о содержании секретного поручения Петра Татищеву.

Другим деятелем, имевшим основание поддержать Татищева, был Д. М. Голицын. Он полностью соглашался с татищевской идеей «увольнения коммерции», то есть освобождения ее от казенной опеки и регламентации. Близки были их взгляды и на собственно русскую старину. А в противодействии немецкому наступлению Голицын занимал и еще более решительные позиции, чем Татищев. Судя по отсылкам Татищева в «Истории Российской», он хорошо был знаком с московской библиотекой Голицына. Это говорит об их тесном общении именно в конце 20-х годов, когда и тот и другой находились в Москве.

В конце 1726 года, по-видимому, не имел особых оснований «добивать» Татищева и Меншиков. В сущности, для него был более неприятен Брюс, нежели Татищев. А Брюса к этому времени уже устранили. Охлаждение же отношений с императрицей побуждало Меншикова искать контактов со «старорусской» партией, прежде всего с Голицыными, и подготавливать позиции на случай — теперь уже очевидного — прихода на царский трон внука преобразователя

Слишком очевидна была и пристрастность немецких членов Берг-коллегии, стремившихся расправиться с единственным своим сотрудником, способным сделать что-то полезное для развития отечественной промышленности. В условиях коллегиального руководства, а Верховный тайный совет, несомненно, являлся таковым, все-таки гораздо труднее провести откровенно незаконное решение, чем при неограниченном самовластии самодержца. 14 февраля 1727 года Екатерина подписала указ, которым Татищев направлялся на Московский монетный двор.

В 20-е годы рыночная цена меди составляла шесть-восемь рублей за пуд. Пятаки же, которые начали штамповать с 1723 года, делали из расчета сорок рублей из пуда, то есть в пять-шесть раз дороже реальной стоимости меди. Естественно, что эта операция влекла за собой целый ряд отрицательных последствий, причем главное заключалось даже не в инфляции, а в огромном соблазне для фальшивомонетчиков. Но пока правительство не видело иного выхода и обсуждало более способы борьбы с фальшивомонетчиками, чем пути предотвращения самого появления столь прибыльной для ловких проходимцев «специальности».

Для выпуска объявленного в указе от 26 января 1727 года количества монет нужно было пятьдесят тысяч пудов меди (не считая неизбежных отходов). На Урале можно было получить примерно десять тысяч пудов в год. По-прежнему ввозилась медь из-за рубежа, главным образом из Швеции, где годовая добыча составляла шестьдесят-восемьдесят тысяч пудов в год. На один 1727 год купцам сделан был заказ более чем на пятнадцать тысяч пудов привозной меди. Вместе с тем Генин получил задание изыскать возможности увеличения выплавки меди и облегчить работу монетным дворам, отправляя медь в Москву не в слитках, а формами-кружками для пятикопеечников.

Намеченное мероприятие требовало довольно мощной производственной базы. В России было четыре монетных двора: три в Москве и один в Петербурге. На московских дворах и было решено осуществить чеканку медной монеты. Сюда с большими полномочиями еще в январе 1726 года был направлен А. Я. Волков. Картина, которую он увидел, оказалась вполне в духе того, что было и на других казенных предприятиях, за исключением, может быть, тех, которые находились под неусыпным контролем доверенных от «вышнего» правительства лиц (вроде Геннина). Волкову было «жалостно смотреть», поскольку монетные дворы выглядели «как после неприятельского или пожарного разорения». Указом предписывалось оказывать Волкову содействие со стороны сенатора Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина, возглавлявшего Московскую сенатскую контору. К этому делу был подключен также сын сенатора, будущий президент Коммерц-коллегии и соратник Артемия Петровича Волынского Платон Иванович Мусин-Пушкин.

С назначением Татищева первоначально, по-видимому, предполагалось все это дело и передать в его руки. Но работа здесь уже велась. В нее уже включились лица, стоявшие неизмеримо выше по служебной лестнице, и решено было оставить их при этом деле. Указом от 7 марта 1727 года была создана Монетная контора, во главе которой затем был поставлен сам московский губернатор Алексей Львович Плещеев. В состав конторы вошли отец и сын Мусины-Пушкины, а также Татищев. Контора выводилась из подчинения Берг-коллегии и приобретала функции самостоятельной коллегии.

С самого начала у Татищева складывались хорошие деловые отношения с Плещеевым, который ценил и знания Татищева, и его предприимчивость. Труднее были отношения с Мусиными-Пушкиными. Со старшим из графов Татищев сталкивался еще в 1717 году. Во всяком случае, к тому времени относился эпизод, в котором он позднее противопоставлял коварной лживости графа, унижавшего перед Петром царя Алексея Михайловича, мужественную правдивость Я. Г. Долгорукого. Не исключено, что какой-то отпечаток оставило и участие

Мусина-Пушкина в суде над Татищевым в 1723 году. Так или иначе между Татищевым и обоими Мусиными-Пушкиными постоянно возникали споры и пререкания.

О состоянии монетного дела в России Татищеву пришлось размышлять еще в Швеции. Теперь он, следуя укоренившейся привычке начинать со всестороннего изучения вопроса, выполняя любые поручения, составляет несколько записок. В свое время в письмах из Швеции он уже обращал внимание на один недостаток чеканки русских монет: разный вес монет одного и того же достоинства. Недостаток этот был связан как с несовершенством штамповальной техники, так и с большим разнобоем показаний весов. Последнее было характерно не только для России, но и для европейских стран.

Татищев предлагает начать с упорядочения весов. Он вновь советует перейти на десятиричную систему. За основу веса берется куб чистой воды, соответствующий фунту веса. Фунт затем делится на сто золотников, а золотник далее на десять и сто частей. Записка Татищева с рекомендацией введения десятиричной системы была представлена в Верховный тайный совет и должна была обсуждаться специальной комиссией. Дело это, однако, отодвинулось, как отмечалось, почти на два столетия.

Вопрос упорядочения весов, дабы «во всем государстве сделать равные», все-таки удалось поставить на практическую почву. Как и в проекте земельного размежевания, Татищев подчеркивал целесообразность такой операции для уменьшения ущерба казне и предотвращения «обид и разорения» частных лиц. Берг-коллегии совместно с Академией наук предлагалось сделать образцы точных гирь — от пудовой до мельчайших подразделений — и разослать по всей стране по таможенным и полицейским управлениям. Проверка точности обеспечивалась взаимопроверяемостью гирь разных размеров. Именно этот принцип в конце XVIII века был испытан и применен во Франции.

В монетной конторе вес гирь был отрегулирован под непосредственным наблюдением Татищева. Учитывая, что гири от времени стираются, он создал специальные образцы, которые употреблялись только для проверки других гирь. Комплекты гирь весом от 1/16 золотника до 20 пудов хранились в особых ящиках. С аналогичными целями использовались в качестве эталонов комплекты гирь в Коммерц- и Камер-коллегиях в Серебряном ряду и в канцелярии Главной артиллерии, куда они были направлены по инициативе Татищева. Десять лет спустя Нартов проверял точность разных наборов гирь. Самыми точными оказались гири Монетной конторы.

Легко подделывать деньги оказывалось возможным главным образом из-за плохого их чекана. Фальшивомонетчики едва ли не удвоили находящееся в обращении количество полушек. Производство же пятаков становилось и вообще непреодолимым соблазном как для отечественных, так и для зарубежных подпольных монетных компаний. Поэтому нужен был такой чекан, который был бы недостижимым для фальшивомонетчиков. Татищев и добивается создания новых штампов из более качественной стали, для чего делаются соответствующие заказы и на Урале и в Швеции. По просьбе Татищева из Петербурга в помощь ему прибыл Андрей Константинович Нартов с группой слесарей. В итоге были изготовлены инструменты гораздо более высокого качества, чем все имевшиеся ранее на русских предприятиях.

Для штампования денег Татищев предложил сделать машины, приводимые в движение водой («вместо людей и лошадей действовать водою»). По наметкам Татищева, это должно было ускорить выпуск монет и значительно уменьшить расходы. Идея Татищева получила одобрение, и самому же ему поручили ее осуществить. Превосходство Татищева над другими членами Монетной конторы вполне признавали и они сами. Технические усовершенствования, предлагавшиеся Татищевым, его коллеги очень часто не в состоянии были сразу и оценить. Но обычно оказывалось, что зря он ничего не предлагает. Поэтому Волков, уже покидая Москву, советовал членам конторы не противодействовать «предложениям и всяким ученым

изобретениям» Татищева, поскольку он «в том деле немалое искусство имеет».

По проекту Татищева на Яузе была построена плотина, энергия которой приводила в действие весь цикл машин одновременно. В итоге производительность монетных дворов резко возросла. Значительно убыстрился процесс изготовления монет и снизилась себестоимость их выпуска. «Водяные машины» Татищева дали казне свыше двадцати тысяч рублей чистой прибыли, не говоря о том, что они позволили уже к осени 1727 года выполнить правительственный заказ.

В итоге Татищев мог быть вполне удовлетворен отношением к его техническим проектам со стороны коллег и правительства, а те, в свою очередь, результатами технических усовершенствований. Но он никак не мог согласиться с самой направленностью экономической политики, проводившейся правительством, признать целесообразным то, чем занимались монетные дворы. Наряду с выпуском облегченных медных денег продолжала осуществляться порча серебряных монет путем снижения их пробы до 70 (против 83 в Голландии, 90 во Франции, 93 в Англии). Татищев полагал, что такая политика расстраивает русскую экономику и подрывает позиции русского купечества на внешних рынках. Порча серебряных и выпуск «легких» медных монет уже привели к тому, что деньги обесценились вдвое: если ранее за ефимок (талер) давали пятьдесят копеек, то теперь более рубля. Угрожающе нарастало количество находящихся в обращении фальшивых монет. Татищев неустанно твердит о пагубности продолжения политики инфляции. Но, как говорится, легко на тигра сесть, трудно с тигра слезть. Чтобы приостановить политику инфляции, требуются весьма серьезные экономические меры.

Екатерина I, конечно, большим государственным умом не обладала. Но на стороне самодержца всегда оказывается сила традиции и авторитет власти. Поэтому когда Екатерина, не выдержав чрезмерности земных благ, в мае 1727 года скончалась, равновесие в правящей группировке сразу нарушилось. Прекратил существование «Кабинет е. и. в.», и вся полнота власти сосредоточилась в Верховном тайном совете. Сторонники русской группировки возвели на престол Петра II — сына царевича Алексея. Это само по себе означало реабилитацию всех ранее обвинявшихся по делу царевича. Вдобавок в рядах «новой знати» произошел раскол. Меншиков предал попутчиков ради обручения своей шестнадцатилетней дочери с двенадцатилетним наследником престола. Эту измену ему не простили вчерашние союзники. Некоторых из них устранил сам Меншиков. По его инициативе, в частности, был сослан в Сибирь член Верховного тайного совета и президент Коммерц-коллегии Петр Андреевич Толстой. Зато другие приложили немало усилий, чтобы, в свою очередь, устранить некогда всесильного временщика. Мальчик Петр II рано проявлял интерес к женскому полу. Но подобранная Меншиковым невеста его явно не заинтересовала. Оборвалась последняя ниточка надежды, и Меншиков, ко всеобщему удовольствию членов Верховного тайного совета, указом нового императора был отправлен в ссылку в Березов.

В итоге в правительственных кругах решительно возросло влияние Д. М. Голицына, а также князей Долгоруких. Среди последних заметно выделялся крупный дипломат и политический деятель Василий Лукич Долгорукий. Новое правительство резко осудило финансовую вакханалию правления Екатерины, впервые в русской истории возложив вину и непосредственно на императрицу. Именно в этих условиях Татищев предложил свой план прекращения инфляции.

Однако, пока в Верховном тайном совете шли разговоры об упорядочении расходов, возникла и стала развиваться другая угроза, мало чем отличавшаяся от предыдущей. Петр II попал под влияние молодого Ивана Алексеевича Долгорукого — кутилы и авантюриста, и наряду с официальным правительством снова появляется неофициальное придворное, где

решаются важные вопросы и подрываются уже принятые постановления правительства. За спиной Ивана Долгорукого поднимаются и некоторые родичи, стремясь занять место Меншикова или просто покормиться за счет казны. Следует, правда, оговориться, что не все Долгорукие поддерживали такой поворот событий. Но интерес к деятельности Верховного тайного совета у них все-таки упал.

Согласно присяге, данной в январе 1727 года, члены Монетной конторы не имели права разглашать секреты монетного производства. Поэтому не обо всех своих соображениях они говорили вслух за пределами конторы. Соответственно и записки могли быть адресованы только тем лицам, которые также имели доступ к соответствующим тайнам. В Монетной конторе постоянно шли обсуждения разных вопросов, связанных как с деятельностью денежных дворов, так и с общей финансовой политикой правительства. В тех случаях, когда члены конторы приходили к согласованному мнению, они обычно делали представление в Верховный тайный совет или же в Кабинет. Так, «с общего совета» было предложено изъять из обращения ранее выпущенную мелкую медную монету, а также завершить начатый еще при Петре вымен серебряных копеек, с тем чтобы перелить их в более крупную серебряную монету. Помимо простого дохода казны таким образом предполагалось устранить из употребления имевшие широкое хождение фальшивые монеты. Это предложение в целом было поддержано правительством.

Другое предложение членов конторы сводилось к увеличению оборотного капитала предприятия до одного миллиона рублей. К концу царствования Петра такая сумма и реально отложилась на монетных дворах. Но указом Сената от апреля 1726 года она была снижена до 550 тысяч. Между тем увеличение заданий требовало соответственного увеличения и оборотного капитала, необходимого для закупки металла, а также выкупа у населения изымаемой из обращения монеты. Члены конторы решили «явочным» порядком не отпускать с монетных дворов денег без именных указов, пока не накопится миллион. Берг-коллегия и ряд членов Верховного совета с пониманием отнеслись к этой мере, что и сделало возможным проведение ее в жизнь.

Чисто фискальные цели чеканки медной монеты проявились уже в том, что мелкую монету выпускали из расчета сорок рублей на пуд меди. Татищев предлагал делать ее из пуда на двадцать рублей, как это было до 1718 года. Он обосновывал это тем, что большая прибыль становится непреодолимым соблазном для фальшивомонетчиков, каким бы суровым наказанием их ни подвергали. При уменьшении норм прибыли соблазн резко сокращается. Татищева в этом поддерживал Плещеев. Но Мусины-Пушкины были против. Судя по их собственным предложениям, они исходили лишь из того, что сорок больше, чем двадцать.

Устранение Меншикова Татищев воспринял как сигнал к изменению экономического курса. Он пишет ряд писем, в частности обер-секретарю Сената Анисиму Маслову, в которых намекает на предложения, сделанные ранее в Монетной конторе, и готов дать развернутое объяснение, если будет освобожден от присяги, обязывавшей его молчать. Судя по письмам, Татищев сотрудничал с Масловым еще в последние годы жизни Петра, когда обсуждался вопрос об упорядочении финансовой системы страны. Теперь Маслов приобрел большой вес в качестве лица, связывавшего деятельность Верховного совета с Сенатом. Но Монетная контора позволяла быстро восполнить недостаток средств, что побуждало правительство еще раз воспользоваться ее услугами. Поэтому вместо прекращения выпуска облегченных медных денег последовал указ о чеканке пятаков еще на полмиллиона рублей.

Разумеется, не только Татищев понимал, что проводимая политика инфляции пагубна для экономики страны, что перечеканка монеты — это совсем не тот путь, которым можно решать экономические вопросы. Это, безусловно, хорошо понимал Голицын, это понимал новый

президент Берг-коллегии Зыбин. Все они действительный выход из положения видели в поощрении предпринимательства и торговли. Но Татищев, пожалуй, настойчивее и последовательнее других был в проведении этого курса, а также в его «научном» обосновании. Именно, исходя из научного понимания задач развития экономики, он и предлагал всеобъемлющую финансовую реформу.

Вопрос упорядочения денежного обращения в стране был, конечно, отнюдь не прост. И дело не только в отсутствии необходимых средств в казне. Необходимо было заменить почти всю действовавшую монетную систему: около тридцати миллионов серебряных и более четырех миллионов медных денег. К тому же в обращение постоянно вводилось все большее количество фальшивых денег, особенно ввозимых из-за рубежа пятикопеечников. Просто выпуск новых монет более высокой пробы серебра или более тяжелых медных повел бы к тому, что предусматривали и члены Монетной конторы: «Если прибавить доброты в серебряных деньгах, то таковых по отдании с денежного двора никогда более не увидим». Особенно Татищева и других членов конторы беспокоило то, что полновесные монеты быстро уплывут за рубеж.

От обесценения денег страдала прежде всего международная торговля России. Цены на иностранные товары резко поднялись. Русские деньги шли по заниженному курсу на иностранных рынках, а в Россию возвращались с их нарицательной стоимостью. Ввоз же фальшивой монеты приводил к тому, что на медь стоимостью в один рубль иностранные купцы приобретали русских товаров на пять-шесть рублей, получая таким образом «великую прибыль» и причиня «Российскому государству напрасный великий убыток», как отмечала уже в 1730 году вновь учрежденная комиссия о монетном деле. Кроме того, в России по сравнению с европейскими странами сложилось неблагоприятное соотношение цен серебра и золота (13 к 1 вместо 14-15 к 1 в Европе), что способствовало отливу из страны золота.

Упорядочение денежного обращения требовало значительного количества серебра. Но собственной добычи его практически не было: Нерчинские рудники давали всего несколько пудов в год. На закупку же его за рубежом в сколько-нибудь значительных размерах было недостаточно средств. Главным источником поступления серебра всегда служила внешняя торговля, причем не казенная монопольная торговля — довольно маловыгодная, — а частная, с которой и поступали торговые и таможенные пошлины. В итоге получался заколдованный круг: торговля страдала от расстройств денежной системы, а денежную систему трудно было поправить без существенного расширения торговли. Татищев считал целесообразным идти на любые издержки ради расширения торговли. Примерно так же смотрел на этот вопрос и Голицын, немало сделавший практически для поощрения русского купечества. Плоды этой политики отчасти сказались в 1730 году, когда общий объем пошлин составил свыше 1000 пудов серебра (в талерах), что могло дать при перчеканке более полумиллиона рублей. Но такая политика встречала противодействие со стороны дворян и была далеко не безболезненна для различных категорий податного населения, служивших постаментом для будущего процветания страны. Поэтому и проводилась она крайне непоследовательно, и результаты были не всегда очевидными.

К 1730 году обстановка прояснилась в том смысле, что уже нельзя было и далее проводить политику инфляции. Вместе с тем даже робкие меры по оживлению торговли и предпринимательства давали основание полагать, что неизбежные издержки казны и населения довольно скоро окупятся. Специальная комиссия о монетном деле, созданная указом Сената летом 1730 года (уже при Анне Ивановне), должна была подготовить вопрос о выкупе «легких» денег и замене их новыми. Помимо членов Монетной конторы, в комиссию вошли руководители ряда ведомств, а также представители от дворянства и купечества. Комиссии предстояло решить проблему «без дальнейшего казенного убытка и народной тягости». Но реально речь должна

была идти о распределении «убытка» между казной и населением.

Татищев, фактически возглавлявший комиссию, представил на обсуждение записку о том, как «манету российскую удобрить, а нискую истребить». Здесь он в основном повторил ранее высказывавшиеся соображения о необходимости поднятия кредитоспособности русской денежной системы на внешних рынках и предотвращении возможных убытков из-за утечки из страны драгоценных металлов.

На сей раз существенных разногласий между членами комиссии не было. Все признавали, что номинальную стоимость медных денег следует решительно приблизить к действительной стоимости меди. Татищев и поддержавший его Плещеев предлагали выпускать по десять рублей из пуда, а Мусины-Пушкины даже по восемь рублей (вместо прежних сорока).

На первый взгляд Мусины-Пушкины далее шли в искоренении недостатков прошлого времени, нежели Татищев. Но суть заключалась в другом. Мусины-Пушкины, защищая интересы казны, настаивали на своеобразной медной монополии. Предполагалось обязать производителей меди продавать медь в казну по себестоимости, примерно по четыре рубля за пуд. Татищев же был озабочен не только интересами казны, но в не меньшей степени и ростом оборотного капитала промышленников, без чего немыслимо было расширение любого производства. Он категорически возражал против навязывания промышленникам явно заниженных цен. Прибавку же казне он надеялся получить за счет некоторого увеличения номинала по сравнению с рыночной ценой. Он ссылаясь на пример Швеции, где номинал десять рублей за пуд сохранялся при меньшей, чем в России, рыночной цене на медь. Превышение же номинала над рыночной ценой будет в итоге не настолько значительным, чтобы могло заинтересовать фальшивомонетчиков: ради столь малой прибыли мало кто стал бы рисковать.

С точки зрения экономической Татищев считал важным сблизить русскую денежную систему с европейскими, создав, в частности, таблицы точных пересчетов, дабы русские купцы не оказались в убытке из-за простого неведения. Снова напоминает он и о целесообразности перехода на десятичный счет. Ему представлялось, что в этом отношении Россия уже имеет некоторое преимущество по сравнению с европейскими странами, поскольку в России такой счет частично уже применялся, тогда как в Европе его нигде не было. Татищев надеялся, что, подав такой пример, Россия хотя бы в этом отношении станет в центре всеевропейского хозяйства.

Включил в свою записку Татищев и предложение об улучшении изготовления медалей. Он видел недостатки в том, что медали отливались без системы, от случая к случаю, без единого плана. Размеры их были различны и негармоничны. Многие важные события медалями не отмечались, другие медали имели невыразительные изображения. В производстве медалей Татищев видел средство прославления выдающихся событий и деятелей, распространения славы о них по всему миру. Как историк, Татищев сам собирал древние медали и надеялся, что новые медали послужат источником будущим историкам, которым доведется воссоздавать отобразенное в них время.

Предложения комиссии не были осуществлены. У правительства не хватало для этого средств, а социальные верхи не хотели возлагать на себя сколько-нибудь значительную долю издержек. Но принцип вымена медных монет был утвержден, и постепенно он стал проводиться по разным категориям монет. Так, сразу были выменены полушки и другие монеты до копейки. Что касается пятикопеечников, то здесь пошли иным путем. Периодически изменялся их курс по отношению к другим видам монет, пока они не приравнялись к двум копейкам. Несколько позднее, в 1731 году, был начат вымен и серебряных монет низкой пробы, которые переплавлялись в 77-ю пробу. Татищев настаивал на более значительном повышении пробы или же увеличении веса новых монет. Сходные предложения выдвигала также комиссия о

коммерции, куда стекались разные «мнения» о путях поощрения торговли. Но большинство членов комиссии о монетном деле ограничилось увеличением пробы до 77, и правительство остановилось на этом предложении.

Из Швеции Татищев вернулся с большим запасом новых идей в самых различных областях знания. Служба в Москве, как никогда ранее, способствовала их разработке и проверке в жизни. Правда, единомышленников у Татищева было не слишком много, но в собеседниках недостатка не было. Как дальний родственник, он сохраняет связи с Салтыковыми, один из которых — Семен Андреевич — сменил Плещеева на посту московского губернатора. Постоянно бывал он в доме Алексея Михайловича Черкасского, где собиралось самое разнообразное общество. Дочери князя, в частности, Татищев подарил найденные в Сибири «слоны серебряные два, на которых теремки». Бывает он также в доме камердинера графа Петра Григорьевича Чернышева, с супругой которого поддерживает приятельские отношения.

В 20-е годы Татищев получил возможность познакомиться с уникальной библиотекой Дмитрия Михайловича Голицына. У Голицына Татищев переписал рукопись летописи, которая наряду с полученной на Урале Раскольничьей летописью легла в основу его «Истории». Позднее Татищев отмечал, что «у сего весьма любопытного министра многое число таких древних книг собрано было, из которых при описи (в связи с арестом в 1737 году) разтащено, да и после я по описи многих не нашел, но ведал, что лучшие бывший герцог Курляндской и другие растащили». Очевидно, Татищев, завершая в конце 30-х годов «Историю», попытался кое-что уточнить по известным ему рукописям Голицына. Но они уже оказались для него недоступными.

В числе собеседников Татищева в это время были профессора из Академии наук, радители наук и просвещения Антиох Кантемир и Феофан Прокопович (известный на Западе как Самуил Церейский). На совет к двум последним Татищев чаще всего выносил свои записки общественно-политического плана, а также разделы «Истории». И именно по настоянию Феофана Прокоповича он внес в нее целый ряд изменений, убирая сюжеты, «стропотные для простого народа».

Татищева позднейшие биографы постоянно упрекали в «трудном» характере, нетерпимости к коллегам. Выше приходилось касаться существа этой нетерпимости. И при организации Монетной конторы Волков заметил в письме кабинет-секретарю Макарову: «Сами ведаете о Татищеве, что ему под командою быть не захочетца». Но дело было не столько в характере, сколько в принципах. Традиция ставила на первое место чин и происхождение, а Татищев — знание дела. Многие внешние личные столкновения на самом деле носили глубоко общественный характер. Татищев всегда был нетерпим к религиозному мракобесию, и эта нетерпимость усилилась в связи с бракоразводным процессом 1728 года. Между тем восстановление некоторых традиций допетровской Руси, поощрявшееся верховниками, сопровождалось наступлением религиозных фанатиков. В 1726 году Маркелл Родышевский подал в Преображенскую канцелярию (тайный сыск) донос на Прокоповича, обвиняя его в ереси. Екатерина I поддержала Прокоповича. Но после ее смерти дело возобновилось. Родышевский распускал слухи и о религиозной неблагонадежности Татищева. Татищеву приходилось отступать от некоторых из своих принципов или же так или иначе скрывать их. Он, как правило, шел навстречу предложениям и пожеланиям Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира, хотя, как можно будет увидеть далее, по ряду вопросов расходился с ними довольно значительно. Все это необходимо учитывать, наблюдая известные противоречия в его записках: прежде чем отправить их «верхам», Татищев обычно обсуждал их в более или менее обширном кругу собеседников и вносил те или иные изменения хотя бы из вежливости: иначе зачем обсуждать?

А писал в московский период Татищев много. Помимо неустанных поисков материалов и

непосредственной работы над «Историей», а также рассуждений по финансово-экономическим вопросам, он начал свой главный философский труд — «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ». Готовит он и новую редакцию сочинения о мамонте, рассчитывая опубликовать его в издании Академии наук. Опубликовать этот труд Татищеву, как уже говорилось, не удалось (он вышел в свет лишь в самое недавнее время). Не было напечатано и его разыскание о русских монетах 1664 года, предложенное академии в 1732 году (это сочинение не найдено до сих пор). Татищев, очевидно, догадывался, кто и почему молчаливо тормозит выход в свет его работ: в академии, как и в коллегиях, подвизались немцы. Но выбора у него не было. Он и впоследствии будет неизменно работать для академии, практически ничего не получая взамен.

Между тем в Москве неожиданно вспыхнули события, резко повысившие интерес к истории и ко всем общественно-политическим вопросам. Всех эти события застали врасплох. Никто не сумел сохранить ясности и последовательности в поведении. Налет растерянности лег даже на действия самых сильных и мудрых. Не избежал этого и Татищев, оказавшийся в гуще событий.

*В конечном счете порядок, и только порядок, создает свободу.
Беспорядок создает рабство.*

Ш. Пегу

*Где нет общности интересов, там не может быть единства
целей, не говоря уже о единстве действий.*

Ф. Энгельс

Правление Петра II не сулило ничего хорошего Российскому государству. Это сознавали все трезвомыслящие деятели даже из лагеря сторонников юного царя. Не случайно после смерти Петра II даже Долгорукие отказались поддержать аферу бывшего царского любимца Ивана Алексеевича Долгорукого с подложным завещанием в пользу своей сестры — невесты царя — Екатерины Алексеевны. Неизбежный спутник абсолютизма — фаворитизм — все ярче проявлялся в последние два года пребывания на престоле склонного к развлечениям юного монарха, пробуждая желание поставить монаршим капризам какие-то пределы. В конечном счете от фаворитизма могли пострадать все, хотя очень многим и хотелось попасть в число фаворитов. Поэтому, когда Петр II накануне своей свадьбы скончался, вопрос о дальнейшем правлении стал стихийно обсуждаться в разных слоях высшего общества.

Петр II умер в ночь на 19 января 1730 года. В Москве в это время находились не только высшие правительственные органы, переехавшие сюда несколько лет назад, но и большое число провинциальных дворян, собравшихся на свадьбу императора. Немедленно поползли слухи, что прежнего самодержавия не будет. Воспринимали эти слухи различно. Многие боялись того, что вместо одного плохого появится другое — худшее. В кругах мелкого дворянства велись разговоры, подобные записанным саксонским посланником У. Л. Лефортом: «Знатные предполагают ограничить деспотизм и самодержавие... кто же нам поручится, что со временем вместо одного государя не явится столько тиранов, сколько членов в совете, и что они своими притеснениями не увеличат нашего рабства». Были и иные мнения. Бригадир Козлов, приехавший в самый разгар событий из Москвы в Казань, рассказывал о предполагавшемся ограничении самодержавия с восторгом: императрица не сможет взять из казны ни табакерки, не сможет раздавать денег и волостей, приближать ко двору фаворитов. В России, по впечатлениям Козлова, появилась возможность «прямого правления государства», прямого течения дел, какого не было никогда в русской истории.

В 1730 году в России сложилась весьма благоприятная обстановка для плодотворных преобразований в государственной системе. Более на протяжении едва ли не всей дореволюционной истории подобных ситуаций не было. Вопреки опасениям определенных групп дворянства верховники (то есть члены Верховного тайного совета) не могли стать тиранами хотя бы потому, что в совете были представлены очень разные по настроениям и политическим взглядам лица. Иначе и быть не могло. Древние спартанцы и киевляне XII века устанавливали своеобразное двоевластие, избирая первые двух царей, а вторые двух князей с единственной целью — раздробления и обезвреживания неизбежных корыстных устремлений власти. Но между верховниками и шляхетством, как на польский манер называли в это время дворянство, существовали действительные трения и разногласия, выразившиеся в недоверии значительных слоев дворянства Верховному тайному совету. В литературе это недоверие часто

объясняется знатностью ведущих верховников. Вскоре после кончины Петра II в состав Верховного тайного совета были введены два наиболее популярных полководца русской армии: Михаил Михайлович Голицын и Владимир Васильевич Долгорукий. В результате из семи членов совета пять оказались представителями двух знатных фамилий. Дело, однако, обстояло значительно сложнее.

Трения между массой дворянства и верховниками проистекали не из-за знатности одних и незнатности других. В числе противников верховников также были представители знати — старых аристократических фамилий, вполне способных конкурировать в знатности с князьями Голицыными и Долгорукими. Так называемый «проект тринадцати» поданный в Верховный тайный совет наряду с другими дворянскими, предусматривал даже «сделать различие между старым и новым шляхетством, как это практикуется в других странах». Основная линия расхождений верховников с массой дворянства была примерно той же, что и в спорах Татищева с Мусиными-Пушкиными. При всех колебаниях Верховный тайный совет в 1727-1729 годах чаще всего принимал точку зрения Голицына, искавшего решения стоявших перед государством проблем на путях расширения (и следовательно, поощрения) торговли и предпринимательства. Косвенно это затрагивало интересы дворянства, так как тяжесть налогового обложения приходилась на крестьян — объект эксплуатации со стороны дворянства. К тому же в поисках средств правительство вынуждено было сокращать жалованье служащим-дворянам.

Отрицательную роль сыграл в событиях и способ действий Верховного тайного совета. Должно заметить, что слово «тайный», придающее учреждению как бы зловещий характер, просто отражало реальное положение: совет составлялся из первых гражданских чинов государства — действительных тайных советников. Но формулировка названия первого чина Табели о рангах была не случайной: на высшем уровне в обязанность всех чинов входило строжайшее соблюдение тайны обсуждения вопросов. Верховный тайный совет в этом отношении лишь следовал традиции, сложившейся ранее, еще в XVII веке, и принявшей подчеркнутый характер в петровское время.

Об ограничении власти будущего монарха заговорили уже на ночном заседании Верховного тайного совета 19 января. Хотя события застали верховников врасплох, их решения не были совершенно непродуманными. Даже кандидатуры возможных претендентов были обговорены предварительно, по крайней мере, между Василием Лукичом Долгоруким и Дмитрием Михайловичем Голицыным. Правда, на заседании выплывали разные кандидатуры. Но Алексея Григорьевича Долгорукого, попытавшегося было упомянуть свою дочь, обрученную с умершим князем, не поддержал никто даже из его родичей, а Владимир Васильевич Долгорукий высказался против такого предложения и резче других членов совета. Кандидатуру Анны Ивановны в совете назвал Д. М. Голицын. Но инициатива ее выдвижения, по некоторым данным, исходила от В. Л. Долгорукого. Во всяком случае, в действиях этих двух ведущих деятелей совета наблюдалось полное единодушие.

Кандидатура Анны Ивановны устраивала верховников главным образом потому, что за ней не просматривалась никакая партия и она до сих пор не проявляла себя в качестве мало-мальски активной политической фигуры. Казалось, что ее выдвижением приобретает та необходимая в данной обстановке царствующая особа, под прикрытием которой верховники смогут сохранять в своих руках всю полноту власти. Не исключено, что так бы события и развивались, если бы верховники не решили придать реальному положению вполне законный, конституционный характер. К этому располагал и самый недавний опыт Швеции.

Сословное представительство в разных странах возникает примерно в одно и то же время и при сходных обстоятельствах. Королевская власть, не имея пока бюрократического аппарата (и средств на его содержание), вынуждена была обращаться за содействием к сословиям.

Представители сословий, естественно, стремились воспользоваться положением, чтобы разделить власть с монархом. В одних случаях это на более или менее длительный срок удавалось, в других — сословные органы оказывались послушным орудием в руках самодержца. В XVII веке эта борьба обостряется в Европе повсеместно. Судьбы России и Швеции в этом отношении оказываются наиболее сходными. В конце XVII века в Швеции торжествует абсолютизм. Рикстаг, по существу, без борьбы уступает всю власть королю Карлу XI. Мелкое дворянство и горожане поддерживают короля против аристократии и крупных землевладельцев.

Авторитет Карла XI в значительной мере связан был с его внешнеполитическими успехами (особенно заметными на фоне неудачных действий прежнего регентского совета). Умерший в 1697 году Карл XI оставил своему пятнадцатилетнему сыну Карлу XII столь сильный королевский аппарат власти, что никто на него даже не посмел покушаться. Карл XII оказался отличным полководцем. Однако Северную войну он в конечном счете проиграл. В довершение ко всему в 1718 году он погиб в Норвегии. Для любой государственной системы победы служат как бы оправданием даже самых нецелесообразных ее действий, поражения же, напротив, могут привести к крушению и то, что вполне еще могло бы быть жизнеспособным. Менее сорока лет назад рикстаг отступал на задний план перед преуспевающим абсолютизмом. Теперь абсолютизм должен был нести ответственность за поражение. В 1719-1720 годах были разработаны постановления о форме правления, которые утвердил рикстаг в 1723 году. Власть теперь снова принадлежала сословиям, действовавшим через рикстаг. Королевская власть существенно ограничивалась.

Административный опыт Швеции использовался и во время Петра. Царя, как было сказано, в частности, интересовала система организации в Швеции коллегий. Василий Лукич Долгорукий еще в 1715 году, будучи русским посланником в Копенгагене, получил предписание ознакомиться со штатным расписанием датских коллегий: «Сколько коллегий, что каждой должность, сколько каких персон в коллегии каждой, како жалованье кому, какие ранги между себя». Позднее, подготавливая проект коллегий, он использовал и шведский опыт.

Опыт Швеции, несомненно, помог верховникам в сжатые сроки предложить некоторые важные установления. Но дело здесь не в заимствовании, а в схожести судеб. В России тоже Земский собор, утвердивший Уложение 1649 года, не предусмотрел в этом юридическом памятнике места для себя, передав царю всю полноту власти.

Сословное представительство в России достигло наивысшего развития в трудные годы Смутного времени и в первое десятилетие после избрания на царский трон юного Михаила Романова. Но постепенно роль сословно-представительных учреждений падает. Бурные социальные потрясения «бунташного» XVII века заставляли верхи тянуться к сильной царской власти. При Петре I самодержавие достигает своеобразной вершины. Петр как бы выразил тот предел, который способен дать абсолютизм. И оказалось, что издержек было слишком много.

О содержании «Кондиций» — условий приглашения на царский трон Анны Ивановны — верховники договорились быстро. Анна соглашалась признать «уже учрежденный Верховный тайный совет в восьми персонах всегда содержать», «понеже целость и благополучие всякого государства от благих советов состоит». В ночь на 19 января секретарю совета Степанову продиктовали восемь пунктов, ограничивавших произвол монарха в раздаче чинов и пожалований, в наложении податей и расходах. Диктовал более других Василий Лукич, а отработывал «штиль», то есть придавал узаконению юридическую форму, Андрей Иванович Остерман.

Кондиции — лишь один «конституционный» документ верховников, причем не самый важный. Это даже компрометирующий их документ, так как в нем речь идет об ограничении власти императрицы в пользу только Верховного тайного совета. Именно этот документ должен

был вызывать беспокойство у значительной части дворян, в том числе и знати, поскольку в нем ничего не говорилось о их месте в новой государственной системе. Между тем у верховников были предложения и на этот счет. Дворяне же о них не знали.

Кондиции являлись документом, с которым верховники обратились к Анне. К дворянскому же «всенародию» они собирались выйти с иным документом, значительно большим по размерам, чем Кондиции. Это «проект формы правления». Первым же пунктом в проекте разъяснялось, что «Верховный тайный совет состоит ни для какой собственной того собрания власти, точию для лутчей государственной пользы и управления в помощь их имп. величеств». Как и в предшествующий период в России, ограничения срока занятия должностей не предполагалось. «Упалые», то есть освободившиеся, места должны были восполняться путем выборов из «первых фамилий, из генералитета и из шляхетства, людей верных и обществу народному доброжелательных, не вспоминая об иноземцах».

Резкий курс на освобождение от засилья «иноземцев», видимо, проводил Д. М. Голицын. Но в «проекте» эта линия была приглушена. Верховники, в частности, вполне признавали полноправие Остермана, и нет никаких оснований думать, чтобы кто-то намеревался устранить его из совета. В плане ограничений для иностранцев верховники могли сослаться и на соответствующий опыт Швеции, где вообще исключалось занятие иностранцами каких-либо должностей. Но такая отсылка нужна была разве только для постановки этого вопроса в присутствии Остермана. В Швеции-то никакого иностранного засилья никогда и не было. Другое дело Россия. Здесь некоторые отрасли хозяйства и подразделения управления были захвачены чужеземцами целиком.

«Проект» предусматривал решение и еще одной задачи, весьма беспокоившей дворянство: из одной фамилии в совет могло входить не более двух человек, «чтоб там никто не мог вышней взять на себя силы». Это предложение означало отстранение одного из Долгоруких. По-видимому, вывести должны были Алексея Григорьевича, поскольку фельдмаршала Владимира Васильевича только что специально ввели, а Василий Лукич являлся одним из соавторов проекта.

Выбор кандидатов на «упалые» места должны были осуществлять члены Верховного тайного совета вместе с Сенатом. При рассмотрении дел совет должен был руководствоваться принципом, что «не персоны управляют закон, но закон управляет персонами, и не рассуждать ни о фамилиях, ниже о каких опасностях, токмо искать общей ползы без всякой страсти». Для разрешения всякого «нового и важного государственного дела» на заседание совета должны были приглашаться «для совета и рассуждения» Сенат, генералитет, коллежские члены и знатное шляхетство.

«Проект» в целом сохранял ту структуру власти, которая сложилась в последние годы правления Петра I, включая утвержденную в 1722 году Табель о рангах. «Для вспоможения» Верховному тайному совету оставался Сенат. Вопрос о численности его предполагалось решить дополнительно с учетом пожеланий «общества». Сенат и коллегии должны были набираться «из генералитета и знатного шляхетства».

Основным адресатом «проекта» было дворянство, которому и рассыпаются всяческие привилегии. Дворяне освобождались от службы в «подлых и нижних чинах», для них предусматривалось создать «особливые кадетские роты, ис которых определять по обучении прямо в обор (то есть высшие) афицеры». Предполагалось, что «все шляхетство содержится быть имеет так, как в протчих европейских государствах в надлежащем почтении». Иными словами, дворянству было обещано все, что оно требовало в своих челобитных или частных разговорах. Но дворяне ничего об этом не знали: оглашение проекта откладывалось до приезда императрицы.

Бичом времени было не раз упоминавшееся противоречие: старая система кормлений будто

бы отменена, но жалование регулярно не выплачивается. Верховники обещают строго следить за своевременной выплатой жалования, а также за тем, чтобы повышение в чинах проводилось «по заслугам и по достоинству, а не по страстям и не по мздоимству». Высказывается пожелание «о солдатах и о матросех смотреть прилежно, как над детьми отечества, дабы напрасных трудов не имели, и до обид не допускать».

Купечеству уделялся лишь один, но очень важный пункт. Решительно отвергался принцип монополии: «В торгах иметь им волю и никому в одни руки никаких товаров не давать и податки должно их облегчить». Предписывалось также «протчим всяким чинам в купечество не мешатца». В условиях феодального государства ограждение купечества от возможного вмешательства со стороны властей или дворянства вернее всего способствовало развитию торговли и промышленности. В этом пункте заметно отражение той политики, которую Голицын пытался проводить на практике в 1727-1729 годах, возглавляя Коммерц-коллегию.

Достаточно расплывчато звучало обещание: «Крестьянам податки сколько можно облежить, а излишние расходы государственные рассмотрит». Речь шла о сокращении обложения крестьян за счет сокращения государственных расходов. Но опыт предшествующих лет показал, что с «сокращением расходов» всегда дело обстояло не лучшим образом, хотя кое-что в этом направлении все-таки делалось.

Политический смысл имело предписание: правительству «быть в Москве непременно, а в другое место никуда не переносить». Правда, объяснялось это необходимостью избежать «государственных излишних убытков» и «для исправления всему обществу домов своих и деревень». И действительно, содержание двора и учреждений обходилось в Петербурге несравнимо дороже, чем в Москве. Но дело было не столько в этом, сколько в том, что Москва олицетворяла собственно Россию и ее традиции, в то время как Петербург был именно «окном в Европу», и повернут он был как бы в противоположную сторону от России.

«Проект формы правления» являлся результатом взаимных уступок членов Верховного тайного совета. В таком виде он не отражал полностью ни взглядов Д. М. Голицына, ни убеждений В. Л. Долгорукого. Голицын имел более смелый проект политических преобразований, предусматривавший значительное возрастание роли третьего сословия. По замыслу Голицына, помимо Верховного тайного совета, учреждались три собрания: Сенат, шляхетская палата, палата городских представителей. Сенат в составе тридцати шести человек должен был рассматривать дела, представляемые совету. Шляхетская палата из двухсот человек была призвана ограждать права этого сословия от возможных посягательств со стороны Верховного тайного совета. Палата городских представителей должна была блюсти интересы третьего сословия и заведовать торговыми делами.

Именно в голицынском проекте с наибольшей полнотой учитывались и шведская конституция, и собственно русская земская практика эпохи ее наивысшего подъема. Голицын значительно далее своих коллег готов был идти навстречу пожеланиям купечества и горожан. Создание замкнутых сословных сфер в данном случае должно было ограничить дальнейшее расширение крепостнических отношений. И понятно, что этот проект даже не был вынесен на обсуждение. Слишком явно было, что он не удовлетворит дворянство, без которого любые предложения верховников были обречены на неудачу.

Верховники предусматривали и определенный порядок обсуждения проектов на пути превращения их в законодательные акты. Этой цели служил специальный документ, называемый «Способы, которыми, как видитца, порядочнее, основательнее и тверже можно сочинить и утвердить известное толь важное и полезное всему народу и государству дело». Первый пункт документа предлагал, «чтоб все великороссийского народа шляхетство, выключая иноземцев... не греческого закона и у которых деда не в России породились, согласились бы за себя и за

отсутствующих единодушно вместе так, чтоб никто, никак и ничем от того согласия не отговаривался ни заслугами, ни рангом, ни старостью фамилии и чтоб всякому был один голос». Предусматривалось, следовательно, равенство всех дворян независимо от их личных заслуг и знатности рода, а также положения на служебной лестнице.

«Единодушным согласием» необходимо было избрать «ис тогож шляхетства годных и верных отечеству людей от двадцати до тридцати человек», и эти выборные должны были готовить письменные проекты, «что они вымыслить могут к ползе отечества». Заседания идут под председательством двух выборных особ, которые сами права голоса не имеют, а должны поддерживать порядок, унимать страсти в ходе заседаний. Если возникали вопросы, касающиеся других сословий, выборные от этих сословий приглашались на обсуждение. Оговаривалось, «чтоб выборные от всякого чина имели свой выбор», то есть чтобы выборы осуществлялись не сверху, со стороны властей, а в рамках сословных организаций.

Подготовив коллективное заключение, выборные от дворян должны были представить его в Сенат «и с ним советовать и согласитца». Затем все вместе направляются в Верховный тайный совет. «А как выборные, Сенат и Верховный совет о каком деле согласятца, и тогда послать с тем делом несколько особ к ее им. величеству и просить, чтоб конфирмовала» (то есть утвердила).

Предлагаемые проекты могли бы совершенно изменить политическое лицо России и существенно повлиять на ее дальнейшее социальное развитие. Даже ограничение круга полноправных в политическом отношении граждан только шляхетством в этих условиях было большим шагом вперед. К тому же хотя бы и в глухой форме говорилось и о правах других сословий (разумеется, не считая крепостных крестьян), дела которых должны были решаться с их полноправным участием. В последней оговорке, пожалуй, и сказывается влияние голицынского проекта создания сословных палат. Логика дальнейшего развития неизбежно повела бы к постепенному усилению роли третьего сословия, примерно так, как было в Швеции этого времени. Аристократия в Швеции более, чем в России, кичилась своим происхождением. Но третье сословие благодаря наличию значительных капиталов уверенно забирало в свои руки те сферы, которые давали более всего прибылей.

В 1730 году не было неотвратимой обреченности конституционных начинаний. И во всяком случае, никогда в России, вплоть до 1905 года, не было столь благоприятных условий для перехода к конституционной монархии. Просчеты верховников носили скорее тактический, чем политический характер. Едва ли не более всего верховников подвела «тайна» их заседаний, «тайна», которую каждый член совета торжественно клялся хранить независимо от любого поворота событий. Василий Лукич, вернувшись из Митавы после подписания Анной Ивановной Кондиций, резонно замечал, что надо «хотя кратко упомянуть, какие дела им (то есть выборным от дворян) поверены будут... чтоб по тому народ узнал, что к пользе народной дела начинать хотят». Верховники либо не сумели, либо не успели осуществить это предложение.

Разрабатывая проекты расширения политической роли дворянства, верховники все-таки дворянству более всего и не доверяли. Поэтому они стремились поставить его перед совершившимся фактом. Введение в состав совета двух популярнейших фельдмаршалов должно было умиротворить беспокойную, хотя и аполитичную гвардию. Фельдмаршалы без труда могли найти достаточное количество армейских полков, готовых откликнуться на их призыв. Но верховники старались представить Кондиции и прочие акты выражением воли самой императрицы. Это был большой и неоправданный риск. Такой путь обещал успех лишь в том случае, если бы императрица сама была участницей заговора. Но на это рассчитывать, конечно, не приходилось. Трудно было надеяться и на то, что удастся надежно оградить императрицу от внешнего мира. Даже о намерении верховников Анна узнала раньше от их противников, чем от

них самих.

Рассчитывая на Анну Ивановну, верховники сами связали себе руки. Они теперь не могли обратиться непосредственно к дворянству. Положение особенно усугубилось после того, как 2 февраля на собрании высших чинов государства были провозглашены подписанные Анной Ивановной Кондиции. Правда, Верховный тайный совет предложил первым пяти рангам служилых чинов и титулованному дворянству подавать свои проекты. Но утверждение их автоматически переносилось в канцелярию императрицы, которая вскоре должна была прибыть в Москву. Наиболее же важные для дворянства документы совета до сведения дворянства так и не были доведены и, видимо, могли быть обнародованы лишь после утверждения их императрицей.

Таким образом, стремясь к ограничению монархии в интересах дворянства, верховники не верили сами в гражданскую подготовленность российского шляхетства, в его политическую активность и самосознание. Поэтому верховники и стремились навязать ему гражданские права и конституционное сознание сверху, императорской волей.

Дворянские проекты, возникшие независимо от верховников или же по их предложению, были значительно беднее проекта верховников. В Верховный тайный совет поступило несколько таких проектов, и в большинстве из них излагались лишь ближайшие пожелания дворянства, тогда как вопросы общего политического устройства почти не затрагивались. Почти во всех проектах ставился вопрос о необходимости расширения состава Верховного совета или же передачи его функций Сенату. В проекте И. А. Мусина-Пушкина очень резко подчеркивалось значение родовитой аристократии. «Фамильным» должна была принадлежать половина мест и в Верховном тайном совете, и в Сенате, причем к простому шляхетству причислялся даже генералитет. Различие между старым и новым шляхетством, как отмечалось, проводилось и в проекте тринадцати. В этом проекте было, в частности, положение, что «для ремесел и других низких должностей шляхетство не употреблять».

Однако если проекты дворян были бедными, то споры в дворянских собраниях рождали и довольно далеко идущие предложения. Одним из самых активных участников этих споров и был Василий Никитич Татищев, имевший и наибольшие познания, и широту суждений по сравнению со своими коллегами.

В событиях 1730 года Голицын и Татищев оказались в разных лагерях. И дело не столько в идейных расхождениях, сколько в особенностях политического расклада. В конце 20-х годов, как отмечалось, неоднократно возбуждались обвинения в адрес Феофана Прокоповича, и за обвинителями стояли представители старых княжеских фамилий, петровский кабинет-секретарь А. Макаров и другие. Прокопович раздражал многих русских отрицательным отношением к русской старине, своеобразным космополитизмом, безразличием к престижу страны на европейской арене. Но вслух о таких вещах обычно не говорили. Поэтому фигурировало обвинение в «неправославии», именно в склонности к лютеранству. Основания для этого были. В окружении Петра вообще было много лютеран. На лютеранке был женат и один из верховников, Гаврила Головкин, в результате чего в семье его дети воспитывались в лютеранском духе. Татищева никто не рискнул бы обвинить в неуважении к русской истории. Зато «неправославия», правда иного толка, у него было куда больше, нежели у Прокоповича, и Прокопович не преминул продемонстрировать это публично, отмежевываясь от некоторых весьма вольных воззрений Татищева.

О тучах, сгушавшихся над Татищевым, еще летом 1728 года сообщал брауншвейгский посланник барон фон Крамм. Крамм характеризует Татищева как одного из весьма разумных людей, великолепно знающего немецкий язык и обладающего большими познаниями в области горного и монетного дела, но почему-то попавшего в немилость к Алексею Григорьевичу

Долгорукому. Под видом инспекции горных предприятий Долгорукие намеревались выслать его в Сибирь. Позднее в письме к И. А. Черкасову Татищев напоминал об этом намерении Долгоруких, которые и прямо грозили ему «виселицей и плахой».

У Антиоха Кантемира жизненные невзгоды фокусировались на личности Дмитрия Голицына. Старший брат Антиоха Константин женился на дочери Голицына и не без помощи тестя сумел воспользоваться законом о единонаследии, получив все владения отца. Антиох оказался лишенным устойчивого материального обеспечения. В значительной мере это обстоятельство и придавало его творчеству пессимистическую окраску.

К концу 20-х годов Татищева сближали с Кантемиром и Прокоповичем определенная схожесть судеб и некоторые их воззрения. Часто у них были одни и те же недруги. Но он не мог принять ту безудержную апологетику самодержавия, с которой выступали Прокопович и Кантемир. В конечном счете он оказался в числе тех, кого Прокопович также подверг резкой критике как «мятежных» соперников верховников в дележе власти.

«Мятежники» собирались в разных домах, где велись жаркие споры. Наиболее людные сходки отмечались у А. М. Черкасского, Василия Новосильцева, князя Ивана Барятинского. Существо споров Татищев изложил позднее в записке «Произвольное и согласное рассуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном». По замечанию Плеханова, «Татищев сам не знал, чего, собственно, ему хотелось: он, защищавший в теории самодержавие, пишет конституционный проект» и затем то уговаривает конституционалистов согласиться с монархистами, то готов прочесть перед Анной Ивановной конституционную челобитную дворян. М. Н. Покровский увидел в этих колебаниях даже неумение «отличить конституционную монархию от абсолютной». Но документ, по которому обычно судят о взглядах Татищева, это все-таки «согласное рассуждение», то есть коллективное мнение определенной группы дворянства. Татищев же колебался и субъективно — идеальная форма правления для России не продумывалась им ранее, — и объективно, как член определенной общественной прослойки. Известно, что уже 23 января, то есть всего через несколько дней после смерти Петра II, Татищев разыскивал и «читал кое с кем» материалы, связанные с шведской формой правления, и обещал «охотно заплатить» шведскому послу за отыскание различных постановлений рикстагов. Он шел явно в числе пионеров конституционализма, по крайней мере, до тех пор, пока (конечно, неожиданно для него) не определился выбор верховников: Анна Ивановна, с рождением которой некогда началась его «служба» при дворе.

Для правильного понимания действительных взглядов Татищева должно учитывать и еще одно обстоятельство, на которое недавно обратил внимание советский историк Г. А. Протасов. Записка составлялась уже после событий, когда самодержавие восторжествовало и Татищеву, возможно, приходилось оправдываться перед кем-то из окружения Анны. Так, на исторической справке, подводящей к существу вопроса, сказывается влияние одной из проповедей Феофана Прокоповича, записанной в 1734 году. Прокопович дал своеобразную схему русской истории, из которой следовало, что Россия всегда укреплялась самодержавием и приходила в упадок из-за его ослабления.

1734 год, возможно, и был тем временем, когда от Татищева потребовался «оправдательный» документ, о чем будет речь ниже. Позднее, в 1743 году, он отправит этот документ вместе с другими в правительствующий Сенат, что вызовет чрезвычайное раздражение его высоких членов, многие из которых и сами были в той или иной степени участниками событий 1730 года. А незадолго до смерти, по просьбе Шумахера, он направил копии их в Академию наук, благодаря чему они и дошли до нашего времени.

История записки объясняет и ее сложное строение, и внутренние противоречия, и некоторое расхождение с подлинными дворянскими проектами, сохранившимися в архивах.

Татищев как бы соединяет свои рассуждения с действительным ходом событий и проектами, подлежащими обсуждению. В ней имеется и то, что реально предлагалось в ходе горячих споров, и то, что он направлял и объяснял уже задним числом.

Записку, как отмечалось, открывает обширная историческая часть. Татищев осуждает верховников за нарушение традиционного порядка избрания монарха в случае пресечения династии. Он полагает, что ранее уже было три избрания: Бориса Годунова, Василия Шуйского и Михаила Романова. Два из них не могут служить примером: «Избрали не порядком: в первом было принуждение, во втором коварство». «А по закону естественному, — поясняет Татищев, — избрание должно быть согласием всех подданных, некоторых персонально, других через поверенных, как такой порядок во многих государствах утверждён».

«Естественный закон» и «естественное право» — теории, зарождающиеся в Европе в условиях формирования буржуазного уклада. С наибольшей полнотой понимание их Татищев выразил в рассматриваемом ниже «Разговоре...». Здесь он касается политического раздела естественноправовых теорий, согласно которым природа человека определяла и государственное устройство: отдельные индивиды путем «общественного договора» соединялись в единый организм.

В теориях «общественного договора» вслед за Аристотелем обычно рассматривались три формы правления: монархия, аристократия, демократия. Но если, например, Феофан Прокопович решительно и однозначно решал вопрос в пользу неограниченной монархии, то рассуждение Татищева куда менее определено. Татищев отмечает необходимость учета положения той или иной страны: «Каждая область избирает, разсмотря положение места, пространство владения, а не каждое всюду годно, или каждой власти может быть полезно».

Примечательно, что идеальной формой правления Татищев считал демократию. Но он полагал, что она осуществима лишь «в единственных градах или весьма тесных областях, где всем хозяевам домов собраться вскоре можно... а в великой области уже весьма неудобна». Демократия мыслится Татищевым как возможность обсуждения всех вопросов общим собранием граждан. Представительную же демократию он объединяет с аристократической формой правления. Это проистекало, конечно, не из того, что он не осознавал разницу между представительной демократией и реальной аристократией, характерной хотя бы для Швеции этого времени. Просто представительная демократия в его понимании на практике могла быть осуществима именно в форме аристократии.

Сам термин «аристократия» Татищев поясняет уточнением: «или избранных правительство». «Избранный» в данном случае тоже имеет двойной характер: пользующийся правом по положению или избранный на должность. Иными словами, принципы избрания могли быть разными. Но и в том случае, если избрание было «всенародным», это было бы «аристократией», правлением «избранных».

Представительное (аристократическое) правление уступает «демократическому», но оно все-таки лучше монархического. К сожалению, оно также не везде возможно. Оно применимо лишь «в областях, хотя из немоликов градов состоящих, но от нападений неприятельских безопасных, как-то на островах и проч., а особливо если народ учением просвещен и законы хранить без принуждения прилежит, — тамо так остраго смотра и жестокого страха не требуется».

Таким образом признается безусловная предпочтительность представительной формы правления для Скандинавии, Англии и некоторых других государств, в условиях XVIII века достаточно надежно защищенных от внешней угрозы. Эта форма была бы желательной и для других государств, если население их достаточно просвещено, привыкло следовать законам без постоянного напоминания и принуждения. Подобно Артемию Петровичу Волынскому, Татищев

в России этого последнего условия не видел. Отсутствие просвещения при наличии постоянной внешней угрозы, по мнению Татищева, не оставляло выбора. Ничего хорошего в своей сущности монархия не содержит. Она несет с собой лишь «жестокий страх». Но географические и политические условия России обязывают мириться с этим как с относительно меньшим злом.

Соображения Татищева, очевидно, не лишены оснований. Позднее Энгельс также наличие или отсутствие королевской власти в странах средневековой Европы ставил в зависимость главным образом от внешнеполитических обстоятельств. В Германии, например, не сложилось сильного централизованного государства именно потому, что в этом не было потребности, поскольку она оказалась «избавленной на длительный срок от вторжений».² К. Маркс также связывал «централизованный деспотизм» в России с условиями ее внутреннего социального строя, «обширным протяжением территории» и «политическими судьбами, пережитыми Россией со времен монгольского нашествия».³

«Великие и пространные государства, для многих соседей завидующих», по мнению Татищева, не могут устоять при демократической или аристократической форме правления, «особливо где народ недоволен учением просвещен, и за страх, а не из благонравия, или познания пользы и вреда, закон хранят». Для таких государств «не иначе, как само- или единовластие потребно». Политическая повседневность, полагал Татищев, давала примеры успешного действия любой из этих систем. «Голландия, Швейцария, Генуя и проч. изрядно правятся демократиею и называются республики». Аристократическая форма успешно осуществлена в Венеции. Германская империя и Польша управляются монархами вместе с аристократией. «Англия и Швеция из всех трех состоят, яко в Англии нижний парламент или камера, в Швеции сейм — представляют общенародие; верхний парламент, а в Швеции сенат — аристократию».

Зависимость форм правления от внешних обстоятельств Татищев подтверждает и примерами из всемирной истории. Так, «Рим, прежде императоров, правился аристократиею и демократиею, а в случае тяжкой войны избирал диктатора и давал ему полное единовластительство». «В трудном состоянии» к аналогичным мерам прибегают Голландия и Англия. «Из сего видим, — заключает Татищев, — что издревле утвержденные республики в случаях опасных и трудных монархию вводят, хотя и на время».

Условия России Татищев ставит в один ряд с Францией, Испанией, Турцией, Персией, Индией и Китаем, которые «яко великие государства, не могут иначе правиться, как самовластием».

Целесообразность для России самодержавия Татищев подтверждает ее историческим опытом. В этой связи он дает первую свою канву русской истории, начиная ее от скифов, имевших уже «самовластных государей». Затем период «единовластительства» определяется временем от Рюрика до Мстислава Великого (сына Владимира Мономаха), то есть со второй половины IX века до 1132 года. В результате за 250 лет «государство наше всюду распространилось».

Феодальная раздробленность привела к тому, что татары захватили власть над русскими землями, а некоторые владения Руси оказались под властью Литвы. Лишь Иван III «паки монархию возстановил, и, усилився, не токмо власть татарскую низвергнул, но многие земли у них и Литвы, ово сам, ово сын его, возвратил. И так государство прежнюю свою честь и безопасность приобрело, что продолжалось до смерти Годунова».

Разорения Смутного времени Татищев объясняет тем, что Василий Шуйский вынужден был дать боярам «запись, которою всю власть, у государя отняв, себе похитили, подобно как и ныне». В результате шведы и поляки «многие древние русские пределы отторгнули и овладели». Правда, воцарение Михаила Романова несколько выбивалось из этой схемы. Хотя его «избрание

было порядочно всенародное, да с такую же записью, через что он не мог ничего учинить, но рад был покою». Ограничением самодержавия в этом случае как будто доволен более всех сам царь. И у Татищева нет оснований считать это ограничение нецелесообразным.

Восстановление самовластия Алексеем Михайловичем Татищев объясняет тем, что царь получил возможность управлять войском во время русско-польской войны. Он полагал, что именно благодаря этому были одержаны победы в войне и они были бы еще большими, если бы не противодействие «властолюбивого Никона». Торжество же самовластия и соответствующие успехи при Петре Великом «весь свет может засвидетельствовать».

По-видимому, нечто подобное Татищев излагал и в обсуждениях января — февраля 1730 года. Но в спорах выдвигались и мнения противоположные: «единовластное правительство весьма тяжко», поскольку «единому человеку власть над всем народом дать не безопасно». Опасность грозит и оттого, что царь, «как бы мудр, справедлив, кроток и прилежен ни был, безпогрешен же и во всем достаточен быть не может». В случае же если монарх «страстям своим даст волю», то от насилий страдают невинные. Другая угроза исходит от того, что именем монарха управляют временщики, и временщик «из зависти» может свирепствовать еще более, «особливо если подлородный или иноземец, то наипаче знатных и заслуживших государству ненавидит, гонит и губит, а себе ненасытно имения собирает». И наконец, третье — «вымышленная свирепым царем Иоанном Васильевичем тайная канцелярия» (то есть Преображенский приказ сыскных дел), которая постыдна перед лицом других народов и разорительна для государства.

Татищев считает все высказанные соображения основательными. Но, по его мнению, они не перекрывают положительной роли монархии для таких стран, как Россия. Он исходит из того, что монарх «не имеет причины к разорению отчизны ум свой употреблять, но паче желает для своих детей в добром порядке содержать и приумножать». Поэтому государь заинтересован в подборе советников «из людей благоразсудных, искусных и прилежных». Но против довода об опасности воцарения монарха, который «ни сам пользы не понимает, ни совета мудрых не принимает и вред производит», у Татищева не находится возражений. Покинув надежную почву «естественного закона», Татищев вынужден уповать на смирение: поскольку возможности воцарения несмышленного монарха не предотвратить, остается «принять за божие наказание». Предполагаемых собеседников Татищев дразнил сравнением с весьма нередкой бытовой картиной: если один шляхтич «безумно» разоряет свой дом, «для того всему шляхетству волю в правлении отняв, на холопей оное положить, ведая, что никто сего не утвердит». Республиканское самосознание собеседников Татищева, конечно, не распространялось на крепостное крестьянство. Но его довод мог быть повернут и в противоположном направлении: неразумна не только абсолютная монархия, а и крепостнический порядок.

Признает Татищев и опасность временщиков: «От оных иногда государство много бед терпит». Большой вред нанесли России «неистовые временщики». Скуратов и Басманов при Иване Грозном, Милославский при Федоре Алексеевиче, Меншиков и Толстой в недавние времена. Но их как бы уравнивают «благоразумные и верные»: Мстиславский у Грозного, Морозов и Стрешнев у Алексея Михайловича, Хитрой и Языков у Федора Алексеевича, Голицын у Софьи. Эти временщики «благодарение вечное заслужили, хотя некоторые по ненависти других в несчастии жизнь окончили». В республиках положение с временщиками тоже не лучше и может стать даже более опасным, чем в монархиях.

Тайная канцелярия государство, конечно, не красит. Но дело это, полагал Татищев, неновое, поскольку таковая появилась еще при римском императоре Августе или Тиберии. Она даже, «если токмо человеку благочестивому поручится, ни мало не вредна, а злостные и нечестивые, недолго тем наслаждался, сами исчезают». Дело, следовательно, лишь в том, кто ведает Тайной

канцелярией. Татищев, однако, не разъясняет, как предотвратить возможность поручения ее «злостным и нечестивым».

Дав такую теоретическую справку о целесообразности самодержавия в России, Татищев затем переходит к «настоящему». И оказывается, что у него имеются соображения о путях ограничения самодержавного произвола. Татищев подчеркивает, что против кандидатуры верховников никто не возражает и что вопрос о способах избрания монарха может относиться только к будущему. Удовлетворен Татищев также «мудростию, благонравием и порядочным правительством в Курляндии», показанными Анной Ивановной. Но он предлагает фактическое ограничение ее самодержавия, хотя и облакает это предложение в весьма замысловатую форму: императрица «как есть персоне женская, к так многим трудам неудобна, паче же ей знания законов не достает, для того на время, доколе нам всевышний мужеску персону на стол дарует, потребно нечто для помощи ее величеству вновь учредить».

Для помощи «женской персоне» предлагалось объединить Верховный тайный совет и Сенат, доведя их численность до 21 человека, которые будут нести службу в три смены по семь человек. «Делами внутренней экономии» должно было ведать «другое правительство». Оно избиралось в количестве ста человек и тоже участвовало в управлении сменами по третям года, дабы не запускать и своих собственных вотчин. Трижды в год или при чрезвычайных обстоятельствах на совещание съезжаются все «сто персон». «Общее собрание» не должно продолжаться «более месяца».

На высшие должности избираются пожизненно. Но избрание на «упалые» места, осуществляемое обоими правительствами, предусматривало выдвижение нескольких кандидатов и проведение двух туров голосования: сначала отбираются три кандидата, а затем один, наиболее достойный. Голосование должно быть тайным. «Через сей способ, — говорит Татищев, — можно во всех правлениях людей достойных иметь, не смотря на высокородство, в которых много негодных в чины производят». В случае если такой путь императрице не понравится, Татищев готов уступить: разрешить императрице выбирать из трех предварительно избранных кандидатов одного.

Не склонен Татищев отдавать на усмотрение монарха и законодательную власть, хотя опять-таки ограничение самодержавия рассматривается в качестве помощи. Татищев ставит вопрос: в чем задача государя? И отвечает: в «общей пользе и справедливости». Сама императрица, конечно, сочинять законов не будет. Она это дело кому-то передоверит. И вот здесь-то и заключается «опасность немалая, чтоб кто по прихоти чего непристойного и правости несогласного или паче вредного, не внес». Даже «Петр Великий, хотя и мудрый государь был, но в своих законах многое усмотрел, что переменить нужно». Поэтому он распорядился «все оные собрав, рассмотреть и вновь сочинить». Чтобы не допускать беспорядка в законодательстве, «лучше оное прежде издания рассматривать, нежели издав переменять, что с честию монарха не согласует. Непродуманное законодательство, следовательно, ложится укором на монарха, и, дабы избежать этого, монарх должен быть предусмотрительным.

Поскольку одному человеку невозможно сочинить сколько-нибудь удачный закон, необходимо привлечь к его обсуждению достаточно широкий круг государственных деятелей. Предварительно его должны обсудить в коллегиях, затем в «вышнем правительстве». Императрице останется утвердить тщательно продуманный законопроект.

Тайную канцелярию Татищев оставляет. Но «смотреть на справедливость» должны два человека, выделенные Сенатом. Таким образом должен быть обезврежен самый одиозный орган монархии, с помощью которого самодержцы расправлялись со своими личными противниками.

В проекте Татищева выборные органы состояются из дворянства. Выдвиженцы Петровской эпохи, получившие дворянство с достижением соответствующего чина Табели о

рангах, записывались в «особую книгу». Правда, запись делалась лишь для того, чтобы «подлинное шляхетство известно было». Непосредственно на экономическом и политическом положении нового дворянства такое разделение не сказывалось. Но это все-таки было уступкой принципу «породы». Неясно только, отражало ли это положение отношение к вопросу самого Татищева или же он уступал настояниям своих коллег, от имени которых он в данном случае выступал.

Как и другие дворянские проекты, татищевский предполагал открытие для дворян специальных училищ с целью непосредственного производства их в офицеры. Служба до сих пор была пожизненной. Проект предполагал зачисление в службу с восемнадцати лет и ограничение ее двадцатью годами.

О купечестве говорится не очень определенно: «колько можно от постоев уволить и от утиснения избавить, а подать способ к размножению мануфактур и торгов». Учитывая, что проект обсуждался в больших собраниях, можно понять столь неопределенную формулу «сколько можно». Дворянство в целом шло навстречу купечеству лишь до той грани, пока не страдали их непосредственные интересы.

Весьма любопытны встречные соображения о целесообразности республики, воспроизведенные Татищевым. Трудно даже представить, кто мог в это время выступать с республиканскими идеями. Во всяком случае, ни в одном из дворянских проектов нет никакого намека на столь далеко идущие мысли. Вопрос об организации высшей власти в них даже и не рассматривался: дворяне в равной мере соглашались и с самодержавием, и с его ограничением. Зато у Татищева эти вопросы будут вставать снова и снова, и не исключено, что спор он вел с самим собой, может быть, используя ответы Феофана Прокоповича на собственные сомнения.

В Верховный тайный совет от самой значительной группы дворянства был подан иной текст проекта, чем тот, что по памяти изложил Татищев. Так, в нем, помимо «вышнего правительства» из 21 человека, сохранялся Сенат в количестве 11 человек, а сто персон участвовали в выборах высших государственных должностей. Документ этот вместе с копиями подписали свыше трехсот человек, в том числе А. М. Черкасский, Иван Плещеев, Платон Мусин-Пушкин, А. К. Зыбин. В числе подписавших был и Татищев.

Верховники вовсе не собирались упорствовать по вопросу о численности «вышнего правительства», равно как по вопросу о его названии. Они готовы были пополнить число членов совета до двенадцати человек и более, то есть практически расширить его за счет Сената, насчитывавшего в 1730 году восемь членов, или же за счет вновь избранных. Но теперь они уже считали себя связанными предложениями собрания 2 февраля. Для окончательного решения вопросов, затронутых в дворянских проектах, они снова собирались получить санкцию императрицы и от ее имени объявить о согласии с основными пожеланиями дворян. Не зная и, видимо, не догадываясь об этом, дворяне стали проявлять нетерпение и беспокойство. Им стало казаться, что верховники хотят решить важные вопросы за их спиной. В этих условиях они добиваются приема у императрицы.

Пока Анна Ивановна двигалась со своим кортежем из Митавы в сторону Москвы, приверженцы самодержавия держались в тени и действовали скрытно. Самодержавная партия в Москве вовсе не была всесильной. Но по мере приближения императрицы и установления с ней связей монархисты все более подымали голову. Во главе самодержавной партии оказались три обрусевших иноземца: Андрей Иванович Остерман, Феофан Прокопович и Антиох Кантемир.

В сущности, у иностранца в России, если он стремился к власти, выбора не было. «Русские дворяне служат государству, немецкие — нам», — так столетие спустя оценил обстановку Николай I, цинично признав таким образом и несовпадение интересов самодержавия с государственными, и сугубо корыстный характер взаимной любви самодержцев с иноземцами.

Остерман, диктовавший «шпиль» при составлении Кондиций, не надеялся, конечно, удержаться на поверхности, если бы в России вдруг утвердилась шляхетская республика. Из рук Петра получил столь высокое положение и Феофан Прокопович — автор трактата в защиту неограниченного самодержавия. Кантемир же при случае и сам мог стать монархом на родине отца.

За самодержавие стояли и выдвиженцы Петра, опасавшиеся за не всегда праведным путем добытое возвышение. Были и обиженные. Зять Головкина Ягужинский в ночь на 19 января кричал о необходимости «воли себе прибавить». Но многие из верховников не могли скрыть презрения к этому лицемерному и вороватому выскочке. И Ягужинский спешит предупредить Анну о замыслах верховников.

Сторону самодержавия держал и бывший канцлер Головкин. Головкин и Остерман то и дело сказывались больными. Когда же Д. М. Голицын решил навестить «больного» Остермана, оказалось, что тот деятелен как никогда.

Само сотрудничество Голицыных и Долгоруких было довольно трудным. Два титулованных рода мало доверяли друг другу. Подлинную заинтересованность в успехе дела, видимо, проявляли лишь Д. М. Голицын и В. Л. Долгорукий. Оба стремились и как-то расширить круг приверженцев конституционной партии. Но Голицын, по-видимому, просто опоздал. Вступить в соглашение с окружением А. М. Черкасского он или не успел, или не смог из-за противодействия других членов совета. Во всяком случае, обращение к Анне Ивановне последовало именно от этой группы дворян, и жаловались они на нежелание Верховного тайного совета рассмотреть их прошение.

А. М. Черкасский не отличался ни государственным умом, ни твердостью характера, ни ясностью политических целей. Но на его стороне были богатая родословная и не менее богатые вотчины, чем он и привлекал в свой дом представителей дворянства, обычно тоже титулованного и также политически бездеятельного.

Накануне приезда Анны Ивановны возбуждение в Москве достигло высшей точки. Монархисты теперь собираются в разных домах более или менее открыто. 23 февраля состоялось совещание в доме генерал-поручика Барятинского. На этом совещании верховников снова осуждали за то, будто они не хотят удовлетворить требования дворянства. Колеблющихся убеждали, что сделать это сможет только самодержавие. Татищеву было поручено мнение группы Барятинского довести до сведения генералитета и высшего дворянства, собравшихся у Черкасского. В итоге была выработана совместная челобитная, написанная набело Кантемиром. Об этом была поставлена в известность Прасковья Юрьевна Салтыкова, жена двоюродного брата Анны — Семена Андреевича Салтыкова и сестра Головкина. Прасковья участвовала в разных собраниях и доводила обо всем до сведения императрицы.

Татищев, видимо, несколько односторонне изложил суть многократных дворянских собраний 23 и 24 февраля. Да и его собственная позиция не отличалась последовательностью. Есть указания на то, что его побуждал к написанию проекта С. А. Салтыков. Салтыков и его супруга решительно держались линии на восстановление самодержавия, хотя он и был в числе подписавших татищевский проект. Татищев же охотно обсуждал спорные вопросы и с монархистами и с конституционалистами. Такого рода колебания характерны и для многих других вожakov дворянства. Очень часто в одной и той же семье отец и сын или два брата оказывались в разных компаниях: на всякий случай — чья возьмет.

25 февраля группе дворян, в числе которых были Черкасский, только что примкнувший к ним генерал-фельдмаршал Трубецкой и Татищев, удалось проникнуть во дворец. Трубецкой как старший по званию должен был читать челобитную. Но так как он заикался, прочел ее выразительно и громкогласно Татищев.

Челобитная, прочитанная Татищевым, вовсе не свидетельствовала о желании дворянства вернуться к самодержавной форме правления. В ней выражалась благодарность за то, что Анна «изволила подписать пункты». «Бессмертное благодарение» было обещано Анне и от потомства. Дворян не устраивало лишь то, что столь полезное начинание осуществляется скрытно Верховным тайным советом. Чтобы рассеять «сумнительство», челобитчики просили созыва чего-то вроде учредительного собрания от генералитета, офицерства и шляхетства по одному или по два человека от фамилии для решения вопроса о форме государственного правления.

Анна была осведомлена о намерении сторонников восстановления самодержавия. В числе их она, очевидно, считала и Татищева. Но текст челобитной был настолько для нее неожидан, что она готова была его отвергнуть. Подписать челобитную посоветовала Анне ее старшая сестра Екатерина. Чем она при этом руководствовалась — трудно сказать. Отношения между тремя сестрами были далеко не идиллическими. Анна не любила сестер, особенно Екатерину, которая отличалась и большим умом, и большей энергией, чем Анна. Но Анна боялась ее и потому слушалась. Екатерина после разрыва с мужем, герцогом Мекленбургским, проживала в своем Измайловском дворце. Выбор Анны не мог не уязвить ее. Все-таки она была и старше, и способнее вести государственные дела, чем Анна. Советуя Анне подписать новый документ, она надеялась не столько на упрочение положения Анны в ходе неизбежных после такого поворота дела перетрясок, сколько на возвращение к исходным рубежам, когда и ее собственное имя окажется в числе обсуждаемых кандидатов на царский стол.

Никакой серьезной «замятни», однако, не произошло. Гвардейские офицеры сразу подняли шум и изъявили желание сложить головы всех «злодеев» к ногам самодержавной императрицы. Конституционалистам ничего не оставалось, как присоединиться к другой челобитной, прочитанной на сей раз Кантемиром. В этой челобитной, правда, вслед за просьбой принять «самодержавство», излагались пожелания допускать дворянство к выборам высших должностей и «форму правительства государства для пребудущих времен ныне установить». Но первый тезис уже зачеркивал все последующие. Те, кто надеялся соединить самодержавие с принципами представительного правления и законностью, могли немедленно же убедиться в несбыточности своих надежд. Анна приказала разорвать Кондиции на глазах верховников и других высших должностных лиц, обвинив Василия Лукича, будто он обманом заставил ее подписать их ранее. Ни о каком обращении с ее стороны к дворянскому «всенародию» не могло быть и речи.

Закончился уникальный в истории России политический эксперимент: пятинедельный период конституционной монархии. Восторг и ликование изливали теперь те, кто, по выражению Артемия Волынского, наполнен был «трусостью и похлебством». Клеймили зачинщиков противного богу и привычному течению дел плана политического переустройства общества. И даже Татищев в путаной своей записке стремится соединить конституционные настроения с самодержавием, доказывая, что для непросвещенной пока России приемлемо именно то, что в порядочном обществе надо было бы решительно отвергнуть как нечто нецелесообразное и недостойное естества человеческого. Дрогнули и Долгорукие. Они готовы были опередить монархистов с преподнесением Анне полного самодержавия. И кажется, только Дмитрий Голицын не отступил от однажды занятой позиции. «Пир был готов, — говорил он после событий 25 февраля. — Но гости были его недостойны. Я знаю, что беда обрушится на мою голову. Пусть я пострадаю за отечество. Я стар, и смерть не страшит меня. Но те, кто надеется насладиться моими страданиями, пострадают еще более». Это был пророческий взгляд на грядущую бироновщину.

Преуспевание бесчестных есть несчастье для всех остальных.

Публий Сир

Сколько бы цари ни дурили, всегда достается ахейцам.

Гораций

Воцарение Анны Ивановны поначалу принесло возвышение главарям шляхетства и перебежчикам. По четыре тысячи душ получили М. М. Голицын и Антиох Кантемир с братьями. В генерал-майоры произвели Н. Ю. Трубецкого. Богатые пожалования получил Черкасский. 1 июня начала работать комиссия, подготовившая (в 1732 году) рекомендацию уравнивать жалованье русских дворян с иностранцами (преимущество иностранцев в России с петровских времен выражалось в трехкратном жалованье). Был сокращен срок службы дворян до 25 лет, причем солдатами в полки записывали с детского возраста. В 1731 году открылось кадетское училище для подготовки дворянских детей в офицерские чины. Согласно предложениям шляхетства Анна воссоздала Сенат в количестве 21 члена. Правда, сенаторов она назначила сама. И, сделав какие-то уступки, она тут же стремилась забрать их назад.

Сенат не получил определенного статута. Чтобы умерять возможные его притязания, были восстановлены должности генерал-прокурора (им вновь стал Ягужинский) и прокуроров. Затем его и вовсе разбили на департаменты. Верховники распустили в 1729 году имевший зловещую репутацию Преображенский приказ. В 1731 году он был восстановлен снова. В том же году в обход Сената создается Кабинет министров в составе Остермана, Головкина и Черкасского. Это учреждение фактически бесконтрольно и вершило дела.

На место в Кабинете рассчитывал и Ягужинский. Но он был ненавистен многим из окружения императрицы, включая виртуозного мастера интриги Остермана. Ягужинского отправили посланником в Берлин, а его обязанности принял на себя Анисим Семенович Маслов, незадолго до этого получивший должность обер-прокурора Сената. В отличие от Ягужинского Маслов ни на что не претендовал. К делу же он относился с неизменной ответственностью и даже страстностью.

Довольно долгое время Анна чувствовала себя неуверенно в Москве и лихорадочно искала путей укрепления своего положения и ослабления вероятных противников. Расправиться одним махом с составителями Кондиций она не могла: слишком многими нитями они были соединены с широкими дворянско-бюрократическими и церковными кругами. Поэтому, с одной стороны, делается все, чтобы поссорить между собой представителей старых аристократических родов, а с другой — подобрать новых людей, не просто верных, но и хотя кое на что способных. Анне к тому же на первых порах хотелось выглядеть объективной и независимой: она любила сама выслушивать разные мнения и делать якобы самостоятельный выбор. Подсознательно она, может быть, и чувствовала, что государственный аппарат не может обходиться без таких людей, как Маслов. Как заведомый недруг Долгоруких и Голицыных был приглашен в столицу и произведен в сенаторы также Александр Иванович Румянцев, генерал-майор — отец будущего великого полководца.

Румянцев оказался слишком горячим. Он возмутился вскоре же начавшимся грабежом русской казны со стороны немцев и собственноручно отдубасил брата фаворита Анны — Карла Бирона (1684-1744), произведенного в 1730 году из подполковников сразу в генерал-майоры. В

итоге угодливый Сенат приговорил Румянцева к смертной казни, замененной ссылкой в казанские деревни.

Более гибкую тактику проводил Маслов. Он не пытался вступать в борьбу с всесильными временщиками. Напротив. Он стремился использовать их в борьбе со злом. По замечанию Ключевского, Маслов был одним из тех государственных деятелей, «какие появляются и в темные времена народной жизни, помогая своим появлением мириться не с этим временем, а со страной, которая их допускает в своей жизни». Должность позволяла Маслову, даже обязывала его выявлять злоупотребления в высших сферах до Сената включительно. И его разоблачения наводили тем больший ужас на вельмож, что сам он совершенно не был запятнан в каких-либо корыстных деяниях. Люди типа Маслова нужны правителям и опасны для них, поскольку являются как бы выражением чистого государственного интереса. Для правителей же часто государственный интерес — лишь необходимая демагогическая завеса, скрывающая действия, никак с ним не согласующиеся. Пока Анна нуждалась в сведениях, изобличавших ее противников и даже приверженцев, а потому терпеливо сносила весьма решительные предложения Маслова, затрагивавшие интересы широких слоев дворянства и бюрократии. Но Сенат при закрытых дверях обсуждал возможные контрмеры против Маслова. И неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы обер-прокурор не скончался в 1735 году, в самый разгар своей весьма плодотворной административной деятельности.

Реальная власть в стране все более оказывалась в руках иностранцев. Но делалось это постепенно, дабы не разбудить у русского дворянства национальных чувств и не пробудить его к совместным действиям. Первая волна опалы была направлена против Долгоруких, более всего потерявших в глазах многих своим поведением в правление Петра II. 8 апреля 1730 года Анна распорядилась выслать Василия Лукича губернатором в Сибирь, Михаила — в Астрахань, Ивана Григорьевича — воеводой в Вологду, а Алексей Григорьевич с детьми и Сергей Григорьевич высылались в дальние деревни. Не прошло и недели, 14 апреля последовал «манифест», в котором перечислялись вины Алексея Григорьевича с сыном Иваном и братьями, а также особые вины Василия Лукича в отношении императрицы. У Алексея Григорьевича с братьями был конфискован, как писала Анна, «наш скарб, состоящий в драгих вещах на несколько сот тысяч рублей». Василию Лукичу было предписано жить в дальней деревне «безвыездно за крепким караулом». Летом 1730 года их разослали еще дальше: Алексея Григорьевича в Березов, Василия Лукича в Соловки и т. д.

Лишь один из Долгоруких был пока оставлен в занимаемой должности: фельдмаршал Василий Владимирович Долгорукий. Фельдмаршал явно не имел отношения к компании Алексея Григорьевича, и было бы очевидным произволом отстранять популярного в армии полководца. Другой фельдмаршал, Михаил Михайлович Голицын, судя по всему, дрогнувший в феврале 1730 года, был даже пожалован селами и назначен президентом Военной коллегии. Фельдмаршал скончался в конце 1730 года, надавленный грузом совести, стыдясь слабости, в результате которой его возвышали за счет унижения собственного брата. Должность президента была передана Василию Владимировичу. Но ненадолго. Через год его заключили в Шлиссельбургскую крепость за то, что он дерзнул непристойным образом толковать «государству полезные учреждения» императрицы, а также ее собственную «персону поносительными словами оскорблять».

«Полезные учреждения» императрицы касались главным образом устройства ее фаворитов. Отстранение одного и кончина другого русских фельдмаршалов не только открыли доступ к высшим должностям в армии иностранцам, но и лишили русскую оппозицию реальной силы и действенного руководства. В. Л. Долгорукий и Д. М. Голицын глубоко заблуждались, если надеялись на приверженность Анны к древним русским традициям. Прусский посланник

Марфельд уже в феврале 1730 года доносил, что императрица «в душе больше расположена к иностранцам, чем к русским, отчего она в своем курляндском штате не держит ни одного русского, а только немцев». По выражению Ключевского, с воцарением Анны «немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, обленили двор, обсели престол, забрались на все доходные места в управлении». Сразу по воцарении Анна как бы в противовес Преображенскому и Семеновскому гвардейским полкам создает Измайловский (по имени резиденции) полк. Президента Военной коллегии, которым оставался еще М. М. Голицын, из числа лиц, участвующих в формировании полка, исключили. Командование полком Анна поручила одному из своих фаворитов, Карлу-Густаву Левенвольде, которому доверялся и подбор офицерского состава. Естественно, что он набрал его из иноземцев, преимущественно из остзейских немцев. Подполковником стал незадолго перед тем перешедший на русскую службу Яков Кейт — один из первых организаторов масонских лож в России, тесно связанный с немецкими (гамбургскими) ложами. Масонство становится удобной формой организации иноземцев при дворе. Хотя между прогерманскими и проанглийскими ложами существовали известные трения (в 1731 году гроссмейстер Лондонской Великой ложи лорд Ловель назначил капитана Джона Филиппса провинциальным гроссмейстером России), общий язык они, как правило, находили, а митавская ложа долго будет иметь значение своеобразного масонского центра в России. Пути в масонские ложи искали и отдельные представители русских аристократических фамилий.⁴

Состав Измайловского полка очень хорошо показывал действительное отношение нового правительства к российским интересам. Даже среди рядовых русских не было. Их набирали в основном в Малороссии и в таких слоях, где еще не исчезли противорусские настроения.

Карл-Густав Левенвольде имел и придворную должность обер-шталмейстера. Его братья также получили назначения: Рейнгольд — звание обер-гофмаршала, а Фридрих-Казимир — камергера. Придворные должности, помимо прочего, имели то преимущество, что реально оплачивались, и неплохо оплачивались (жалованье обер-гофмаршала Левенвольде составляло 4188 рублей 30 копеек в год), тогда как, например, сенаторам (размер жалованья их определялся чином), по существу, не платили.⁵

С устранением русских фельдмаршалов в фельдмаршалы был произведен Миних. В обер-камергеры производился «Яган Эрнест фон Бирон», «особливо нам любезно верный... через многие годы будучи в нашей службе при комнате нашей», — откровенно поясняла императрица.

Анна преувеличивала в указе о назначении Бирона, «удревняя» историю своих особых с ним отношений. Всего за два года до воцарения она слезно молила верховников, дабы они отпустили к ней задержанного в столице курляндского резидента П. М. Бестужева, связь с которым продолжалась у нее почти два десятилетия. Но верховники отпустили Бестужева именно тогда, когда им стало известно о появлении у Анны нового фаворита.

Бирон не имел длинной родословной. Правда, он попытался поднять документы о курляндских дворянах Биронах, известных с конца XVI века, но курляндское рыцарство сочло, что Бироны не представили действительных доказательств своего благородного происхождения. Позднее Иоганн Эрнст Бирон стремился привязаться к роду французских герцогов Биронов. В этом ему изо всех сил помогал Антиох Кантемир, находившийся в Париже в качестве русского посланника.

Иоганн Эрнест родился в 1690 году. Он учился в Кенигсбергском университете, но был изгнан оттуда за какую-то скандальную историю. В 1722 году ему пришлось длительное время отсидеть в Кенигсберге за драку, и его отпустили при условии уплаты 700 талеров штрафа. Сумма эта висела на нем в течение нескольких лет. В штате Анны он появился в 1718 году не без помощи П. М. Бестужева. Но в первый раз он пробыл там недолго: за попытку оклеветать

Бестужева и его сыновей перед Анной он был изгнан. Вторично он попадает ко двору Анны в 1724 году. Теперь он проявляет больше выдержки и умело использует длительное отсутствие прежнего фаворита. Вернувшись в 1728 году в Митаву, Бестужев быстро убедился в том, что оставленные им подопечные вполне столковались между собой, и ему оставалось жаловаться дочери (княгине Аграфене Волконской) о своей печали: «Чрез злых людей друг мой сердечный от меня отменился, а ваш друг более в кредите остался». Очевидно, с дочерью Бестужева у Бирона тоже были особые отношения. Если принять во внимание еще и то, что Бестужев пристраивал Бирона ради его сестры, то клубок и вообще не распутать. Тем не менее Бестужев, видимо, искренне плакался дочери: «Знаешь ты, как я того человека люблю, который теперь от меня отменился». Анна же, утешившись с Бироном и Левенвольде, потом не гнушалась и преследованиями своего прежнего долголетнего «голанта».

Еще Екатерина I, видимо от камергера Левенвольде, слышала, что Бирон «знал силу в лошадях и охотник к тому был». Это его качество отметил и австрийский резидент Остейн. Он заметил, что когда Бирон говорил о лошадях или с лошадьми, то он говорил как человек, а когда говорил о людях или с людьми, то говорил как лошадь. Но такой эрудиции вполне было достаточно для удовлетворения ближайших запросов не только императрицы или ее фрейлин, а и разного рода русских и иностранных деятелей. Кроме лошадей, у него была и страсть к картам. А это позволяло ему выглядеть вполне светским человеком.

У Бирона было и еще одно качество, делавшее его «легким» в обращении: он, как никто, умел брать, не стесняясь сам и не заставляя стесняться дающего. В России 30-х годов часто вставал вопрос о том, как плохо брать взятки. Но само собой разумелось, что Бирону надо давать во всех случаях, и при этом дающий считал себя облагодетельствованным. Наспех составленное в 1741 году «судное дело» успело зафиксировать сотни тысяч рублей, выжатых им из своих жертв. Но во много раз больше не попало в эту цифру. Бирона осыпают подарками вельможи, их супруги и дочери. Жена Черкасского нижайше благодарит его за «милости», оказанные супругу. Униженно заискивает перед ним цесаревна Елизавета, пресмыкаются родственники Анны, в том числе, казалось бы, всесильный С. А. Салтыков. Страстный обличитель людских пороков Антиох Кантемир участвует в бесчестной подделке, «устраивая» Бирону во Франции герцогский титул. Отовсюду к Бирону стекаются в качестве подарков лошади и драгоценности. Эту дань вынужден платить и Татищев. К Бирону присылают жалобы с солидным материальным приложением, и его благодарят за то, чего он никогда не делал. Неподкупный Маслов, боевой генерал Румянцев, возвращенный из ссылки, «птенец гнезда Петрова» Кириллов подписываются в письмах к Бирону «нижайший раб». Презирающие его иностранные резиденты наперебой предлагают весьма солидные суммы либо за продажу того или иного интереса, либо (даже чаще) за то, чтобы он не продал его кому другому. Уже в июне 1730 года австрийский посланник «пожаловал» Бирону диплом графа Римской империи, портрет императора, украшенный бриллиантами, и двести тысяч талеров, чтобы предотвратить возможность русско-французского союза. Два года спустя Карл-Густав Левенвольде получил гарантии, что Бирону будут выплачены двести тысяч талеров за подписание нужного Пруссии соглашения о Курляндии (обязательство избрать на курляндский стол в будущем сына прусского короля). Около того же времени Миних убеждал секретаря французского посольства Маньяна о необходимости «подарить» Бирону сто тысяч экю за поддержку идеи союза России с Францией. Еще более крупную взятку Бирон и Левенвольде получили за разрешение транзитной беспошлинной торговли английским купцам со странами Востока, что нанесло неисчислимый урон русскому купечеству. «Подарками» подстегивалось и значительное снижение пошлин на иностранные товары, проведенное по инициативе Остермана и не без участия Бирона. Расплачивались и непосредственно кровью русских солдат. В России подбирали для прусского короля рослых

гвардейцев. Русские полки посылались в помощь иностранным дворам без какой-либо выгоды для государства. Бесславные поражения понес Миних в войне за польское наследство. Практически безрезультатно закончилась четырехлетняя война с Турцией, унеся до сотни тысяч жизней и многие миллионы денег. А императрица на радостях по случаю заключения мирного договора презентовала Бирону, никакого отношения ни к победам, ни к поражениям в данном случае не имевшему, золотой сосуд, осыпанный бриллиантами, и пятьсот тысяч рублей (естественно, не вся сумма могла уместиться в сосуде). И это в условиях, когда нечем было платить даже боевым офицерам. Уже с началом правления Анны иностранные резиденты удивлялись тому, что «при неслыханной роскоши двора в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят».

Бироновщина в нашей историографии оценивалась обычно достаточно однозначно. Но в конце прошлого и начале нашего столетия появились работы Е. Карновича и В. Строева, в которых сделана попытка пересмотреть сложившийся взгляд на это явление. Обе работы, особенно вторая, тенденциозны, но не лишены заслуживающих внимания оценок и аргументов. Так, Е. Карнович признает, что «Бирон, несмотря на все его честолюбие, был личностью довольно ничтожною». Но он не без оснований говорит и о том, что русское дворянское общество этой поры лучшего и не стоило. После вспышки гражданских чувств 1730 года неизбежно должен был последовать отлив, тем более что восторжествовала, в сущности, идея оправдания раболепия, прикрываемая приверженностью к монархии. Внук знаменитого фаворита Софьи В. В. Голицына — Андрей Голицын и потомок князей Волконских исполняли при дворе Анны роли шутов. И маркиз де Шетарди имел основания сказать про русских вельмож, что они «знатны только по имени, в действительности же они были рабы и так свыклись с рабством, что большая часть не чувствовала своего положения». М. М. Щербатов, историк XVIII века, приводит характерный эпизод из этой эпохи: Бирон, у которого по пути в Митаву повредилась карета, созвал сенаторов и, осыпая их бранью, угрожал, что он «их вместо мостовин велит для исправления мостов положить». Щербатов обижался за сенаторов, с которыми так обращались. Е. Карнович справедливо заметил, что они того и стоили, если позволяли так с собой обращаться. В. Строев увидел в этом факте заботу о путях сообщения России.

Е. Карнович не без оснований возражает против попыток переложить всю вину на Бирона, как бы очистив саму императрицу и пресмыкавшихся перед ними обоими русских вельмож. Он цитирует Кантемира, который «видел в поступках ее мудрость многу, и сколь ей к истине расчищена дорога». Просвещенный Феофан Прокопович рассыпался приторными виршами вроде: «Ты наш ясный свет, ты красный цвет, ты доброта, ты веселие, велие». А. М. Черкасский по случаю мира с Турцией произнес на восемь страниц панегирик (от имени российского народа). Но от тех, кто явно (как Кантемир или Прокопович) или тайно (как Черкасский) ратовал за сохранение неограниченного самодержавия, ничего иного ожидать было и невозможно. А борьба велась на протяжении всего десятилетия бироновщины. Ключевский обращает внимание на то, что свыше двадцати тысяч человек было сослано в Сибирь, еще больше снималось со своих мест и бежало куда глаза глядят. Брожение неизменно захватывало и верхи русского дворянства, хотя проявлялось оно по-разному.

Еще один аргумент Е. Карновича заслуживает внимания. Он считает, что от иностранца в России нельзя требовать, чтобы он служил России так же, как это требуется, скажем, от русского дворянина: само собой разумеется, что иностранец бескорыстно служить не будет. Бирон этого никогда и не пытался скрывать. Он демонстративно отказывался учить русский язык и подчеркивал свое «невмешательство» в ход дел внутри страны. Можно только добавить к этому, что и сама Анна, и ее кабинет министров придерживались почти такой же точки зрения.

По замечанию известного историка прошлого столетия А. Градовского, «кабинет не любил заглядывать внутрь страны». «Вершина русской администрации, — поясняет он, — живет самую внешнею политическою жизнью. Россия для нее только средство для добывания сумм, нужных для того, чтобы участвовать в общем хоре западных держав». Это хорошо видели иностранные резиденты. По их наблюдениям, «цель двора достигнута, если в Европе говорят, что Россия богата».

Иностранцев поражало и то, что Россия, обладавшая колоссальными подспудными возможностями и проявившая несокрушимую мощь в Северной войне, как бы не знала, куда деть свои силы, и искала того, кто бы их как-то направил. Не без иронии в адрес и русских и немцев об этом говорит маркиз де Шетарди: «Немцы (если можно назвать так сборище датчан и пруссаков, вестфальцев, голштинцев, ливонцев и курляндцев) были этими первыми встречными; они и воспользовались руками и ногами этого народа и управляют его движениями». Другой иностранец замечает, что «Россия вела всегда войны со времени Петра, но не война истощила государство, оно истощено роскошью, дурным управлением министров, переводом за границу сумм, наконец, бесплодная распущенность, тщеславие и суетность разоряют государство».

Ценности, когда-то награбленные Меншиковым, в конечном счете вернулись в казну. С любимцами Анны Ивановны дело обстояло хуже.

В указе об аресте Бирона нисколько не преувеличивалось, когда временщику ставилось в вину, «что он несказанное число казенных денег и прочих дорогих вещей, к невозвратному государственному ущербу, похищал, и, к корыстным своим намерениям, по большей части вне государства себе в пользу употреблял».

В. Строев особенно настаивал на том, что и при Петре двор тратил не меньше Анны. Он воспроизводит известные данные о расходах на 1734 год, где из почти восьми миллионов на двор приходится лишь 260 тысяч и на конюшню 100 тысяч рублей. Но ведь в эти суммы не входят «внеплановые» расходы вроде указания А. Маслову 15 февраля 1734 года уплатить из доимочных денег за взятые «в комнату Нашу у Исаака Либмана алмазных вещей на 18 733 руб. 75 коп.». Очевидно, не из своего «скромного» дворцового капитала Анна жаловала своему фавориту единовременно полмиллиона. Самые разные ведомства участвовали и в печально знаменитом «представлении» под занавес бироновщины: свадьбе шутов («Ледяной дом»). Эта «свадьба» явилась позором не только роду Голицыных, чей отпрыск исполнял главную роль. Это было позором России, куда более постыдным, чем Нарва или Аустерлиц.

Со Строевым можно согласиться лишь в том, что в 30-е годы не было как таковых немецкой и русской партий. Во всяком случае, их не было при дворе, поскольку весь двор был слишком далек от действительных нужд России. Остерман, Бирон и Миних интриговали друг против друга (что, впрочем, не мешало им довольно солидарно грабить казну и вымогать взятки у иностранных дипломатов). Пожалуй, лишь Левенвольде проявлял «принципиальность», последовательно добиваясь привилегий для ливонского дворянства. Воюя по мелочам между собой, иноземцы, естественно, стремились опереться на местную знать, по возможности использовать ее в этой борьбе. И противостояла им также неоформленная «русская идея», сознание того, что от иностранцев России блага не дожидаться. Преображенский приказ был завален работой, искореняя проявления «русского» духа. Время от времени русское самосознание пробуждалось и у отдельных вельмож. Но А. Градовский опять-таки был прав, заметив, что «не центральным учреждениям было отразить иноземное влияние: возрождение России ждало свободного народа».

Расправа над многими видными вельможами осуществлялась Анной либо из-за мести, либо на всякий случай, дабы уничтожить возможных руководителей оппозиции. Поводом для расправы с Д. Голицыным послужило дело, возбужденное против Константина Кантемира его

мачехой. Голицына обвинили в содействии зятю. Из мелкой семейной дрязги создали в 1737 году крупный политический процесс. Князя приговорили к смертной казни, замененной заключением в Шлиссельбургскую крепость, где он скоро и скончался. Через два года расправились и со всеми Долгорукими, причем четверым из них (в том числе Василию Лукичу) отрубили головы. Опала коснулась и многих других фамилий.

При всех жестокостях эпохи в России крайне редко проливали кровь представители древних родов. Преступление должно было выглядеть чрезмерным. И в иностранной колонии дипломатов не поверили официальным обвинениям. Говорили о большом заговоре Долгоруких, Голицыных и других аристократических фамилий с целью низвержения Бирона с его неизменным наставником банкиром Липманом. С. М. Соловьев воспроизвел сообщение из немецких Байретских ведомостей от 7 января 1740 года, в котором говорилось о заговоре русских аристократов «с целью низвергнуть ненавистное иноземное правительство Бирона, придворного банкира иудея Липмана, без которого фаворит ничего не делает, и возвести на престол цесаревну Елизавету». Немецкий автор Э. А. Герман уверял, что Бирон «следует только тем советам, которые одобрит иудей по имени Липман, достаточно хитрый, чтобы разгадывать и вести интриги. Он один только посвящается в тайны герцога, своего господина, и всегда присутствует на его совещаниях с кем бы то ни было. Можно сказать, что этот иудей управляет Россией». Шетарди также полагал, что не Бирон, а Липман «управлял Русской империей». Исходя из этих данных, Покровский, в целом правильно оценивавший бироновщину как движение вспять по сравнению с правлением верховников, увидел в антибироновском выступлении «националистическую реакцию» и «резкие проявления антисемитизма». Эти проявления он находил в документе, где сообщалось, будто «еврей Либерман, придворный банкир и фаворит герцога курляндского, должен был быть предан в руки разъяренной черни».

Покровский допускал модернизацию, перенося понятие конца XIX века в первую половину XVIII. Вопреки его уверениям антисемитизм не распространялся на крещеных евреев, и, следовательно, речь может идти лишь об антииудаизме (юдофобии). Никто и никогда, например, не припоминал Шафирову его еврейского происхождения, хотя, казалось бы, антисемитам выгодно было это сделать при каждой очередной махинации этого «министра». Такой враг иноземцев, как Д. Голицын, даже пострадал в свое время, защищая Шафирова от угрозы справедливого, в общем-то, наказания. Но об антииудаизме, видимо, говорить было можно. После ареста Бирона «заплечных дел мастер» Ушаков ставил в вину Бирону жестокости своего собственного ведомства, а также то, что он «никакого закона не имел и не содержал». Очевидно, кое-кто и самого Бирона подозревал в тайной принадлежности к иудаизму. Ответ Бирона, будто ему негде было держать пастора, удовлетворить, конечно, не мог. В свою очередь, В. Строев отмечал в качестве примера гуманности Бирона, что «у себя в Курляндии Бирон очень протезировал евреям и вообще показывал широкую веротерпимость, как человек, затронутый современными ему философскими идеями». Правда, автор обошел другой факт: когда дочь Бирона перешла в православие, ей пришлось бежать из дому и просить защиты у самой Елизаветы — такова была ярость отца. Веротерпимость Бирона, следовательно, была довольно избирательной.

Сообщение о намерении отдать на растерзание «черни» Липмана вряд ли имеет под собой какое-либо основание. О нем знали лишь на самом верху, а также там, куда перекачивались награбленные в России деньги. Самое появление Липмана при дворе Строев объясняет финансовыми услугами, которые он оказал Анне в Митаве, и банкиру не было особой необходимости искать популярности за пределами двора. Бироновщина означала прежде всего централизованную систему грабежа страны.

Василий Никитич Татищев на первых порах также получил повышение. Он был обер-

церемониймейстером во время торжественной коронации Анны в апреле 1730 года. Ему пожаловали чин действительного статского советника, а также деревни с тысячью душ. Анна Ивановна в это время нуждалась в советах Татищева. До возвращения двора в Петербург беседы велись по самым разным вопросам. Демонстрируя внешне свою приверженность идеям Петра, Анна просит Татищева написать историю царствования императора. Естественно, она ожидала, что такой труд будет содействовать укреплению идеи самодержавия. Но Татищев уклонился от предложения, сославшись на то, что многим не понравится правдивое изложение событий, а писать неправду он не хочет. Видимо, не так просто было Татищеву изобразить и деяния самого Петра. Все равно о многом пришлось бы умалчивать, а кое-что изображать не вполне согласно с истиной. Другой обсуждавшийся с Анной вопрос касался создания «академии ремесел» в четырех отделениях: архитектуры, механики, живописи и скульптуры. В числе руководителей отделений должны были выступать Растрелли и Татищев. Из-за противодействия Остермана проект не был утвержден.

Не были осуществлены и многие другие предложения Татищева, тем более что с переездом двора в Петербург непосредственно Татищев воздействовать на императрицу уже не мог. В итоге лишь одним его мнением Анна не могла не заинтересоваться: исправлением денежной системы. Ничего нового в этом предложении не было. Но далее откладывать было нельзя, поскольку вставала угроза полного нарушения финансового обращения. В созданной в июне 1730 года комиссии о монетном деле Татищев стал фактическим руководителем и затем получил должность «главного судьи» в Монетной конторе.

Нетрудно, однако, представить, что Татищев просто не мог сохранить достигнутого на первых порах положения. Ни образ жизни, ни направление мыслей Анны не могли побудить ее приближать людей, заинтересованных в процветании отечества. Многочисленные и разнообразные предложения Татищева ей попросту докучали. Вдобавок у Татищева сразу установились враждебные отношения с Бироном, влияние которого на Анну он, возможно, поначалу и недооценил. Враждебность Бирона, конечно, нельзя было уравновесить какими угодно заслугами перед отечеством: в глазах Бирона они вообще не имели цены, а Анна нередко даже и незаметно для себя смотрела на вещи глазами Бирона. Никогда не был в числе доброжелателей Татищева и Остерман. В декабре 1731 года во главе монетного дела Анна поставила сына Гавриила Головкина — Михаила (1705-1775), произведенного также в сенаторы. Такое возвышение молодого Головкина связано было, естественно, не с его деловыми качествами и даже не с заслугами отца в деле сохранения за Анной неограниченной власти, а с женитьбой Михаила на двоюродной сестре Анны — Ромодановской. Назначения были своеобразным свадебным подарком великодушной императрицы.

Михаил Головкин был достаточно дельным работником, небезразличным к государственным интересам. Однако не настолько, чтобы во имя этих интересов отказаться от собственной выгоды и незаслуженной чести. Да и Татищев не мог переносить, когда люди значительно более молодые возрастом и опытом начальствовали над ним. Бирон ловко воспользовался ситуацией, чтобы, как позднее отмечал Татищев, «ссоривать» его с Головкиным. Да и надо было совсем немного: Татищев был почти вдвое старше Головкина и неизмеримо крупней его как знаток монетного дела. Избавиться от человека несравненно более знающего и заслуженного — стремление многих молодых «начальников».

Случай устранить Татищева вскоре представился. Еще в сентябре 1731 года компания из десяти человек во главе с неким Корыхаловым заключила с казной контракт, по которому обязалась скупать у населения старые серебряные монеты и переплавлять на установленную норму. За два года компания выменяла более 4,5 миллиона рублей старой монеты. Прибыль казны от этой операции составила 13,5 тысячи рублей, а прибыль компанейщиков свыше 82

тысяч. Рассорившийся с компанией ее участник донес Головкину о разных злоупотреблениях, совершавшихся компанейщиками, возложив определенные обвинения на членов Монетной конторы, в том числе и на Татищева. Татищев был отстранен от должности главного судьи и предан суду за содействие компанейщикам.

Факты, упоминавшиеся в деле, по всей вероятности, соответствовали действительности. Но оценка их была различной. Компания выполнила большую работу, выменяв свыше трети всех неполноценных серебряных монет. Поскольку речь шла о приостановке инфляции, то ожидать дохода казне, по мнению Татищева, и не следовало. «Хотя бы казне и той прибыли не было, — писал он незадолго до этого, — то довольно, что лучшую и весьма порядочную монету в государстве иметь будем, чрез что, кроме пользы в купечестве, слава государственная более прибыли почитаться может». Лишить же прибыли компанейщиков, резонно рассуждал Татищев, значит нанести ущерб самому желанию участвовать в любого рода компаниях. Все его предложения всегда сводились к поощрению компаний и частного предпринимательства, хотя было очевидно для всех, что ни одна компания не обходилась без больших или меньших злоупотреблений.

Татищев, его коллеги по Монетной конторе, А. Маслов и другие лица за содействие получали от компанейщиков ту самую «мзду», которая фигурировала в деле 1723 года, тем более что, как отмечалось, жалованья и при новом правительстве не платили. Сами компанейщики на суде говорили, что Татищев не вернул им три тысячи рублей, взятых в долг. Татищев же позднее в письме к И. А. Черкасову объяснял все интригой Бирона и Головкина, стремившихся захватить доходное место в свои руки.

Вопреки сомнениям некоторых историков дело, видимо, так и обстояло. По представлению Головкина новый контракт был заключен с донесшим на коллег Дудоровым, которому позволялось набрать компаньонов по своему усмотрению. Новая компания развернула такую бурную деятельность, что сразу попала в поле зрения А. Маслова. Незадолго до смерти он доносит императрице о хищениях президента Коммерц-коллегии Шафирова и его коллег сенаторов, которые за три года вообще не дали каких-либо отчетов о расходах. Другим явным притоном явилась контора Михаила Головкина. Из-за болезни Маслов воздерживался говорить подробно «о конечном упущении монетных дворов». Но он напоминает о том, что «эти господа знают, что я молчать не буду». Перед угрозой разоблачения сенаторы устроили настоящий заговор против Маслова, «трудятся уже несколько дней, не только пересылаясь между собой по делам, но и в Сенате советуются, выслав вон обер-секретаря и секретарей».

«Конечное упущение монетных дворов» могло явиться, конечно, лишь следствием отстранения Татищева, поставившего на твердую почву и техническое оснащение дворов, и финансовую систему страны. Будучи много лет в курсе деятельности Монетной конторы, Маслов не мог не видеть, что отстранение Татищева вызывается отнюдь не деловыми соображениями. Но вряд ли он смог бы действительно осуществить свою угрозу в адрес Михаила Головкина и некоторых других вельмож: Анне важно было иметь на каждого компрометирующий материал, а кого она накажет, это могла определить она сама с ближайшим своим окружением.

Одно из поразительных (а в сущности, закономерных) явлений эпохи бироновщины заключается в том, что те же лица, что беззастенчиво расхищали богатства страны, устраивали и процессы с обвинениями во взяточничестве того или иного русского администратора. Так, уже в 1730 году был привлечен к суду за разные злоупотребления, в том числе за взятки, Артемий Петрович Волынский, бывший губернатором в Казани. В изыскании источников доходов Волынский никогда не был особенно щепетилен. Да он не слишком и скрывал это. Он признавался в получении взяток в письме к дяде — упоминавшемуся родственнику царицы

Семену Андреевичу Салтыкову. Признался он и на суде, например, в получении 2500 рублей за освобождение ясачного населения от корабельной повинности (были с его стороны и иные поборы). Но ему удалось уйти от серьезного наказания, во-первых, благодаря заступничеству дяди, во-вторых, путем вручения «заинтересованным» лицам весомых «подарков». К чести Салтыкова должно заметить, что он резко осудил поведение племянника и как губернатора, и как человека. Напротив, Бирон разыграл роль друга-покровителя, спасавшего человека, попавшего в беду. Волынский надолго попал в круг лиц, обязанных своим положением Бирону.

Положение Татищева в 1733 году оказалось куда более сложным. Хотя чисто финансовые начеты на него были относительно пустяковыми, выплатить их лишь за счет доходов с деревень было для него нелегко. К тому же, как можно понять из его более поздних записок, он был последовательным противником перекалывания на крестьян такого рода чрезвычайных расходов. Главное же заключалось, конечно, в чисто моральной стороне: его стремились опорочить, лишиться возможности влиять на кого-либо из окружения императрицы. Михаил Головкин готов был требовать самой суровой расправы с Татищевым. Поэтому последовавшее в марте 1734 года решение Анны закрыть это дело и отправить Татищева на Урал выглядит неожиданной милостью.

Позднее, однако, Татищев объяснял свое назначение как ссылку. В письме к М. И. Воронцову в 1748 году он связывал ссылку даже и не с монетным делом, а со своим представлением императрице проекта об устройении училищ и распространении наук. Татищев уверял, что «ея величество милостиво и с благодарением изволила принять, но злостию немцев не токмо то опровергнуто, но я в Сибирь под видом милости или пользы заводов отлучен». И этим указанием Татищева нельзя пренебречь: записка осела именно в делах Бирона. Вопрос может заключаться в другом: почему проект вызвал такую реакцию? По подсчетам Татищева, в 1733 году обучалось всего 1850 человек, из которых лишь пятьдесят человек учились ремеслам. Тратилось же на это обучение 160 тысяч рублей. Татищев же предлагал такой порядок обучения, который позволил бы довести число учащихся до 21 тысячи с сокращением общих затрат на 50 тысяч рублей.

Проект Татищева предусматривал примерно ту систему, которая сложится в России к концу XVIII столетия. Он предлагал создание училищ трех типов. «При всех городах сначала до 120 или 200 семинариев для мужских и женских персон» должны были принять 12 тысяч учащихся. В этих школах дается начальное образование. Следующей стадией должны были явиться гимназии «для произведения нижних и предуготовления к высоким наукам». Для начала Татищев считал достаточным открытие гимназий в четырех городах с 6000 учащихся. И наконец, два высших заведения: «академии или университета» «для произведения в совершенство в богословии и философии и со всеми частями». Здесь должно было обучаться 2000 учеников. Несколько расширялся также открытый в 1731 году Кадетский корпус. «Для пользы мануфактур и всяких ремесел» опять-таки предлагалось учредить две академии с 500 учениками.

Нет ничего удивительного в том, что проект Татищева не был принят: правительство не видело смысла в столь широком распространении образования. Но кажется странным, что этот проект послужил одной из причин гонений на Татищева. Причина может заключаться лишь в резкой критике Татищевым существующей системы (или бессистемности) образования, особенно образования, получаемого через Академию наук, целиком захваченную немцами. Татищев воспользовался случаем, чтобы еще раз напомнить, какое это дорогостоящее и бесполезное учреждение — Академия наук.

В Академии наук обучалось в 1733 году 120 человек, а расходы на них составляли 25 тысяч. Это был самый высокий расход на одного обучающегося. Исходя из того, что учились там преимущественно немцы, а выгоды от этого государство никакой не имело. Татищев предлагал

регулярное обучение при академии закрыть, а расход на нее по этой статье сократить до семи тысяч. Естественно, что предложения об экономии средств не могли не заинтересовать императрицу. Но так же естественно, что ее немецкое окружение не позволило бы экономить за его счет. Напротив. Любая экономия в это время в те же карманы и стекалась. Татищев явно переоценивал рвение императрицы отдавать все силы благу отечества. Там, где затрагивались личные или корпоративные интересы временщиков и фаворитов, государственные потребности отодвигались и задвигались, а напоминая о них служащий немедленно становился объектом всеобщего негодования. Нужен был повод. И он нашелся. Казнокрады, распорядившиеся едва ли не всем государственным доходом по своему произволу, державшие даже собственных чиновников на «подножном корму», разыгрывали роль непорочных блюстителей законности.

После возвращения двора в Петербург Татищеву было практически невозможно не только влиять, но и непосредственно общаться с императрицей. Поэтому резкий поворот в судьбе Татищева не может связываться с собственным ее настроением. Кто-то просил Анну о закрытии дела, может быть, даже и без ведома самого Татищева. И видимо, ходатаями были в первую очередь С. А. Салтыков и А. С. Маслов. Салтыков в 1734-1737 годах (он был московским генерал-губернатором) являлся едва ли не первым в числе частных корреспондентов Татищева, а участие Маслова заметно в данной Татищеву инструкции.

Именно в 1733 году была создана Комиссия по приведению в порядок казенных горных заводов. В состав этой комиссии вошли и М. Головкин и А. Маслов. Эта комиссия должна была выработать предложения по подъему убыточных казенных предприятий и, естественно, пересмотреть состав лиц, занятых в управлении ими. Работа в комиссии обнажила не только разный подход к решению основных экономических вопросов Масловым и Головкиным, но и побудила обер-прокурора внимательнее присмотреться к деятельности Монетной конторы, перешедшей в руки его коллеги. Довести последний вопрос до конца Маслов не успел и, возможно, все равно не смог бы. Летом 1735 года Сенат специальным решением одобрил деятельность Головкина, дабы пресечь разговоры, связанные с угрозой разоблачения. Но в комиссии прошло именно мнение Маслова.

Помимо своей основной должности, в рассматриваемое время А. Маслов возглавлял еще Доимочный приказ. В годы правления верховников аппарат выбивания податей с крестьян и другого населения был существенно ослаблен. Это привело, естественно, к резкому сокращению поступлений в казну. Но это же в какой-то мере позволило несколько передохнуть деревне, на что, в частности, и рассчитывали некоторые верховники. Теперь Бирон загорелся мыслью о недобранных миллионах. Взыскивать их поручили Маслову.

Картина, представшая взору обер-прокурора, была гнетущей. Далеко не всегда ослабление давления сверху приводило к облегчению в самом низу. Помещики спешили использовать передышку для двойного обирания: крестьян и казны. И Маслов решительно встает на защиту крестьян, раскрывая в рапортах императрице и Бирону глубину обнищания трудового населения, а также разоблачая хищничество «бессовестных» помещиков, чиновников и самих правящих верхов. Маслов не побоялся сообщить, в частности, о том, что хлеб из мякины и коры едят крестьяне даже в вотчине одного из богатейших людей России, А. М. Черкасского. Ничуть не лучше было положение и в вотчинах М. Головкина, крестьяне которого к концу правления Анны пришли «во всеконечную скудость и разорение» от произвольных поборов.

По настоянию Маслова часть недоимок была снята. Он предлагал и более действенные меры, настаивая на выработке особого уложения — «учреждения», где были бы ограничены и четко определены крестьянские повинности, а также предусмотрены обязанности помещиков по отношению к крестьянам. Это был, конечно, вызов: сенаторы, которых по должности приходилось в первую очередь контролировать Маслову, даже приблизительно не удовлетворяли

требованиям обер-прокурора. Ясно, что никаких последствий представление Маслова не имело. Но несколько лет спустя с этими идеями придется встретиться в ряде записок Татищева. Очевидно, по настоянию Маслова в инструкцию Татищеву был включен и вопрос о сравнительной производительности вольнонаемного и крепостного труда. Но на расчеты Татищева после смерти Маслова отвечать было уже некому.

*Смелые мысли играют роль передовых шашек в игре;
они гибнут, но обеспечивают победу.*

Гёте

Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам.

Гастон де Левис

Шестилетнее пребывание в Москве как бы завершало самообразование Татищева, хотя сам он считал этот процесс бесконечным. Здесь он сталкивался со всеми мыслящими людьми эпохи, имел доступ ко всем лучшим книжным собраниям. Близость к верхам общества заставляла его искать решения, практически осуществимые, а участие в сложной политической борьбе и неприятности по службе побуждали больше размышлять и об общественном устройстве, и о природе человеческой.

В 1733 году Татищев в основном завершил свой важнейший философский труд «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ». «Разговор» выполнен в форме вопросов и ответов. В основе его лежат споры с Сергеем Долгоруким, дополненные затем дискуссиями с Феофаном Прокоповичем, Алексеем Черкасским и профессорами из Академии наук. Князь Долгорукий — это, видимо, брат антагониста Татищева, Алексея Григорьевича. Он вернулся в конце 1729 года из Польши и затем разделил печальную судьбу своих родичей. С конца 20-х годов, очевидно, Татищев и писал этот свой труд.

«Пользу» наук в это время необходимо было еще доказывать. Положение в обществе определялось не личными способностями и знаниями, а происхождением, наследственными владениями и связями того или иного лица. Всякий мог привести примеры того, что «неученые в великом благополучии, богатстве и славе, а ученые в несчастии и презрении находятся». И Татищев с этим согласен. Он лишь полагает, что неученый в жажде богатства и почестей всегда неудовлетворен, тогда как ученый «совестию спокоен», а знания для него «равно как бы он вся земли владетель был».

Обычно и в теории и в практике главным мерилom для Татищева являлась «общая польза». В данном случае он к той же идее подходит с позиций личности. Человек был поставлен в центр мироздания эпохой Возрождения. Реформация от этого принципа отступила. Но в теории «естественного закона» он получил дальнейшее развитие.

С точки зрения истории философии теория естественного закона являлась классическим выражением метафизики. Его теоретики не осознавали развития основополагающих элементов системы. Но естественный закон пришел на смену божественному. Это была необходимая форма освобождения светского знания от схоластики, своеобразная пропаганда того способа мышления, который привносил с собой ранний капитализм. В России хорошо знали труд С. Пуфендорфа (1632-1694) «О должности человека и гражданина по закону естественному», переведенный на русский язык Гавриилом Бужинским. Наиболее образованные мыслители и администраторы знали также и другие сочинения эпохи раннего просветительства. Татищев, в частности, ссылается на немецкого философа Христиана Вольфа (1679-1754), который одно время собирался переехать в Россию. В «Разговоре» активно используется также «философский словарь» другого немецкого философа И. Г. Вальха (1656-1722), имевшийся в библиотеке Татищева. Популярность естественного закона во всех науках конца XVII — начала XVIII века

делала почти неизбежным обращение к нему всех авторов, претендовавших на «современность». Но при этом возникал весьма широкий спектр мало похожих друг на друга представлений. Естественный закон постоянно упоминается, например, в рассуждениях архиепископа Феофана Прокоповича. Но Татищев идет не от Прокоповича, а от более светского понимания сущности этого закона.

Теории естественного закона не были ни материалистическими, ни идеалистическими. Но они не закрывали пути ни к тому, ни к другому. Прокопович принимал идеалистическую их трактовку. Он пытался использовать естествознание для доказательства существования бога. Как духовное лицо Прокопович и не мог идти дальше. Да вряд ли он и намеревался это делать. Очевидно, некоторые темы и особенности их освещения в рассуждениях Татищева навеяны именно спорами с Прокоповичем. И в оттенках являются существенные расхождения.

Теории естественного закона не порывали с библейской легендой о сотворении мира. Для Прокоповича критериями истины в равной мере были и Библия и опыт. И Татищев верит, что человек состоит «из вечного и временного, то есть души и тела». Однако он не хочет «отягощать» собеседника этими предметами. Важнее знать, что человеку «полезно и нужно и что вредно», то есть познать «добро и зло».

Библия как критерий истины Татищеву явно мешает. Грех Адама, по Библии, и заключался в стремлении познать добро и зло. Татищев настаивает на том, что «не слова, но разность состояния и следствия разуметь должно», то есть надо истолковывать не выражения Библии, а те обстоятельства, которые там описаны. Так, Адаму можно было и не знать зла, поскольку его еще не было в природе. Теперь же человек обязан учиться, чтобы избавиться от него.

Много лет за Татищевым тянулся шлейф подозрений в еретичестве и неверии. В 1714 году в Лубнах Татищев настоял перед фельдмаршалом Шереметевым на освобождении приговоренной к сожжению «колдуньи», чем мог напугать окружение фельдмаршала едва ли не более, нежели самым изощренным ведовством. Выше приводилась придворная сплетня о реакции Петра I на вольнодумство Татищева, упоминалось о наговорах Родышевского. Весьма резкий характер принимали и столкновения его на этой почве с Прокоповичем. Татищев стремился снизить значение Священного писания как средства познания мира. Прокопович вставал на защиту «богодуховности» Библии.

Об одном характерном столкновении рассказывает сам Прокопович. Речь коснулась библейской «Песни песней». Татищев, «поворотя лицо свое в сторону, ругательно усмехнулся», «поникнув очи в землю с молчанием и перстами в стол долбя, претворный вид на себя показывал». Заподозрив сомнение, Прокопович поставил вопрос: что ему на ум пришло? Татищев решился высказаться откровенно: «Давно... удивлялся я, чем понужденные не токмо простые невежи, но и сильно ученые мужи возмечтали, что Песнь песней есть книга Священного писания и слова божия? А по всему видно, что Соломон, разжизася похотию к невесте своей, царевне египетской, сия писал, как то у прочих, любовию зжимых, обычай есть, понеже любовь есть страсть многоречивая и молчания не терпящая, чего ради во всяком народе» ни о чем ином так многия песни не слышатся, как о плотских любезностях».

Прокопович признает, что он не нашелся, что возразить Татищеву. Он лишь пообещал написать трактат, что некоторое время спустя и выполнил. Написанный незадолго до событий 1730 года трактат носил недвусмысленное название: «Рассуждение о книге Соломоновой, нарицаемой Песнь песней, яко она есть не человеческого, но духа святого вдохновением, написана от Соломона, и яко не плотский в ней разум, но духовный и божественный заключается, против неискусных и малоразсудных мудрецов легко о книге сей спомышляющих». Никаких иных «малоразсудных мудрецов», кроме Татищева, в числе оппонентов Прокоповича, очевидно, и не было. Но крепкие выражения, конечно, не могли заменить действительных

доказательств, и если в чем-то и мог трактат убедить Татищева, то это в том, что нужно быть осторожным в выражении своих сомнений. Тем не менее позднее, в «Лексиконе», Татищев открыто настаивает на том, что «в делах философских или естественных не потребно никакое от письма доказательство, зане оно само собою, то есть природными обстоятельствами, утвердиться должно».

В «Разговоре» Татищев находит такой поворот, который позволяет ему избавиться от необходимости обращения к Библии, не ставя себя самого под непосредственный удар ревнителей правоверия. Теория естественного закона предполагает деизм в истолковании вопросов веры: бог признается в качестве первоотчка, но затем естественные законы действуют независимо от него. С естественным законом сосуществует и письменный «божеский» закон, отраженный в Библии. Но божественный закон дошел не непосредственно, а через пророков, то есть людей. Люди же сами подвержены влиянию естественного закона и естественных побуждений. Поэтому-то необходимо согласовывать их понимание «слова божия» с тем, что вытекает непосредственно из естественного закона. В итоге естественный закон становится критерием истины и для библейских текстов. «Церковный» же закон, разработанный «властолюбивым» и «сребролюбивым» духовенством, и вообще лишается какого-либо самостоятельного значения и нуждается в строгой проверке с точки зрения соответствия его естественному и божественному законам.

Постановка естественного закона во главу угла и в оценках, и в процессе познания неизбежно толкала Татищева от деизма к пантеизму — учению, растворявшему бога в природе и являвшемуся одной из форм материализма в эту эпоху. Так, говоря о зарождении зла, Татищев упоминает и понятное собеседнику «преступление» Адама, и, очевидно, более кажущееся ему самому достоверным «повреждение природы». Очень часто ему приходится останавливать себя именно там, где разногласия божественного закона с естественным нельзя устранить без явного ущерба для первого.

Вразрез с богословской традицией Татищев отказывается обсуждать вопрос о происхождении души и ее местопребывании. По его заключению, вопрос этот «можно положить за неведомый или непостижимый, зане славнейшие древние и новые философы, а особливо Невтон и Лейбниц решить отrekliся». Элемент агностицизма в данном случае служит средством уклонения от схоластического спора. Но он подводит собеседника к мысли о тесном взаимодействии души и тела.

Ум и воля традиционно признавались неизменными свойствами души, что исключало возможность их совершенствования. Татищев же напоминает, что древние философы волю и страсти относили к качествам телесным, то есть материальным. В итоге ум «яко царь властвует, а воля влечет на всякое хотение». И человеку нужно «прилежать, чтоб ум над волей властвовал».

Воля выражается в естественных стремлениях человека: любочестии, любоимении и плотоугодии. Качества эти жизненно необходимы. Но они уподобятся лошади без узды, если не будут направляться умом. Честолюбие предохраняет от дурных поступков. Но чрезмерные гордость и властолюбие могут к ним повести. Любоимение побуждает к трудолюбию и бережливости. Стремление же к роскоши может оказаться губительным. Плотоугодие обеспечивает и сохранение жизни, и ее продолжение в потомстве. Аскетическое «умаление» естественных стремлений вопреки христианскому идеалу Татищев находит вредным. Он предостерегает, чтобы «сии слова какому пустосвяту или паче суеверному ханже... на зубы не попадись, каковые по их злой природе яко пауки и от доброго цветка яд произносить обыкли». Ветхозаветному «Закону письменному» он противопоставляет наставление апостола Павла, который «воспрещение брака учением бесовским имянует». Продолжение рода, по Татищеву, обязанность человека. О вреде же «избыточественного к женам любления» каждому «довольно

известно».

Подобным образом оценивает Татищев и требование соблюдать посты. Он в равной мере осуждает «избыточество и недостаток». Любое полезное дело превращается в свою противоположность при утрате чувства меры. «Все внутренние болезни, — полагает Татищев, — ни от чего иного как объядения происходят». Врачи свидетельствуют, что «тысяча раз более от избытка пищи и питья употреблением сами себя убивают», чем умирают от голода. Человек должен знать, что полезно и что вредно для его организма, и этим знаниям следовать. «Изнурение постом» может превратиться в социально опасное дело, когда от него страдают лица, ответственные за судьбу других людей.

Показав «телесную» основу воли человека, Татищев с той же мерой подходит и к другому признаку «души» — уму. Память, смысл и суждение признавались врожденными и в рамках естественного закона. Татищев взывает к здравому смыслу собеседника: всем очевидно, что разные люди обладают названными качествами в различной степени. И это потому, что «наши члены от частого употребления к действию обыкают». И подобно тому, как обретают «способности» «внешние члены», должны совершенствоваться и «внутренние». «Частое употребление» или обучение способствует «внятному понятию, твердой памяти, скородвижному смыслу и порядочному суждению». Иными словами, формальное признание существования бессмертной души не мешает убеждению, что реальное проявление ее свойств вполне материально и управляется материальными же законами.

Связь обучения с материальной сущностью организма доказывается и восприимчивостью к обучению животных, у которых духовной сущности богословами вообще не предполагается. Правда, этот аргумент можно повернуть и в другую сторону: животные и «без всякого научения благополучны». Но животное оберегает изначальная приспособленность к внешней среде. Наиболее же разумное из творений — человек — такой защиты лишен. «Ежели б не помощь других людей жизнь его содержала, — заключает Татищев, — тоб, конечно, смерть купно с началом живота являлась». И в этом, оказывается, заложен большой смысл: дабы человек «помощь ближнего всегда полезною и нужною почитал, и для того любовь взаимно показывать тщился, сам наиболее, нежели оные о своем благополучии прилежал». Поскольку природа не дала человеку естественной защиты, он должен выработать ее сам во взаимодействии с другими людьми.

Жизнь человека, переходит Татищев к другой теме «Разговора», составляется из младенчества, юности, мужества и старости. И на каждом отрезке человеку необходимо учиться. Младенчество — это время почти полной его беспомощности, и потому сплошной период обучения. «Воля к благополучию» у младенца ограничивается желанием есть, пить, спать, играть. Но он любопытен: «о всем спрашивает и знать хочет». Этот естественный интерес необходимо использовать «к научению легких наук, о котором не много думать надобно». Хорошо, например, усваиваются в этом возрасте языки.

Опасности подстерегают человека и в юности. Юноша «за наивысшее благополучие почитает» «музыку, танцевание, гуляние, беседы, любовь женскую, любодейство». Без совета старших он может наделать немало глупостей. Вместе с тем в этом возрасте доступны многие науки, требующие «разсуждения».

В пору мужества (от двадцати пяти до пятидесяти лет) человек наконец овладевает «совершенным смыслом и догадкой», а также «довольством разсуждений». Тогда ж у него является страсть «любочестия», появятся славолубие, храбрость и мужество. Из этих естественных качеств проистекает и жажда власти, презрение к другим, стремление поставить себя выше других. Дела теперь совершаются по всестороннему «разсуждению» и «совету». «Собственное искусство» совершенствуется в ходе обучения и общения с другими людьми, от

которых необходимо постоянно принимать советы.

В старости стремление к роскоши и любочестию уступает место любоимению, которое грозит превратиться в стяжательство и сребролюбие. В этом возрасте особенно важно «чтение законных и гисторических книг», где «разные наставления и примеры в научение себе находим». В итоге — «человеку нужно век жить, век и учиться». «Человеку ученье свет, а неученье тьма есть», — заключает Татищев.

Библейская история «рай» на земле оставляла в прошлом. О «золотом веке» далекого прошлого говорили и древние поэты. Скептическому собеседнику эти представления кажутся фактами, и он видит в них доказательство отсутствия связи между благополучием и учением. В ответ на это Татищев отвергает уже не отдельные сюжеты Библии, а ее историческую концепцию в целом.

В духе естественного закона развитие человечества Татищев рассматривает как нечто цельное, проходящее те же этапы, что и отдельный человек. В разных формах такое представление будет держаться вплоть до XX столетия (например, у одного из приверженцев позитивизма, Г. Спенсера). У Татищева оно имеет определенное своеобразие, навеянное духом Просвещения. По Татищеву, младенчество — это время «до обретения письма», юность — с «пришествия и учения Христова», «мужеский стан» — с «обретения-тиснения книг», то есть книгопечатания. Развитие и распространение просвещения, в рамки которого вводится и христианское вероучение, является показателем восхождения к истине и благополучию.

Татищев соглашается с тем, что младенчество человечества начиналось в условиях непосредственного общения человека с богом. Но человек не становился от этого лучше, так как не было письменности, посредством которой можно было бы закрепить положительный опыт предшествующих поколений. Из-за отсутствия письменности «мало им такое наставление помогало, и большая часть ослепяся буйством в невежество суеверия впали, сквернодействия и свирепости, якоже прочия самим вредительные обстоятельства и поступки за благополучие и пользу почитали».

Согласно церковным книгам «в те времена только святых отцов и праведных мужей было, что ныне и в тысячу лет столько видеть не можем». Но такое представление, по Татищеву, возникает из-за несоизмеримости сходных явлений в разные эпохи. «Как в темноте нам малая искра более видима, нежели в светлое время великий огонь», или «яко во младенцы малое что-либо умное видим, с удивлением хвалим, а в возрастном то же самое или гораздо лучшее уничтожаем», так и «о тогдашних мужах пред нынешними гораздо более удивляемся и их поступки похваляем». У первых людей еще и не было особых причин совершать зло. Однако они его совершали. Бог был бессилен предотвратить развитие дурных наклонностей, заложенных в человеческой природе. Лишь с началом письменности положение улучшается. А за первые триста лет христианства «1000 раз более, нежели от начала света, благочестивых мужей явилось». Как и все ранние просветители, Татищев полагал, что письменность сама по себе уже служит добру, а не злу, а противодействие мракобесов распространению просвещения как бы подтверждало правильность этого убеждения.

Первоначально «истинная вера» была открыта — согласно Библии — одному еврейскому народу. Но он не стремился ей следовать. «Как злость и убийство природное в них когда воспреимуществовало, ...наконец же в такое заблуждение пришли, что в законах человеческого оного и не видеть было». «Великой переменой» явилось изобретение письменности. В разных местах появились люди, которые стали «законы сочинять». Книги доносила потомкам опыт предшествующих поколений и народов. Искоренению пороков препятствовало лишь язычество. Борцов же против него осуждали как атеистов и еретиков.

Имена древних мыслителей ко второй четверти XVIII века уже стали привычными для

образованной прослойки русского общества. Они постоянно упоминались в сочинениях, излагавших разные стороны естественного закона и права, в философских курсах духовных училищ. Постоянно присутствуют они в трактатах Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира. Но у Татищева все это получает существенно иное освещение.

Прокопович склонен был решительно отвергать все, что могло рассматриваться как подрывающее основы веры. На этом основании он учение Эпикура третировал как абсурдное и безбожное. По тем же причинам и А. Кантемир считал «слабыми в своих смятениях» всех «философов эпикуровской секты». Татищев находит иной угол зрения, позволяющий ему как бы уклониться от высказывания по тому вопросу философии, который уже вставал как «основной», и в то же время взять под защиту мыслителей прошлого, в частности, и от нападков со стороны своих ближайших собеседников. По Татищеву, служители культа исстари являлись обманщиками, вводившими в заблуждение «простой народ». Им извечно противостоит наука. Пифагор, Эзоп, Сократ, Платон, Эпикур с помощью науки или нравочений стремились удержать людей от зла и наставить на добро. Но «по неразумности людей вместо благодарения имя афеистов получили и от многих проклинаемы были, а Сократ принужден, отраву выпив, умереть». Просвещение, борьба со злом — вот высшая истина. И этой истине следовали древние мыслители.

В атеизме обвинялись и некоторые другие мыслители древности. Татищев называет Ксенократа, Диогора, Феодора Киренаика, Анаксимандра. Однако и в этом случае обвинение не может быть принято, «понеже их собственных книг не осталось, остались токмо те изъятия, которые пишущие противо их показывают, и для того оное за истину принять не можно». Направленность такой аргументации очевидна: Татищев на стороне тех, кого обвиняют в атеизме. «И ныне, — намекает он на некоторые обвинения в собственный адрес, — многие противу других пишущие по злобе не сполна речи противников своих берут, и доказательства или изъяснения утаивают и тако неповинно клеветуют».

Для обвинений в атеизме Татищев вообще не видит оснований. Язычники верят во многих богов. Поэтому они, конечно, не атеисты. Не атеисты и те, кто осуждал языческие предрассудки. Наоборот. Они с помощью науки шли к истинному богу, так как «человек по естеству познать бога способность имеет, если токмо внятно и прилежно о том помыслит». В понимании Татищева, все крупнейшие мыслители своими достижениями способствовали «познанию бога», поскольку бог и воплощается в истине. «Те, — говорит Татищев, — которые наивящше о боге учили, тех неразумные не токмо афеистами называли, но и смертию казнили, как то читаем: Епикур за то, что поклонение идолом и на них надежду отвергал и сотворение света не тем богом, которым протчие приписывали, но невидимой силе, или разумной причине присвоил, ...от стойков многими неистовствы оклеветан, якобы тварь самобытну учил, и за то афеистом именован». Снова на равных началах выступают «невидимая сила» и «разумная причина», а божество, по существу, сливается с извечно существующей природой.

Сократ, по Татищеву, также выступает как бы предтечей христианства. Хотя он был «злочестиями и безбожеством оклеветан и на смерть осужден, но потом не токмо от язычников за премудрейшего во всей Греции почтен, но и христианские учителя, яко Устин Мученик, тако и другии святии отцы его хвалили и о его спасении не сумневались». Иными словами, Сократ удовлетворяет тому идеалу, который христианство вкладывало в образы праведников.

Познанию истинного бога служат также рассуждения Платона и Аристотеля. Последнего обвиняли в атеизме и при жизни, и позднее римские папы. Но он был также «от многих учителей церковных, яко Тертуллиан, Иероним, Августин и проч., похвален». Сенека также «за учение благочестнаго жития пострадал и умерщвлен». В итоге лишь «невежды умных и ученых людей безбожниками, или афеистами, называли, оное наиболее от злости и сущего буйства и

невежества происходило, да сему и дивиться не можно, ибо недостаток просвещения наибольшею того причиною был».

Ужаснее всего то, что христианство мало что изменило. «Видим бо высокого ума и науки людей невинно тем оклеветанных и проклятию пап преданных, как-то Вергилий епискуп за учение, что земля шаровидна, Коперникус за то, что написал: земля около солнца, а месяц около земли ходит... Пуфендорф за изъяснение естественного права». Все они сначала были прокляты и объявлены атеистами, но затем нехотя папы были вынуждены признать истинность их учений.

В изложении Татищева получалось так, что на пути к истинному богу вставала прежде всего папская власть. «Колико сот человек в Италии, Гишпании и Португалии, — говорит он, — чрез инквизицию ежегодно разоряют, мучат и умерщвляют токмо за то, что кто с папою не согласует или его законы и уставы человеческими, а не божескими имянует, а большая того причина властолюбие и сребролюбие папов». Недалеко ушла и православная церковь: «Не без сожаления довольно видимо было как-то Никон и его наследники над безумными раскольники свирепость свою исполняя, многия тысячи пожгли и порубили или из государства выгнали, которое вечнодостоинныя памяти Петр не именем, но делом и сущою славою в мире великий, пресек и не малую государству пользу учинил». Напоминание это было весьма кстати, поскольку с 30-х годов возобновилось самое свирепое преследование раскольников, и Татищев скоро будет поставлен в трудное положение, поскольку от него будут требовать проведения этой политики в жизнь.

Известно, что раннее христианство было объективно революционным движением. По замечанию Ф. Энгельса, «христианство того времени... как небо от земли отличалось от позднейшей, зафиксированной в догматах мировой религии Никейского собора... В нем нет ни догматики, но этики позднейшего христианства; но зато... есть радость борьбы и уверенность в победе».⁶ Идеалы раннего христианства неоднократно всплывали в самых революционных движениях позднего средневековья. Татищев также положительный вклад отмечает лишь у раннего христианства. Оно воздействовало прежде всего на нравственную сферу, проповедуя любовь к ближнему и предостерегая от сребролюбия, роскоши и лени — от всего того, из чего «все протчие пристрастия и вреды происходят». Однако из-за пренебрежения наукой учение Христа и его апостолов не смогло утвердиться.

Задолго до христианства греки «во всех науках цвели». Затем и в Риме «науки... процветать стали». Христиане же не сумели сохранить достигнутое. Начались распри, и истинное учение было отринуто. «От распрей в христианах, — с сожалением замечает Татищев, — науки стали оскудевать, что едва не повсюду науки нужные человеку погибли». Вопреки истинному христианству «духовные великую власть и богатства приобрели». Властолюбие и сребролюбие повело духовников далеко в сторону от истинного учения. Римские архиепископы пожгли «многие древние и полезные книги», исправляли и искажали другие сочинения. В результате «философские благополезные науки в совершенное падение пришли, для которого оное время ученые время мрачное именуют».

Таким образом, христианство, по Татищеву, лишь эпизод в познании нравственной стороны идеи бога. Познание же божества в целом достигается наукой. Поэтому важнейшим рубежом в развитии человечества он признает книгопечатание. Появилась возможность широко распространять разумные мысли, книги стали доступными и «крестьянину или убогому человеку». Ранее кто-то из «завидливых» мог держать рукописи в одних руках, лишая других возможности с ними ознакомиться. Нередко их портили «от имеющих противное мнение переправками». Книгопечатание делает книгу практически неистребимой. Оно позволяет создавать нужное число учебных заведений, через которые открывается «большой свет истинного разума». Преодолевая сопротивление папистов, наука завоевывает все новые

позиции. Виклеф и Гус, затем Лютер и Кальвин нанесли серьезный урон папскому престолу в богословии, Гуго Гроций и Пуфендорф «в нравоучении». Картезий в физике «или всей философии», Коперник и Галилей в математике и астрономии. «Тиснение книг, — заключает Татищев, — великий свет миру открыло и неописанную пользу приносит».

Голландский мыслитель Гуго Гроций (1583-1645) наряду с Гоббсом, по выражению Маркса, «стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из теологии».⁷ Татищев стремится прикрыть от критики со стороны клерикалов передовые теории соображениями о том, что богоугодным является все, открывающее истину. С законом божьим в конечном счете будет согласовываться ишь то, что соответствует естественным законам. «Истинная философия в вере не токмо полезна, но и нужна», — заключает Татищев. Запрещают же языческие книги либо невежды, не понимающие истинной философии, либо «злоковарные некоторые церковнослужители». Именно они «для утверждения их богопротивной власти и приобретения богатств вымыслили, чтобы народ был неученый... но слепо бы и раболепно их рассказам и повелениям верили».

Церковники в знаниях видели источник ересей. Татищев же полагает, что большинство ересей происходит от невежества. Поэтому и бороться с ними надо путем просвещения. Он напоминает о рекомендации Петра I учредить училища «во всех епархиях», что позволило бы на пользу «бесплодно погибаемые доходы монастырей употребить». Кто-то из собеседников Татищева заверял, что эта рекомендация выполняется. Но он, со своей стороны, таких училищ нигде не видел, и, лишь «взирая на их должность и любовь к богу и ближнему», верит, «что правда есть или быть может».

Власти предрержащие обычно считали, что «чем народ простяе, тем покорнее и к правлению способнее, а от бунтов и сметений безопасней». Татищев решительно осуждает такого рода «махиавелические плевелы».⁸ Сословное деление, в понимании Татищева, означает общественное разделение труда, а не богом установленный порядок. Преимущественное положение дворянства основано не на его «благородном происхождении», а потому, что оно выполняет самую важную роль в государстве. Со времен Рима выделяется слой воинов, которые затем в «мужестве и старости» служат также «в советах и правлениях гражданских». Шляхетство обязано «от самого возраста до старости государю и государству, не щадя здравия и живота своего, служить». За эту службу оно и получает право на владение вотчинами.

Во времена Татищева дворянство борется за освобождение от обязанностей, что и было достигнуто к 1762 году. Вместе с тем оно выступает против пополнения его рядов за счет выходцев из социальных низов. По логике Татищева, «увольнение» от службы лишало дворянство права на преимущества. Не может он разделить и стремление дворян к совершенному обособлению своего сословия. Когда-то обязанность «государство защищать и оборонять» распространялась на весь народ. Затем «гражданство, купечество и земледельство за нужное и полезное в государствах приято» и дело защиты государства перешло в руки одного сословия. В зависимости от потребностей слой этот необходимо расширять за счет других сословий. Это делал в свое время Алексей Михайлович. Это делал Петр I. Поскольку же «на благоразсудности одного солдата целой армии благополучие или безопасность зависит», нужно, чтобы «салдаты были благоразсудные» и «чтобы всякой салдат о том мыслил и прилежал, чтоб в обер и штап офицеры дослужиться». Путь к этому опять-таки лежал через обучение, «понеже неумеющему грамоте к получению оного путь пресечен, следственно же желание и снискание оного пресекается».

Татищев убежден, что порядок зависит от уровня просвещения народа. «Махеовелисту» он советует набрать слуг из дураков, а управляющих — из безграмотных, дабы понять, «какой порядок и польза в его доме явятся». Со своей стороны, Татищев «рад и крестьян иметь умных и

ученых».

Причиной внутренних распрей и возмущений Татищев считает невежество народа, что дает простор для разного рода плутов. Он признает, что «все смятения народные и разорение государств междуусобные суть наитяжчайшие беды и свирепейший губитель, нежели внешний неприятель». Но предотвратить такого рода внутренние раздоры способны лишь просвещение и разумное законодательство.

Чрезвычайно смело ставит Татищев вопрос о сосуществовании в рамках государства различных религий и верований. Его собеседник как будто резонно ставит вопрос о том, что «разность вер в государстве вред наносит». Татищев также замечает, что «некоторые политики... толкуют, якобы государство, монархия от разности вер небезопасна». На этом основании они «невзирая на запрещение в письме святом, силою в соединении приводить не согласных с ними, мучить и кознить или изгонять... за благочестие и благослужение поставляют».

Татищев также признает наличие опасности от различия вер, особенно там, где противостоят две равные по силе веры, как, например, в Германии — протестантство и католичество. «Но ежели где три или более разных вер, тамо такой опасности нет», — полагает Татищев. Главное же — предупредить распри «добрыми законами». Сами эти распри обычно разжигаются попами «для их корысти», а также «суеверными ханжами и несмысленными набожниками». Между умными же людьми такие распри невозможны, «понеже умному до веры другого ничего касается, и ему равно, лютор ли, кальвин ли, или язычник с ним в одном городе живет, или с ним торгуется, ибо не смотрит на веру, но смотрит на его товар, на его поступки и нрав, и по тому с ним обхождение имеет».

Комментируя приведенное высказывание, Г. В. Плеханов восклицает: «Это хоть бы и Вольтеру впору!»⁹ Плеханов видит в данном случае влияние Пьера Бейли (1647-1706) — одного из самых энергичных поборников веротерпимости. Действительно, с творчеством Бейли, как и практически со всеми важными идеями своего времени, Татищев был знаком. Но согласиться с Бейли для него было едва ли не опаснее, чем самостоятельно высказать аналогичную точку зрения. Будучи профессором философии, Бейли подвергался преследованиям и во Франции, и в Голландии (он был лишен кафедры в Роттердамском университете). И неудивительно: Бейли и в атеистах готов был видеть высоконравственных людей.

В наибольшей безопасности, по мнению Татищева, находятся как раз те государства, где царит веротерпимость. Такое положение наблюдается прежде всего «во общенародных или смешанных правлениях». Из монархий к ним же Татищев относит Россию, поскольку «наша Россия не токмо разных исповеданий христиан, но магометан и язычников многим числом наполнена». Многовековая история России, по убеждению Татищева, свидетельствует о том, что различные веры никакого ущерба стране не приносили. Напротив, в Смутное время «нагайские, касимовские и другие татары, а при Разине черемиса многую противу бунтовщиков услугу показали». Выступления же разных народностей против правительства обычно носят не религиозный, а политический характер.

Принцип веротерпимости не нарушается и негативным отношением к еврейской общине и цыганам. В России, говорит Татищев, «едины жиды от Владимира II (то есть Мономаха) до днесь не терпят, но и те не для веры, но паче для их злой природы, обманов и коварств, чрез которых многие разорения тайно христианам прилучаются, как и цыганов не для веры в государстве терпеть не безвредно». Татищеву были известны какие-то источники, говорившие о выселении евреев постановлением князей при Владимире Мономахе (в «Духовной» и некоторых других записках называется 1124 год). В известных нам сейчас летописях есть лишь глухие намеки на это в рассказе о восстании киевлян в 1113 году, когда горожане «идоша на жиды», а также в упоминании о большом киевском пожаре 1124 года, когда «погореша... жидове». В

«Истории» Татищев обстоятельно рассказывает о киевском восстании и требовании киевлян о выселении иудеев. Сам Татищев при этом считал, что речь идет не об особом народе, а о славянах, принявших через посредство Хазарии иудейскую веру. Противоречия в данном случае вызываются тем, что Татищев так и не смог для себя решить, где же первопричина зла: «в природе» народа или же верования, названном позднее Марксом религией «своекорыстия» и «эгоизма».¹⁰

Задача обмирщения просматривается и в татищевской классификации наук. Помимо общепринятого деления наук на богословские и философские, он предлагает «моральное» разделение, различия «в качестве». Согласно принципу полезности выделяются науки: «1) нужные, 2) полезные, 3) щегольские, или увеселяющие, 4) любопытные, или тщетные, 5) вредительные». В числе «нужных» на первом месте стоят «телесные науки». Поскольку природа требует от человека поддержания собственного существования, необходимы соответствующие знания: «сие именуется домоводство», то есть по-гречески «экономия». Той же цели служит медицина.

Человек должен уметь «себя от враждующих и нападствующих сохранить и обидеть себя не допустить». Для этого обязан каждый, а дворянин в особенности, уметь владеть оружием, чтобы защитить себя и отечество. Однако этого недостаточно. Многие неприятности происходят по вине самого человека. Поэтому он должен уметь себя вести, с тем чтобы не вызвать справедливого негодования со стороны других. Об этом говорится «в правилах закона естественного», «и сие называется нравоучение». В рамках государства «собственные обороны или отмщения для общего спокойствия запрещены и обидителям наказания, а обиженным награждения предписаны». Поэтому необходимо знать законы и изучающую их науку — «законоучение».

В число нужных наук включается и богословие. Татищев имеет в виду то, что человек в состоянии постичь бога и его учение. «Что же касается свойств или обстоятельств божиих, — полагает он, — то наш ум не в состоянии о том внятно разуметь, да и нужды нет». Иными словами, схоластические споры о природе самого божества представляются беспредметными и бессмысленными. Достаточно веры, что бог — создатель мира и во всем присутствует. В качестве же первотолчка Татищев бога, безусловно, признавал.

В числе полезных наук, по Татищеву, «письмо есть первое, чрез которое мы прошедшее знаем и в памяти храним», иногда даже лучше, чем сами творцы «прошедшего», поскольку «мнение» может быть изложено на письме. Гражданским служащим, особенно «в чинах высоких», «полезно, а иногда нужно знать красноречие», именуемое по-русски «витийством», а по-гречески «риторикой». Нужно уметь придать речи в зависимости от обстоятельств тот или иной оттенок, украсить ее примерами. Особенно полезно и нужно все это в иностранных делах, а также при сочинении книг.

К «полезным» относится и знание иностранных языков. Татищев предупреждает, однако, что «сие полезно тогда токмо, когда правильно употребляемо». «Примешивание» же «иноязычных слов в свой язык вредительно». Татищева особенно раздражает модное в его время засорение русского языка иностранными словами, «да к тому не в той силе и разуме или неправильно, а для чего, того сами сказать не умеют, кроме хвастанья, что умеют чужое слово выговорить».

«Всякого звания людям» полезна «мафематика», включавшая в то время целый ряд наук: арифметику, геометрию, «или землемерие», механику — «хитродвижность», архитектуру — «строительство». К математике относились также «перспектива, оптика или видение, акустика — звездосчисление», изучение которых Татищев находил полезным «некоторым людям».

Государственным деятелям высших рангов важно учить «деяния и летописи или гистория и

хронография, генеалогия или родословие владельцев... землеописание или география». В последнюю Татищев включал и «нравы людей», проживавших в той или иной земле. Все это нужно знать, «дабы в государственном правлении и советах, будучи о воем со благоразумием, а не яко слепой о красках разсуждать мог».

В числе полезных наук называются также ботаника и анатомия. Знание их желательно для всех и совершенно необходимо для тех, кто «себя во врачество управляют». То же относится к физике, химии, или, по-русски, «естествоиспытанию». Зная, «что из чего состоит» и «что из того происходит и приключается», можно уберечь «себя от вреда».

К «щегольским» наукам Татищев относит умение слагать стихи, сочинять или исполнять музыку, танцевать, ездить верхом, рисовать и чертить. Последнее совершенно необходимо во всех ремеслах. Что касается остальных — они могут быть полезны «по случаю», поскольку за ними стоят правила поведения человека в обществе.

К «любопытным» и «тщетным» Татищев относит такие науки, «которые ни настоящей, ни будущей пользы в себе не имеют». Это астрология — «звездопророчание», «физиогномия, или лицезнание», «хиромантия — рукознание». Эти науки, по Татищеву, «ни физического, ни математического основания не имеют». Но у суеверных людей, «паче у людей меланхоличных», они находят благоприятную почву. Лженауки наносят и вред, «ибо если бы мы совершенно все приключения, предписанные и неизбежные, разумели, тоб не имели нужды жить по закону». Этой фразой заодно осуждается и вера в божественное провидение.

Суевериями был наполнен быт всех европейских стран. Анна Ивановна уже в 1730 году издала указ о сожжении за колдовство. Несколько раньше так же энергично боролся с «ведьмами» во Франции кардинал Мазарини. До конца XVIII века сжигали «ведьм» в Польше. «Не весьма в давних летах» все это Татищев наблюдал и в Германии и в Швеции. Он, естественно, был против таких мер и подчеркивает, что как только «перестали казнить, а учением исправляют, то и таких людей умалилось».

Разновидностью суеверий Татищев считает и организуемые «сребролюбивыми церковниками» чудеса святых. Это «зло» в России «весьма было расплодилось». Но «Петр Великий жестокими на теле наказаниях всех оных бесов повыгнал так, — иронизирует Татищев, — что ныне, почитай, уже не слышно».

Целое исследование Татищев посвящает истории славянской письменности. Создание глаголического письма он на основе балканских преданий и папистской традиции связывает с именем Геронима, относя его к 383 году. Эта письменность во времена Татищева еще употреблялась в Иллирии. Кириллицу согласно с общепринятыми представлениями Татищев признавал созданием Константина-Кирилла в IX веке. Современный алфавит Татищев предлагал усовершенствовать, исключив из него буквы, не имевшие особого звучания (позднее, в письме Третьяковскому, он относил к таковым пятнадцать букв из сорока четырех). Вместе с тем предлагалась ввести букву для аналогии с латинским «Н» и для обозначения йотированного гласного (последнее было позднее осуществлено Карамзиным).

Происхождение языков во времена Татищева объясняли вавилонским столпотворением. Татищев библейскую легенду обходит. «Сколько и которые языки первые по столпотворению были, — говорит он, — оное не токмо ныне, через неколико 1000 лет и за погублением древних книг, нам подлинно неизвестно». Это не было известно и раньше. Так, Геродот «скажет, что в древние времена у египтян прение о первенстве народа было, которое языками решили». Важнее, с точки зрения Татищева, общее заключение, «что из одного многие разные языки произошли». От одного языка происходят и все славянские народы, а также вандалы, которых он помещал по южному берегу Балтики (венды, винды или вандалы германских источников). Изменения в языке чаще всего происходят в результате обладания одного народа другим.

Сказывается также общение с соседями, потребность в заимствовании слов для обозначения тех или иных понятий и просто «от неразумения пользы и вреда» или по невежеству.

В качестве примера Татищев дает здесь первую свою схему сложения Древнерусского государства. Славяне приходят морем из Вандалии, то есть с южного берега Балтики, в северо-западные районы будущей Руси. Они овладевают сарматскими народами, в числе которых были и руссы. На «сарматском» языке это слово означало «чермный», то есть «красный» (в действительности, такое значение слово «рус» имеет в индоевропейских языках). Славяне и сами прозвались руссами, и много из языка сарматских руссов взяли в свой язык. Позднее, «как колена славянских князей Гостомыслом пресеклось, взяли себе князя Рюрика от варяг, или финов». Восстановление славянского языка Татищев связывает с Ольгой, бывшей «от рода князей словенских». Остатки же привнесений сказываются в языке и позднее. К ним добавились заимствования из татарского языка.

Заимствование из чужих языков «по соседству и обхождению» Татищев отличает от нарочитой порчи родной речи. Если вандалы, богемы, чехи, венгры утратили славянский язык под влиянием народа-обладателя, то современные поляки портили его из «славолюбия», в результате чего «иногда в письме латинских и немецких слов треть кладут». Сходное положение складывалось и в России. Татищев приводит длинный перечень слов, заимствованных в русский язык «без нужды» из греческого, латинского, французского, немецкого, «каковых слов от хвастунов и неученых людей весьма много наполнено». В этом списке — наиболее употребительные понятия бюрократического обихода, то есть все то, что широкой волной устремилось в русский язык вместе с петровскими преобразованиями. В условиях же бироновщины, когда многие высшие чины и не хотели знать русского языка, борьба за его чистоту принимала глубокую политическую окраску.

Татищев отнюдь не был сторонником полного ограждения языка от заимствований извне. Наоборот. Он считал, что такие заимствования полезны и необходимы, если они поступают с «науками филозовскими и вещьми». Но новое слово целесообразно вводить в свой язык лишь в том случае, если ему нельзя найти равного по значению в собственном. В противном случае это и есть засорение. Татищев упоминает о намерении Анны созвать специальную комиссию по «исправлению русского языка» (очевидно, нечто подобное она обещала в одной из бесед с Татищевым и, конечно, по его настоянию). Уже с Урала он продолжал поддерживать связь с Василием Кирилловичем Тредиаковским (1703-1769) — его единомышленником в этом вопросе. В 1736 году комиссия была создана. Но вопреки намерениям Татищева и Тредиаковского в составе ее были почти исключительно немцы, и занималась она вопросами переводов с иностранных языков на русский. Безвременье бироновщины было явно неподходящей порой для воплощения замысла поборников чистоты русского языка.

Согласно воззрениям Татищева естественному закону в равной мере подчиняются все народы, и все они равны перед этим законом. От естественного закона зависит целесообразность той или иной политической системы, и этот вопрос Татищев излагает в «Разговоре» в целом так же, как в записке 1730 года. Но здесь поднимается еще один вопрос, не менее важный, чем форма политического устройства. Речь идет о личной вольности человека.

Естественный закон предполагает вольность человека. «Воля по естеству человеку толико нужна и полезна, что ни едино благополучие ей сравниться не может и ничто ей достойно есть», — говорит Татищев. «Кто воли лишаем, тот купно всех благополучей лишается или приобрести и сохранить не благонадежен, ибо кто в какой-либо неволе состоит, той не может уже по своему хотению покоиться, веселиться, чести, имения снискивать и оные содержать, но все остается в воли того, кто над его волею владычествует». Но воля полезна лишь в том случае, если она употребляется с разумом. Иначе это будет своевольство. Для младенца воля может оказаться

источником гибели, и те, кто по лености или недостатку милосердия это допустит, могут оказаться соучастниками трагедии. Поскольку человек не может обойтись без помощи других, он вынужден ограничивать себя. В итоге «воле человека положена узда неволи для его же пользы». Эта «узда» бывает трех видов: «по природе», «по своей воле», «по принуждению». Первая предполагает подчинение младенцев родителям. К этому же разряду Татищев относит и власть монарха. Второй вид неволи связан с договором. Из него происходит неволя холопа или слуги. Такой договор справедлив лишь в том случае, если он выполняется обеими сторонами. «Если б один нарушил, — разъясняет Татищев, — то и другой или не должен своего обещания содержать, или его по имеемому договору может ко исполнению принудить».

Таково же происхождение и общественного договора. На этом принципе построены «общенародия или республики». В них «воля человека всем обще подвергается, общее благополучие собственному предпочитается, того ради, что собственное уже несть благополучие, когда общественный вред из чего быть может».

Третий вид неволи — «рабство или невольничество» — противоестествен. «Понеже человек по естеству в защищении и охранении себя имеет свободу, того ради он такое лишение своей воли терпеть более не должен, как до возможного к освобождению случая». Естественное право человека — защищать свое благополучие и мстить свои обиды. Единственное, что может сдерживать угнетенного, — соображение целесообразности, дабы не причинить себе большего ущерба.

Постановка вопроса о личной свободе, «вольности» человека, оправдание и даже поощрение борьбы угнетенных за свое освобождение, — явление для первой половины XVIII века в России уникальное. Не случайно Г. В. Плеханов оценил его «почти как революционный призыв».¹¹ Вряд ли Татищев верил в целесообразность и еще одного вида неволи: подчинения воле монарха как родительской. Но это постоянно встававшее противоречие он пока старался обходить, поскольку логичное разрешение его потребовало бы таких выводов, которые могли бы оказаться для Татищева самоубийственными.

Закон естественный должен лежать и в основании гражданского законодательства. В этом разделе у Татищева также появляются некоторые новые соображения по сравнению с запиской 1730 года. Так, рассматривая разные источники законодательства в странах с различным строем, он останавливает внимание на порядке подготовки законопроектов в государствах с «общенародной» формой правления. Вопреки собственному рассуждению о целесообразности таких государств лишь на небольших территориях он рассматривает именно «великие». Выборные «от неких обществ, яко провинцей или городов, станов, родов» посылаются «с полной мочью» в соборы, сеймы или парламенты, которые и разрабатывают законопроекты.

Законодательные права монарха снова вызывают у Татищева затруднения. Он такие права за монархом признает. Но «от любви отеческой к подданным, храня пользу оных», монархи доверяют составление законов «другим в законах довольно искусным и отечеству беспристрастно верным». Любовь монарха к отечеству, следовательно, проявляется в том, что подготовку законопроекта он передоверяет лицам, искусным в законах. А уж искусному законнику Татищев считает себя вправе подать советы. И в них также проявляется кое-что новое по сравнению с 1730 годом.

Первый совет сводится к тому, что закон должен быть написан таким языком, «которым большая часть общенародия говорит и суще самым просторечием». Особенно следит Татищев за тем, «чтоб никаких иноязычных слов не было». При этом «всякий закон что короче, то внятнее». Второй совет предусматривает выполнимость законов. В противном случае они не будут пользоваться авторитетом. «Неумеренные казни разрушают закон», — заключает Татищев. Законы должны быть согласованы друг с другом — третье положение, и весьма важное,

поскольку в России такой согласованности не было со времен «Русской правды»: новые установления не отменяли старых. Четвертое положение касается своевременного и широкого объявления законов, «ибо кто, не знак закона, преступит, тот по закону оному осужден быть не может».

Интересно пятое положение: «хранить обычаи древние». Татищев при этом разъясняет, что «где польза общая требует, то не нужно на древность и обычаи смотреть, токмо при том надобно, чтоб причины понуждающие внятно изъяснены были». Видимо, совет связан с каким-то определенным нарушением обычаев. С такого рода нарушениями постоянно приходилось сталкиваться во времена бироновщины. Татищев напоминает также и о сравнительно давнем, весьма опасном нарушении традиции. «До царства Борисова, — говорит он, — в России крестьянство было все вольное, но он слуг, холопей и крестьян сделал крепостными». Это нарушение «древних обычаев» вызвало восстание холопов и крестьян. Кому в этом случае Татищев сочувствует — угадать нетрудно. Царь нарушил обычай, а бывшие вольные по естественному праву выступили на защиту своей свободы.

Советы законодателям Татищев дает не случайно. Он считает целесообразным подготовить новое Уложение и доказывает это разбором предшествующего русского законодательства. Наиболее продуманным ему представляется Судебник Ивана Грозного, утвержденный собором 1550 года. «В сем Судебнике, — говорит он, — удивления и похвалы достойно, что законы писаны кратки, внятны, речение самое простое, как тогда говорили. И хотя во оном нечто от чужестранных взято... но ни единого слова чужестранного не внесено». Уложение 1649 года менее удовлетворительно. «Как видно, при сочинении надмерно спешили или к сложению искусного секретаря недоставало», — размышляет Татищев. В результате же «некоторые случаи разного состояния в разных главах или статьях разногласны, другие надмерно кратки и темны так, что с трудом сущую силу их разуметь можно, иные потребным многоречием наполнены». Нечеткость изложения создает почву для нарушений и злоупотреблений со стороны судей. К тому же многие статьи Уложения устарели, и есть необходимость ввести целый ряд новых статей. По обыкновению, Татищев напоминает о соответствующем замысле Петра. В связь с этим замыслом он ставит и изучение законодательства других стран. Наперед выдается похвала за подобную же деятельность и правящей императрице, с которой Татищев, видимо, говорил и об этом вопросе, и, очевидно, так же малоуспешно, как и по многим другим.

Хотя «Разговор» посвящался защите «наук и училищ», последним уделено сравнительно мало внимания, возможно, потому, что тогда же Татищев давал об этом императрице особое представление. С сожалением отмечал он, что ни в одном училище не преподавались русская грамматика, история и география. Большинство учителей были иноземными, и это Татищев считал неизбежным. Но многие «учителя» сами не имели никакой подготовки. Дворяне часто для обучения языкам нанимали «весьма неспособных и случается, что поваров, лакеев или весьма мало умеющих грамоте». Особенно удручало Татищева отсутствие учебников. Возможность решения этого вопроса он видел лишь в распространении вольного книгопечатания.

Сословное деление общества предполагало и сословное обучение: каждое сословие должно учиться наукам, необходимым для выполнения своего долга перед государством. Но Татищев не может не заметить, что дворяне учиться ленятся. Сложными науками скорее овладевают «подлые», которым доступ к высшим должностям закрыт. Это обстоятельство ставит перед ним проблему, которую он не может разрешить. Татищеву не нравится, что половина всех отпускаемых на обучение средств уходит на Кадетский корпус. Он считает, что дети родителей, имеющих доход свыше тысячи рублей в год, могут и сами содержать учителей или выделять средства на обучение. Государственные же средства следует «неимущим оставить». Полезно

совместное обучение «знатных и неимущих». Рядом со знатными неимущие научатся «обхождению» и приобретут «смелость». Учеников же из «убожества» Татищев советует включать в низшие шляхетские училища. Их присутствие поможет поднять на должный уровень все обучение, а сами они смогут впоследствии стать «совершенными учителями». Другого применения специалистам из третьего сословия, получившим дворянское образование, он предложить, очевидно, не может.

Подготовка собственных учителей, с точки зрения Татищева, являлась самой первостепенной и настоятельной задачей. Пока же их нет, наилучшим способом обучения остается посылка детей за границу. Татищев дает широкий обзор состояния наук в разных европейских странах, рассказывает об их учебных заведениях. Издержки неизбежны и при посылке детей за границу, особенно если туда едут слишком хорошо обеспеченные. Но, не слыша вокруг русской речи, недоросль поневоле обучится иностранному языку, что особенно необходимо при отсутствии специальной литературы на русском языке.

Борясь за чистоту русского языка, Татищев неизменно настаивал на самом широком изучении языков иностранных. В этом он видел один из самых важных элементов общей культуры и образованности. Большое значение он придавал также изучению языков народов России, а также созданию школ, где представители этих народов могли бы изучать русский язык. Он с возмущением говорил о миссионерах, которые через переводчиков проповедуют «слово божие». Татищев выражал надежду на то, что не было бы никаких беспорядков и бунтов, «когда бы шляхетство обучение во оных языках воеводами, суднами и другими управители были». Соответственно он предлагал открыть училища в Казани, Тобольске, Астрахани, Иркутске, Нерчинске, Якутске для изучения «сарматских» (угро-финских), тюркских и сибирских языков.

«Разговор» был впервые опубликован лишь в 1887 году. Да и то, издавая его, известный биограф Татищева Нил Попов счел необходимым оправдывать автора от обвинений в вольнодумстве. Оправдание, нужно сказать, натянутое. Но и его тоже можно было понять. Даже сто пятьдесят лет спустя «Разговор» звучал все еще слишком смело для официального миропонимания. И можно лишь пожалеть, что столь богатый идеями памятник остался недоступным большинству русских мыслителей XVIII века.

С «Разговором» несколько разноречит «Духовная» Татищева. Как и к «Разговору», он обращался к ней, видимо, неоднократно и примерно при одинаковых обстоятельствах. «Разговор» проникнут оптимизмом, «Духовная» — пессимистична. В «Разговоре» Татищев размышляет о том, что желательно было бы сделать, в «Духовной» предостерегает от того, чего делать не следует.

Первоначальная редакция «Духовной» относится, видимо, к началу 1734 года, когда над Татищевым собрались грозные тучи. Татищев стремится здесь очиститься от обвинений в атеизме и еретичестве, предстать ортодоксальным и усердным христианином. «Человек во младости и благополучии, — говорит он здесь, — мало о законе божий и спасении души своея прилежит, но водим паче помыслами плотскими». «Егда же человек приблизится к старости, или скорби, болезни, беды, напасти и другие горести усмиряют плоть его, тогда освобождается дух от порабощения, очистится ум его и примет власть над волею, тогда познает неистовство и пороки юности своея и начнет прилежать о приобретении истинного добра, еже познать волю творца своего и прилежать о знании закона божия».

В 1734 году Татищеву было сорок восемь лет. Он, конечно, был еще не стар. Но, как он сам поясняет, старость «не по числу лет разумеется». «Болезни, беды и печали прежде лет состаревают». А бед и печалей в конце 1733 года на Татищева обрушилось немало. Обострилась и его старая болезнь, в результате чего «язык... прилипе гортани».

Главная причина духовного надлома Татищева, конечно, заключалась в крахе его общественно-государственной деятельности, в результате чего он оказался в «гонении неповинном» «от злодеев сильных». Отстранение его от должности главного судьи Монетной конторы и предание суду лишало его, помимо прочего, и средств существования.

Ко времени написания «Духовной» дочь Василия Никитича Евпраксия была замужем за Михаилом Андреевичем Римским-Корсаковым. (Позднее, овдовев, она вышла замуж за Степана Андреевича Шепелева.) «Духовная» адресовалась сыну Евграфу. Будучи в Монетной конторе, Татищев имел больше, чем когда бы то ни было, времени и для занятий домашними делами. Сын его в 1731 году поступил в Кадетский корпус, имея определенные познания в арифметике и геометрии, зная немецкий и латинский языки. В 1734 году Евграф еще продолжал обучение в Кадетском корпусе, и ему еще предстояло определение на службу.

Несколько странно звучит в «Духовной» предостережение Татищева: «с хвалящими вольности других государств и ищущими власть монарха уменьшить никогда не согласуй». Кто эти хвалящие? Из известных нам авторов никто не хвалил «вольности других государств» в такой мере, в какой это сделал Татищев, поставив «вольность» главной ценностью для человека. И сына ли имел адресатом в данном случае Татищев, или же тех, кто обвинил его в вольнодумстве?

С отмеченным наставлением плохо согласуется общая оценка положения при дворе. Петр Великий, пишет Татищев, «великолепие единственно делами своими показывал». Нетрудно догадаться, в чей адрес направлена критика: Анна великолепие поддерживала только внешне. При ней придворные «рангами, жалованьем и другими преимуществы пожалованы». «Я, — обращается Татищев к сыну, — взирая на их стропотное житие и обхождение, никогда бы тебе оного искать не советовал, понеже тут лицемерство, коварство, лесть, зависть и ненависть едва ли не всем ли добродетелям предходят».

В полном противоречии с собственной деятельностью напоминает Татищев и совет своего родителя, данный в 1704 году: «Ни на что самому не называться». Такая забота о самосохранении, может быть, и годилась для его ничем не примечательного сына, но она была решительно неприемлема для одного из самых неутомимых политических, хозяйственных и научных деятелей эпохи, каким был сам Василий Никитич. О совете отца он вспоминал обычно тогда, когда его покидали силы или возможности для борьбы. Но он немедленно забывал о нем, как только вновь открывалось поле активной деятельности.

Татищев, очевидно, не надеялся воспрянуть ни морально, ни физически. Это состояние подавленности и надлома сказывается на всем построении «Духовной», в своеобразном покаянии и раскаянии за непочтение к религии. Если в критике религиозных и особенно церковных установлений, сказывавшихся в ряде записок Татищева, заметна глубокая продуманность, то в данном случае ощущается чисто эмоциональный экстаз. Он заставляет сына принимать то, что сам принять не может. Он, например, советует читать жития святых, «ибо хотя в них многия гистории в истине бытия оскудевают... однакож тем не огорчайся, но разумей, что все оное к благоугодному наставлению предписано, и тщися подражати делам их благим». Иначе говоря, хотя в этих сочинениях заведомая ложь, старайся подражать тому, чего никто не делал. Мысль эта гораздо резче выражена в «Истории» («Басни нравость потемняют»), хотя новгородский архиепископ Амвросий и настоял на некоторых сокращениях, дабы Татищев сведения житий «не весьма порочил».

Подобен же и совет: «если бы ты... некоторые погрешности и неисправы, или излишки в своей церкви быть возомнил, никогда явно ни для какого телесного благополучия от своей церкви не отставай и веры не переменяй». Не следует также вступать в споры с единоверцами. Это может принести неприятности, «в чем, — признается Татищев, — я тебе себя в пример представляю». Оказывается, он «не токмо за еретика, но и за безбожника почитан и немало

невинного поношения и бед претерпел». Очевидно, оценивая действительные взгляды Татищева, нельзя отвлекаться от этих «бед»: он никогда не мог быть до конца откровенен — его не поняли бы даже близкие.

Определяя сыну круг наук, Татищев особо останавливается на своем многолетнем труде — «Истории российской». Она к этому времени была уже «довольной», «хотя не в совершенном порядке». Уже были примечания к ней, «дополнки», выписки из иностранных авторов. Отцу очень хотелось, чтобы это дело завершил его сын: «Если охота будет, можешь в порядок собрать и как себе, так и всему отечеству в пользу употребить». «Польза отечества» в данном случае не пересекалась с волей сильных мира сего, и Татищев как бы забывал о совете «не выдаваться вперед». К счастью, он сам смог позднее продолжить работу над «Историей». Сын же к этому явно не имел склонности.

Имелся в бумагах Татищева и развернутый план написания географии. Однако эту работу он не считал возможным завершить «без помощи государя», поскольку требовалась организация картографических работ в масштабе всей страны, а также осуществление размежевания земель.

Чувством христианского смирения и всепрощения проникнут ряд других советов Татищева. Он явно кается по случаю неудачно сложившихся семейных отношений, советует слушаться матери, с которой сам он «некоторым приключением разлучился, чрез что... обещание брачное нарушено». «Тебе, — обращается он к сыну, — нет в том ни мало причины к нарушению твоей должности». Такого же плана и совет не выказывать перед людьми ревность к будущей супруге, не унижать ее подозрениями, помнить, «что жена тебе не раба, но товарищ, помощница во всем и другом должна быть нелицемерным».

В «Духовной» неоднократно звучит и неуверенность, вроде: «Может ли сие полезно быть — сего я не разумею и рассуждать не могу». Даже только что написанный «Разговор», которым Татищев, несомненно, очень дорожил и который он оставлял как своеобразное наставление сыну же, он оценивает теперь сдержанно: «Все оное верить и за истину непоколебимую принимать и содержать не принуждаю». В «Духовной» совершенно исчезает «естественное право». Порою кажется, что автор испытывает суеверный страх перед открывшимися ему истинами и он теперь стремится отомолиться от них.

Духовные кризисы, однако, обычно способствуют и прояснению каких-то важных вопросов. (Правда, смысл их может оставаться и нераскрытым.) В данном случае обращает на себя внимание одно немаловажное изменение по сравнению с «Разговором». Там он преимущества дворянства оправдывал его нелегкой долей — быть готовым проливать кровь за государя и отечество в любое время и любом месте. В «Духовной» же отмечается, что «гражданская услуга в государстве есть главная, ибо без доброго и порядочного внутреннего правления ничто в добром порядке содержимо быть не может и во оном гораздо более памяти, смысла и рассуждения, нежели в воинстве, потребно». Позднее это соображение Татищев неоднократно повторит, имея в виду, что и «гражданские» вопросы в государстве зависят от подготовленности дворянства. Но если бы он пропустил свое заключение через призму «естественного права», то оно могло бы существенно нарушить логику рассуждений о целесообразности сословного деления, поскольку государственное правление совершенно иного характера занятие, нежели воинская служба, а бюрократический аппарат всегда составлялся более из разночинцев, чем из дворян (хотя и выполнял задачи дворянского государства).

Не раскрывает Татищев и тезис о «добром и порядочном правлении». Ясно, что современное ему правление не было ни «добрым», ни «порядочным». Но где искать альтернативу? Напоминание о временах Петра Великого было лишь приемом, поскольку Петру приписывалось обычно то, что хотел бы видеть Татищев. Через «естественное право» Татищев неотвратимо шел к пониманию плодотворности гражданской вольности и выборной системы.

Отправляясь от принципа монархии, которую нужно принимать как необходимое благо и неизбежное зло, он вынужден был отступать от «естественного закона» в пользу «божественного». Человеку деятельному нужен «естественный закон». Для пассивного — лучше закон «божественный». С его помощью легко оправдать и собственную бездеятельность, и логические неувязки в мировоззрении, и бессилие в борьбе со злом и его высокими носителями.

Трудно сказать, как развивалась бы моральная и физическая болезнь Татищева, если бы не поворот в настроении Анны. За внезапным падением Татищева последовало столь же неожиданное, хотя частичное и молчаливое, признание его заслуг и деловых качеств. Он отдаляется от двора, но получает весьма важное государственное поручение.

Люди разумные часто бывают ненавистны могущественным властителям.

Эразм Роттердамский

Счастлив тот, кто в проделанной накануне работе видит следы своей воли.

Ален

Независимо от того, какими соображениями руководствовались в Петербурге, отправляя Татищева на Урал, заурядным назначением не было. Это не удивительно, если учесть, что оно все-таки явилось определенным результатом работы специальной комиссии. Обращает на себя внимание и явная расположенность к Татищеву императрицы, утвердившей это назначение. Ни указ 10 февраля о прекращении дела против Татищева, ни указ 17 марта о назначении его главным начальником горных заводов Сибири не был «помилованием»: особой вины Анна за Татищевым и не видела. В указе сообщалось, что Татищев отправляется «в Сибирскую губернию для смотра как над казенными, так и партикулярными рудными заводами», и от Сената требовалось, чтобы, «о чем он в Сенате представлять будет, надлежащее решение учинить без всякого замедления». Предписывалось также, «заслуженное и на нынешний год, сколько по рангу его надлежит, жалованье, також и на дорожный его и отправляющимися при нем проезд, а именно прогонные и др. к тому принадлежащие деньги выдать». Это означало, что Татищеву должны были выплатить и за время его вынужденного отстранения от дел. С Татищевым должны были отправиться двенадцать учеников Адмиралтейской и Артиллерийской школ, а также советник адмиралтейской конторы Андрей Федорович Хрущов (1691-1740) — один из образованнейших людей этого времени и владелец солидной библиотеки на разных языках.

Ко времени обнародования указа была готова и инструкция Татищеву. Из ее содержания видно, что составлялась она отнюдь не наспех: над ней работали не одну неделю, и, как обычно, в составлении ее принимал, конечно, участие и сам Татищев. Но все-таки основа ее была уже составлена в рамках комиссии, и кое-что от общей линии деятельности А. Маслова в ней прослеживается. Сенат, во всяком случае, к ее составлению отношения не имел: он был поставлен в известность о существовании такой инструкции указом императрицы, а 23 марта она уже и переправила ее в Сенат за своей подписью. 26 марта С. А. Салтыкова уведомили, чтобы в доме Татищева в Москве постоев «не ставить», и губернатор уже 11 апреля уведомил о получении указания.

Конечно, реальное дело отставало от скорости бумажного решения вопросов. 8 мая Татищев жалуется, что две тысячи рублей прогонных ему так и не выдали. Андрей Хрущов не получил официального уведомления о своем новом назначении. Возникали трудности с включением в штат крайне необходимых и самому Татищеву врача и фармацевта. Но Татищев не терял времени и уже 24 марта во второй раз выехал на Урал.

На протяжении последних двенадцати лет уральские заводы возглавлял Геннин. Им была проделана немалая работа: перестроены старые заводы, пущены в ход новые. К 1734 году здесь действовало одиннадцать казенных заводов. Однако на фоне частного предпринимательства казенные заводы выглядели бледно. К этому времени у Демидовых было четырнадцать заводов, в том числе один серебряный, и производительность на них была в несколько раз выше, чем на

казенных. Появились и новые предприниматели: Строгановы, Осокины, Воронцовы, Турчаниновы и другие. Конкуренцию с ними казенные заводы не выдерживали по всем показателям. Особенно беспокоило то, что на казенных заводах не держались вольнонаемные рабочие: они переходили на частные предприятия. После того как еще в петровское время был взят курс на передачу казенных заводов частным лицам, вопрос о них вставал снова и снова, и Геннину стоило большого труда противодействовать этому намерению горного начальства в Петербурге.

Геннин, как и большинство прибывших в Россию честных иностранцев, казну и государство отождествлял с личным интересом монарха; но тот, кому он служил, умер.

А к новым правителям Геннин никак приспособиться не мог. Он привык работать, пользуясь полным доверием императора и оглядываясь только на него. Петру всегда было важно иметь необходимую продукцию в нужный момент. Вопрос себестоимости при этом отступал на второй план. Мало учитывалось также, каким путем достигается решение поставленной задачи. Но этот стиль подходил лишь к условиям военного времени. В обычных же условиях чрезвычайными мерами экономические вопросы решать было нельзя. Требовался переход экономики на самообеспечение и саморегулирование.

Геннин был отличным инженером, превосходным знатоком технической стороны дела. Но как организатор он держался лишь благодаря своей близости царю. Потеря этой опоры сразу обнажила слабость его административных данных. Под его началом спокойно свивали гнезда жулики и казнокрады, и он вряд ли даже догадывался, кто, куда и как растаскивает казенное достояние. Особенно раздражали его постоянные требования Берг-коллегии всевозможных отчетов. Петербургское начальство, в свою очередь, раздражалось тем обстоятельством, что от Геннина никогда нельзя было получить сколько-нибудь обстоятельной картины приходов и расходов. Запущенность канцелярии вскоре поразила и Татищева, и он объяснил ее тем, что Геннин, как и большинство немцев, не знал русского языка.

В последние годы отношения Геннина с горным начальством из Петербурга стали особенно натянутыми. Геннин постоянно просился в отставку, ссылаясь на возраст и здоровье. На возраст ему ссылаться было по тем временам рановато: ему не было еще и шестидесяти. Не так давно даже семидесятилетнего фельдмаршала Шереметева Петр отказывался отпустить на покой. Но в этой ситуации удовлетворение просьбы было лучшим выходом из положения. Выходом из положения было и назначение на Урал Татищева. Его главные недруги таким образом от него избавлялись: Головкин устранял соперника по монетным делам, а Бирон — назойливого прожектера, выходившего на императрицу без его ведома и посредничества. Назначение было не таким уж и почетным. Позднее Татищев заметил, что он «злостью немцев» «в Сибирь под видом милости или пользы заводов отлучен». Заводы находились в весьма трудном положении, и с 1733 года снова работала комиссия по вопросам передачи их частным лицам. Назначение Татищева — это, конечно понимали все — было последней попыткой сохранить заводы (пусть с какими-то прибылями от них) за казной. Татищеву же пришлось вступать в разногласие с самим собой: он должен был доказывать, что при умелом руководстве и казенные заводы смогут давать прибыль.

В 1731 году Берг-коллегия, по выражению Татищева, была «засунута в угол» Коммерц-коллегии в результате их слияния. Когда что-то не ладится в экономике, а действенные меры принимать или боязно, или не хватает умения, начинаются перелицовки административных органов. Правительство осудило «прежнее разделение», как приносящее «казенный убыток». Позднее с таким же основанием осудили соединение разных административных органов.

По распоряжению Анны президент Коммерц-коллегии П. П. Шафиров должен был составить инструкцию «немедленно и с полной мочью». Однако Татищева эта инструкция не

удовлетворила, так как «полной мочи» она не предоставляла. Он составил новую и добился ее утверждения. Главным его завоеванием было то, что он получил право на подчинение непосредственно Кабинету министров и императрицы. Таким образом, Сибирь с Уралом выделялись как бы в особую коллегия. Были у такого решения и слабые стороны. Но они скажутся потом. А пока это было важной победой.

Как всегда, Татищев энергично берется за дело. Он подбирает себе дельных помощников. Помимо А. Хрущева, в их числе выделяются полицмейстер Алексей Зубов, межевщик Игнатий Юдин, земский судья Степан Неелов. На Урал с ним отправляется целая Берг-коллегия, с членами которой он, по собственному предложению, внесенному в инструкцию, должен был советоваться по всем важнейшим вопросам. Верный общей идее, Татищев пытался воплотить республиканскую форму правления хотя бы на ограниченной территории.

Инструкция из 22 пунктов действительно предусматривала все, чем Татищев считал целесообразным заниматься администратору. Она давала много прав и накладывала много обязанностей. Но все эти обязанности вытекали из интересов дела, и потому Татищев считал их безусловно справедливыми. К тому же он получал моральное право предъявлять соответственные требования и к другим. Уже инструкцией предусматривалась разработка Горного устава, обстоятельное описание всего горного края, устройство школ. Инициативе Маслова, очевидно, принадлежал пункт, предписывавший изучение производительности вольнонаемного и подневольного труда (здесь отмечалось, в частности, что Демидов, имея менее четверти приписных крестьян по сравнению с казенными заводами, дает вдвое больше железа).

Перед отъездом на Урал Татищев решил и еще два ранее ставившихся им вопроса: рассматривать апелляции по судебным делам в Екатеринбурге, а не в Тобольске и, сохранив Ирбитскую ярмарку, открыть новую в Екатеринбурге в конце марта — начале апреля. Сенат согласился с этими предложениями. Ничего чрезвычайного ни в том, ни в другом не было. Но авторитет Татищева в глазах его будущих сотрудников и подчиненных, конечно, возрос.

В начале октября 1734 года Татищев наконец принял от Геннина дела. Ознакомившись с обстановкой, он в декабре собирает совещание, на которое приглашаются и частные промышленники или их приказчики для выработки Горного устава. Устав этот должен был охватить все заводы, поскольку и частные заводы подчинялись Обер-бергамту, как после отъезда Татищева стали называть созданное им Высшее горное начальство.

На первом же заседании секретарь прочел речь, написанную Татищевым для участников совещания. Как обычно во всех записках Татищева, здесь давалась историческая справка о развитии горного дела в России и излагались причины, побуждавшие к составлению Горного устава. Главная причина заключалась в том, что с расширением числа промышленников между ними все жарче разгоралось соперничество, что приносило ущерб и отдельным промышленникам, и казне, и производству в целом. К тому же, разъяснял Татищев, многим недостает «знания законов божеского и естественного». На основании этих «естественных и божеских» законов и должен был создаваться устав.

Татищев пытался в миниатюре воплотить и свой политический идеал. Он обращается к участникам с призывом трудиться для общего блага со всяким прилежанием, смело заявлять и отстаивать свое мнение. «Всяк имеет волю свое мнение объявить, колико ему бог в этом знании уделил, и при том остаться, доколе или тот, или другой, познав лучшую истину, первое переменить», — говорилось в записке.

Наставления по порядку обсуждения вопросов вносились и в самый текст Горного устава. Татищев критикует повседневную деятельность коллегий, где, по существу, ничего коллегиального и не было, поскольку «главные, прежде выслушания нижних голосов, свое

мнение объявляют, для которого иногда нижние за почтение, из малости или за страх, истинное свое мнение и сущую надлежность не объявля, оставляют и оному неправильному согласуют и последуют». Высказывание и отстаивание своего мнения было, по Татищеву, не только правом, но и обязанностью. Он резко осуждает тех, кто пытается отмолчаться, когда идет обсуждение важного вопроса, а затем где-то на стороне оспаривает принятые решения. Поэтому им предлагается такой порядок обсуждения, когда мнения первыми высказывают нижние чины, причем высказывают его обязательно.

В основу Горного устава Татищев прямо кладет «закон естественный», для познания которого предлагает ознакомиться с сочинением Пуфендорфа «Право естественное и народное», а также с книгой Гуго Гроция «Право войны и мира». Используется также прежнее русское законодательство, в особенности петровского времени. При спорности и неясности какого-нибудь положения разбираться с ним нужно коллективно, созвав не менее двенадцати ответственных руководителей и приказчиков. Выработанное таким образом законопредложение должно быть отправлено на утверждение в Сенат.

Пользуясь полученными полномочиями, Татищев снова переименовал Обер-бергамт в Канцелярию главного правления сибирскими горными заводами. В уставе определялись обязанности и пределы власти всех членов этого органа управления. И опять-таки Татищев начинал с переименования, придав этому делу ясный политический характер. «Усмотри, что от бывших некоторых саксонцев в строении заводов все чины и работы, яко же и снасти, по-немецки названы, которых многие не знали и правильно выговорить или написать не умели», а также «сожалея, чтобы слава и честь отечества и его труд теми именами немецкими утеснены не были, ибо по оным немцы могли себе ненадлежаще в размножении заводов честь привлекать», Татищев «все такая звания оставил (то есть отменил), а велел писать русскими». Не знающие чужих слов, по Татищеву, «впадали в невинное преступление, а дела во упущение».

Табель горных чинов Татищев направил в Кабинет, и он был даже представлен на утверждение императрицы. Но в дело вмешался Бирон, и проект был отвергнут. Как писал позднее сам Татищев, Бирон «так сие за зло принял что не однова говаривал, якобы Татищев главный злодей немец». И действительно, это был откровенный вызов придворной камарилье. Но автономное русское правительство на Урале было слишком слабым, чтобы состязаться с немецким теневым кабинетом Бирона. Самый этот шаг Татищева выглядит безрассудным, хотя он и получил определенный отклик в рядах собственно русской администрации.

Из-за табеля не был утвержден и самый Горный устав. Но фактически он действовал и при Татищеве, и после него на протяжении XVIII века. Поэтому стоит остановиться на его содержании.

Первый раздел устава посвящен должности главного начальника. Начальнику вменялось в обязанность периодически объезжать заводы, в том числе частные, если об этом попросят заводовладельцы. Начальник должен был вести повседневные записи всех своих важнейших дел. Вместе с земским судьей он участвовал в судопроизводстве.

Таким же образом расписывались обязанности и других служащих Канцелярии главного правления, причем, например, функции земского судьи определялись более детально, чем это было в юридических предписаниях судьям того времени. В устав вносились специальные разъяснения, в каких случаях и каким порядком допускались пытки по отношению к обвиняемым.

Пытки в следственных делах того времени были делом обычным, причем пыток не избегали и титулованные особы. Татищев решительно требует, чтобы «шляхетства и заслуживших знатные ранги (то есть дослужившихся до высоких чинов) не пытать и чести не лишать». Что же касается «подлого» сословия, то судья обязан был обратиться за разрешением прибегнуть к пыткам в

Главное заводское правление и получить «общее согласие». Татищев осуждает судей, которые, «забыв страх божий и вечную душе своей погибель и презрев законы, многократно по злобе или кому дружа, а наипаче проклятым лихоимством прельстился или кто глупым и неразумным свирепством преисполнялся, людей ненадлежаще на пытки осуждают и без всякой надлежащей причины неумеренно и по неколику раз пытаются».

Была, впрочем, одна категория уголовных лиц, к которой Татищев не испытывал никакого милосердия. Это наблюдалось и в первый и во второй его проезд на Урал. Речь идет о ворах. Устав разрешает в отношении ссыльных воров, «ежели хотя в малом воровстве обличатся, во истязании и наказании поступать по законам без всякого послабления».

Статьи устава обсуждались и утверждались на созванном Татищевым совещании. Но, несмотря на его призывы, в тексте не отразилось чье-то еще участие. По всей вероятности, обсуждение свелось к одобрению татищевского проекта. А татищевская рука ощущается не только в строе установления, но и во всей необычной манере изложения. Всюду в уставе просматриваются отсылки к прошлому и настоящему, сравнения с соответствующим положением в экономике и законодательстве зарубежных стран. При определении порядка взимания десятины и прочих возможных поступлений от частных заводов устав напоминает о соответствующем порядке «во всех европейских государствах» и отдельно в Богемии и Саксонии. Оказывается, что там существует больше разных платежей, а горные начальники, помимо казенного жалованья, имеют определенные отчисления и от частных предпринимателей. Частично это положение воплощается в уставе, и возражений оно, очевидно, не вызвало ни у кого. Речь идет о том, что любое приглашение сотрудника канцелярии на частные заводы должно оплачиваться владельцами этих заводов. Новостью, впрочем, был не факт оплаты, а факт ее регламентации, узаконения и в итоге ограничения, поскольку раньше то же самое (но в больших размерах) шло в форме подарков.

Целый ряд статей посвящался школам и порядку учения. Обязанность заниматься этим вопросом возлагалась и на главного правителя, и на другие чины канцелярии. Татищев пытался вменить это в обязанность и частным предпринимателям. Однако с их стороны он встретил жесткое сопротивление.

Для упорядочения взаимоотношений горного начальства с частными заводами и в соответствии с инструкцией Татищев намеревался ввести должность шихтмейстера, в связи с чем был составлен особый наказ. Шихтмейстер за счет жалованья от заводчика должен был вести строгий учет выпуска продукции, следить за порядком и законностью во взаимоотношениях между владельцами и рабочими, принуждать заводчиков строить церкви и школы для детей мастеровых и работных людей.

На первых порах Татищев сумел убедить заводчиков, что введение такой должности выгодно им самим, так как предохраняет от махинаций недобросовестных приказчиков. Но вскоре они убедились, что экономия на махинациях приказчиков куда меньше потери от ограничения возможности обкрадывания казны. Поэтому они дружно и решительно восстали против нововведения Татищева. О главной причине в жалобе они, конечно, умолчали. Но и указанное ими проливает свет на существо того положения на заводах, которое Татищев пытался изменить.

В совместной челобитной на имя императрицы промышленники предъявляли претензии по трем вопросам. Во-первых, они не соглашались с усложнением отчетности, считая, что все это может повести лишь к удорожанию себестоимости производства металла. Дело, конечно, было не в удорожании себестоимости. Плохая отчетность позволяла обходить разного рода ограничения, накладываемые казной, в частности, уменьшать размеры десятины. Особенно важно было укрывать от казны факт найма на заводы различного рода беглых. Как правило,

власти смотрели сквозь пальцы на укрытие беглых крестьян. Но беглые солдаты подлежали немедленной и безусловной выдаче. На заводах же и таковых было немало. У Осокиных в 1739 году с паспортами было не более десяти процентов рабочих.

Наказ Татищева предусматривал своеобразное государственное регулирование взаимоотношений между заводчиками и рабочими. Идеи Татищева и в этом отношении поражают широким размахом. Татищев стремился оградить рабочих от произвольного занижения зарплаты, ввести оплату половины, даже полного жалования в случае болезни или простоя по вине владельца. Естественно, заводчики решительно выступили против этой явной попытки ограничения их произвола в отношении рабочих. И правительство, к сожалению, также вполне естественно, встало на сторону заводчиков, а не рабочих и не Татищева, отстаивавшего их интересы.

Решительно возражали заводчики и против заведения школ. И дело даже не только в том, что им не хотелось тратить средства на обучение детей своих рабочих. Они эксплуатировали самый детский труд. Заводчики прямо говорили, что дети шести-двенадцати лет уже выполняют у них многие работы при добыче руд. Правительство блеснуло чадолюбием, запретив «принуждать к ученью неволею».

В Татищеве часто видят приверженца жесткой регламентации частной инициативы предпринимателей, осуществляемой дворянским государством. Но такая характеристика неточна. Он стремился не столько к регламентации, сколько к насаждению законности и в эту сферу общественной жизни, как стремился он к этому во всем, чем ему приходилось заниматься. В основе всего должен лежать «естественный закон» и его этическое осмысление — закон «божественный». Из государственных установлений принимаются обычно лишь те, которые соответствовали «естественному» и «божественному» законам.

Даже и в наказе шихтмейстеру Татищев не преминул напомнить, что «у нас приказные служители от необучения весьма пространно пишут лишние и непотребные слова, и наипаче чужестранные, которых иногда и сами не знают, за щегольство кладут и тем излишнюю бумагу и время теряют», а не «знающих чужестранных слов в сумнение и погрешение приводят». Но там, где речь шла об организации производства, примером являлись именно чужие страны: Швеция, Саксония, Богемия. Оттуда позаимствовал Татищев и идею введения должности шихтмейстера.

Четкая налаженность и особенно строгий учет никогда не были сильными сторонами русской хозяйственной жизни. Российский размах не терпел любых стесняющих установлений, даже если они работали на пользу промышленника. Главное же, чем всегда отличалась российская действительность, — совершенное неуважение законов. Правительство часто издает законы как бы для очистки совести, смотря далее сквозь пальцы на их нарушения. Для служащих государственного аппарата законы не столько руководство к действию, сколько средство запугивания обывателей, дабы получить возможность «судить не по закону, а по совести». Татищев, в сущности, мало что внес от себя: введение должности шихтмейстера предусматривалось данной ему (правда, по его же настоянию) инструкцией. Но в стремлении руководствоваться законами Татищев явно выпадал из современной ему российской действительности.

В основу деятельности и чиновников и промышленников Татищев стремился положить тот же принцип «пользы отечества». Но в этом проявляется и утопизм некоторых его представлений. «Пользу отечества» все понимали по-своему. Для Коммерц-коллегии дело сводилось к исправному поступлению десятины. Достигнуть же «исправности» она рассчитывала поощрением доносов подьячих на заводовладельцев, периодическими ревизиями и наказаниями за ложные сведения. Татищев не мог принять такой системы проверки, поскольку для него важнее было предотвратить возможность преступления. К тому же ревизии обычно

являлись источником новых еще более крупных преступлений как со стороны ревизуемых, так и со стороны ревизоров, неумемно собиравших всевозможные подношения.

Для промышленников «польза отечества» всегда была прикрытием и оправданием удовлетворения корыстных устремлений. Капитал по своей сути плохо уживается с идеей «пользы отечества». Не случайно шихтмейстеру предписывалось следить за тем, чтобы за границу не продавались «тайно и явно» (последнее тоже не исключалось!), «без указа», пушки, мортиры, бомбы и т. п.

Появление на Урале целого ряда заводовладельцев привело к вспышкам жестокой конкурентной борьбы, когда более сильные душили слабых и начинающих то слишком высокими ценами на необходимые припасы, то демпинговыми ценами на готовую продукцию, пока надо было устранить соперника. «Пользой отечества» при этом, конечно, и не пахло. Татищев же исходил из того, что в интересах отечества иметь больше заводов и заводчиков, а потому стремился поддержать слабых против сильных.

Последней цели служил целый ряд мер: равный доступ к необходимым припасам, равная цена при отпуске продукции с заводов. Кстати, цена эта была достаточно высокой. При себестоимости пуда меди в 30-е годы в четыре рубля продажная цена ее устанавливалась в шесть с половиной рублей. В правительственных сферах, как можно было видеть, были сторонники куда большего ограничения прибылей заводчиков. К тому же заводчики не сдерживались в назначении цен при отпуске металла какому-нибудь отдаленному торгу. Стремился осуществить Татищев и свое старое предложение: освободить новые заводы на три года от десятины и других податей, дабы таким образом поощрять новых предпринимателей.

Соображениями «пользы отечества» руководствовался Татищев и тогда, когда требовал от промышленников расширения действующих предприятий и запрещал им без разрешения канцелярии останавливать существующие. Промышленники часто останавливали предприятия в погоне за ближайшей и непосредственной выгодой. Так, к моменту появления Татищева на Урале у Демидова работала едва четверть домен якобы потому, что нечем платить рабочим (этот произвол побудил Татищева предложить заводчикам узаконить оплату рабочих примерно на том уровне, на каком оплачивали Демидовы, в том числе и за дни необоснованных простоев). На самом деле, конечно, заводчик умышленно сгущал краски.

Совершенной новостью было социальное законодательство Татищева. Промышленники не слишком грешили против истины, когда писали, что «до сего времени оного платежа мастеровым людям никогда при партикулярных заводах не бывало, и в том жалобы ни от кого не происходило». Заводчики были убеждены, что «и жаловатца им невозможно, для того что объявленные остановки ненарочныя». «Також и болезни и несчастья, — философствовали заводовладельцы, — приключаютца по воли божий, а не от промышленничья неусмотрения».

Использование же детского труда заводчики цинично оправдывали «всенародной пользой»: детям платят по две копейки в день за те работы, на оплату которых взрослым уходило бы по шесть копеек. Промышленники угрожают даже остановкой заводов, если шестилетних детей вместо работы отправят в учение. «И впредь заводов размножать ревностной охоты не будет, но и старые содержать будет невозможно», — пугают они.

Основной принцип предпринимательства заводчики выразили совершенно четко: «Всяк в своем промыслу властен капитал свой содержать так, как кому за полезное разсудитца». Здесь уж не до «пользы отечества». Тем не менее заводовладельцам удалось добиться удовлетворения своего ходатайства.

Промышленники не случайно опасались намерения Татищева дать мастеровым больше прав, чем хотели бы иметь сами мастеровые. Такого рода предложения могли бы побудить мастеровых к выдвиганию своих требований. А правящие классы приложили немало усилий,

дабы отучить трудящихся что-либо требовать. К тому же многие из тех, за кого вступался Татищев, принадлежали к числу беглых, по закону подлежащих возвращению прежним владельцам. Новые владельцы и так представляли себя в глазах беглых благодетелями.

В правительственных кругах знали, конечно, что заводчики не выполняют строжайшие указы о возврате беглых. И складывается парадоксальное положение. Татищев был убежденным противником этих установлений. Но по служебному долгу он обязан был следить за их неукоснительным выполнением. Правительство же, издававшее указы, хотело бы, чтобы его администрация не изъясляла излишнего усердия при проведении их в жизнь. Это тоже обычное положение в российской административной практике: о нарушениях законов все знают, но до поры до времени нарушителя оставляют в покое. Затем, если он не угодит чем-то высшему начальству, ему вспомнят именно эти нарушения.

Незадолго до приезда Татищева на Урал на территории заводов внедрился винный откуп, построивший там кабаки. В одном донесении 1731 года сообщалось, что «от всегдашнего пьянства мастерские люди в совершенное безумие приходят, и мастерства доброго лишаются, и делать железа мягкого против указных сортов пьянство не допускает; и на пристанях от поставки кабаков, во время отпуска стругового с железом, не без повреждения бывает, для того, что работники, напившись пьяные, а паче струговые сплавщики, от быстроты реки Чусовой, в пьянстве струги с железом разбивают и между собой великие драки у пьяных бывают, что друг друга до смерти убивают». В наказе шихтмейстеру у Татищева имеется целый раздел «О кабаках». Он вынужден считаться с обстановкой. «Хотя, — говорит он, — от кабаков при заводах бывает великой вред и как казенным, а наипаче промышленным заводам приключается от пьянства немалой убыток, однакож и бес питья мастерским и работным людей пробыть не беструдно». К тому же закрытие кабаков, по Татищеву, все равно ничего не даст, так как приведет лишь к еще более широкому распространению «вредительных шинков» (которых было особенно много на заводах Демидова). Татищев предполагал решить этот вопрос установлением дней продажи: «в праздники и протчие нерабочие дни» «от обедни до вечера» (до девяти часов летом, до пяти зимой). В прочие дни отпуск вина разрешался «разсмотря обстоятельств». О какого рода «обстоятельствах» может идти речь, видно из разрешения вопреки монополии изготовлять вино и другие напитки «на свадьбы, крестины и тому подобные случаи».

В конечном счете административная деятельность Татищева оказалась ограниченной по всем линиям. В 1736 году по неоднократным ходатайствам, сдобренным крупными взятками, заводы крупнейших предпринимателей Демидовых и Строгановых именным указом императрицы вывели из ведения Татищева, и многие его планы по преобразованию края были подорваны в корне. Тем не менее за два с половиной года пребывания на Урале Татищеву удалось сделать очень многое.

С особым размахом Татищев поставил разнообразные разыскания для более полного использования производительных сил края. Сразу по прибытии на Урал в октябре 1734 года он рассылает «во все города Сибири» вопросник с 92 вопросами, касающимися проблем исторического, географического и этнографического содержания. В Академию наук 5 ноября он сообщает: «Здесь ландкарты Пермскую, Вятскую и Угорскую нашел я весьма неправы, и для того велел вновь описать и мерять, к тому и степи за Уралом, до сего времени наугад положенной, немалую часть описал».

Вопросники требовали также упоминания фактов находки разных руд, минералов, драгоценных камней и т. п. Татищев не скупился на поощрение разнообразных изысканий как из казенных, так и из собственных средств. Так, он выдал геодезисту Василию Шишкову из своих средств пятьдесят рублей за описания и чертежи «куриозных мест» с изображениями «идолов на

холсте». Получив от Татищева этот труд, академия пригрозила, что оплачивать такого рода расходы она не будет. А Татищев о делах академии радел все-таки больше, чем сама академия. Поэтому он писал в августе 1738 года, что «если впредь такие чрезвычайные курьезные вещи кем найдены и объявлены будут, то хотя и Академия наук награждения дать не изволит, но я, не пожалев своих денег, буду давать и в академию оные сообщать». В дальнейшем примерно так дело и обстояло. Татищев оплачивал весьма дорогостоящие работы своими средствами и передавал результаты Академии наук, где это в лучшем случае оседало в архивах в ожидании грядущих исследователей.

Благодаря поощрению, оказываемому рудознателям, в том числе старателям из местных крестьян, Татищев очень скоро располагал огромными запасами для расширения металлургического и других производств на Урале и в Сибири. В кабинет министров он неоднократно доносил о том, что «ежели заводы заводить, то можно хотя тридцать построить». Он их и строил, так что в 1737 году у него «по статую», как отметил в свое время Н. А. Попов, было их более сорока (естественно, с частными), и предполагалось строительство еще 36. В конечном счете все они были построены: 15 при Елизавете и 21 при Екатерине II. В этой справке важно даже не количество заводов (сейчас спорят, что следует считать особым «заводом»). Важна исключительная точность Татищева в определении того, что именно нужно.

Крупнейшим событием явилось открытие в 1735 году богатейших железных руд на горе Благодать. «Оная гора есть так высока, — писал Татищев Анне Ивановне, — что кругом видеть с нее верст по 100 и более; руды в оной горе не токмо наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину более 200 сажень, поперек на полдня сажень на 60; раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину; надеюсь, что и во многие годы дна не дойдем. Для такого обстоятельства назвали мы оную гору Благодать, ибо такое великое сокровище на счастье вашего величества по благодати божией открылось» (Татищев льстит императрице, обыгрывая значение ее имени: Анна — благодать). Именно из-за этой горы разгорелись страсти, приведшие в конечном счете к удалению Татищева с Урала. Частные владельцы наперебой предлагали Татищеву громадные взятки за возможность ее единоличной эксплуатации. Но верный своим правилам, Татищев не только отверг взятки, а и готов был взять не слишком застенчивых вымогателей в долю для совместной разработки месторождения.

Главным препятствием, сдерживавшим развитие уральских заводов, было отсутствие рабочей силы. Вольнонаемных рабочих было слишком мало, и были это по большей части беглые из центра. Исходя из сложившегося положения, Татищев стремится закрепить за Уралом то население, которое сюда по тем или иным причинам попало. Он просит все коллегии и канцелярии отправлять подлежащих высылке колодников к нему на заводы. Среди ссыльных и колодников, как и ранее, он отыскивает возможных специалистов. Так, он ходатайствовал о возвращении чина поручику Ближевскому, оказавшемуся «к правлению заводов способным и состояния доброго». И ему удалось убедить министров и Сенат в целесообразности положительного решения вопроса.

Татищев предлагал поощрять к переселению за Урал особыми указами «охочих людей». Но такой путь был возможен лишь при весьма активной антикрепостнической политике. А это было, конечно, нереально. Поэтому на практике дело сводилось к удержанию за Уралом естественным порядком скапливавшихся там беглых и местных рекрутов. Частично эти задачи Татищев разрешил. Так, рекруты должны были оставаться здесь же для охраны заводов и тому подобных служб. Беглых же не возвращали их прежним владельцам, а выкупали по 50 рублей за главу семьи. Тот, кто выкупал себя сам, становился лично свободным, а те, за кого выплачивала канцелярия, считались отныне собственностью заводов.

Много сложностей возникало с раскольниками. Правительство после смерти Петра и

особенно в правление Анны Ивановны усилило преследование раскольников. Их положено было рассылать по монастырям или в отдаленные районы — «в работы», а особо упорных расточали по тюрьмам. Татищев по должности должен был осуществлять эти правительственные распоряжения.

Предшественник Татищева на Урале — Геннин, как и многие другие иностранцы, недавно прибывшие в Россию, в религиозные дела старался не вмешиваться. Смысл религиозных распрей в России ему был совершенно непонятен. К тому же он получал от раскольников ежегодную мзду в размере нескольких тысяч рублей и не хотел от этого надежного (в отличие от правительственного жалованья) источника доходов отказываться. В Петербурге об этом знали и выражали естественное недовольство Геннином. Особенно возмущались церковные власти, по настоянию которых в инструкции Татищеву был записан пункт, требующий усиления борьбы с раскольниками.

Татищева руководители раскольничьей общины, в числе которых были старосты и приказчики Демидовых и Осокиных, встретили тоже немедленно подготовленной взяткой: сначала тысячью, а на другой день двумя тысячами рублей. Татищев растерялся оттого, что за эту взятку раскольники даже ничего и не просили. А сами раскольники перепугались оттого, что Татищев от взятки отказался: такого на Урале еще не было. Старообрядцы прямо заявили Татищеву, что если он денег не возьмет, то «они будут все в страхе и будут искать других мест». Татищев сообщал Остерману, что он «обещал им оныя принять, когда о невысылке их указ получу, а до тех бы мест держали те деньги у себя, и с тем их отпустил». Указа такого вопреки надеждам Татищев, однако, не получил.

Надеясь, что правительство поддержит его предложение записать беглых вообще и раскольников в частности на Урале за заводами, Татищев изложил этот план и приказчикам старообрядцев. Приказчики с планом согласились. Однако он не был принят ни правительством, ни основной массой раскольников. Правительство все более отдавало предпочтение посылкам военных команд для уничтожения раскольничьих скитов.

На Урале раскольникам прямо покровительствовали некоторые заводчики. Петр Осокин позднее (в 1767 году) и сам вместе со всем своим семейством перешел в старообрядчество. У Демидова же старообрядцы составляли подавляющую часть его рабочих, и «покровительство» позволяло ему выжимать со старообрядческой общины немалую дополнительную прибыль. В условиях обострившейся борьбы с частными промышленниками Татищев мог сильно повредить им простым исполнением своих административных обязанностей. Но он не стремился уличать даже и недругов в тех грехах, от которых и сам не хотел освободиться.

К расколу Татищев относился, безусловно, отрицательно. Он решительно не мог принять антигосударственных устремлений раскольников, а также их религиозного фанатизма. Никона, как известно, он тоже осуждал за попытку поставить церковь выше светской власти. Но в самом направлении реформы он видел шаг на пути к изживанию суеверий. Раскол же он воспринимал не как одно из религиозных учений (к расхождению которых, как говорилось, он был весьма терпим и даже безразличен), а как опасное суеверие. Тем не менее крутых мер борьбы с раскольниками Татищев не поддерживал. Он уверял, что если завести школы и учить там детей раскольников, а к самим староверам прислать «искусных» священников, то раскол не только не сможет распространяться далее, но и постепенно искоренится.

Надеясь на то, что правительство согласится с его доводами, Татищев ходатайствовал о том, чтобы на Урал были отпущены и члены семей раскольников, если таковые оставались на местах их прежнего проживания. Правительство же направляло на искоренение раскола воинские команды и требовало принятия подобных мер Татищевым. Он должен был подчиниться. Но тех, кого согласно инструкции подлежало разослать по тюрьмам, он рассылал по монастырям. Из

монастырей (а отчасти и из тюрем) раскольники разбежались. Возникло целое дело, в котором трудно было найти виновного. Татищев снимал вину с себя, возлагая ее на губернское начальство и консисторию. Взять на себя обязанность содержать арестованных в тюрьмах он отказался, а от проведения повторных «облав» уклонился на том основании, что, «забрав их, куда девать не знает, видя, что отданные им в сибирские монастыри все до одного разбежались». По просьбам же заводчиков, тех или иных старообрядческих деятелей он и прямо отпускал в их распоряжение.

Перемены во всем крае происходили буквально на глазах. За два года преобразил свой облик Екатеринбург (Екатеринбург). В городе появились каменные здания. Быстро рос посад. Купечество получило самоуправление: ратушу, выборных бурмистров, советников ратуши. По истечении года каждый советник предлагал взамен себя одного или двух представителей посада, из которых главный начальник делал выбор: кого включить в состав действующего совета? Так, в ограниченном виде Татищев пытался осуществить свой «конституционный» проект. Снова Татищев ставит вопрос о создании постоянной почтовой связи между Казанью и Сибирью. Снова заводовладельцы протестуют против требования Татищева поддерживать в порядке мосты и дороги.

Одним из главных направлений деятельности, в котором Татищев проявлял особую неутомимость и настойчивость, было школьное дело. Татищев стремился всех заставить либо учить, либо учиться. Первые школы, основанные им в 1721 году, без него особенно не процветали, хотя Геннин и не оставлял их без внимания. Геннин, в частности, перевел школу из Уктуса в Екатеринбург (в 1724 году) и следил за тем, чтобы она не прекращала работы. Но Татищев остался недоволен и этой школой. Он нашел, что она не укомплектована: вместо ста человек, которых она могла принять, в ней училось немногим более полусотни. Не добившись от частных владельцев согласия на создание школ при их заводах, Татищев настойчиво внедряет школы при казенных предприятиях. В 1736 году он составил «Учреждение, коим порядком учителя русских школ имеют поступать». Это было первое практическое пособие для обучающихся, первый труд по педагогике.

К учителю Татищев предъявляет самые строгие требования. Наставник должен заботиться о своих учениках «как отец о сущих детях». «Но как известно, что младенцы образы жития старших над собою от видения приемлют и по тому прилежно и следуют, того ради должен учитель быть благоразумен, кроток, трезв, не пианица, не зершик (то есть не игрок в кости, зернь), не блудник, не крадлив, не лжив, от всякого зла неприличных, паче же младенцам соблазненных поступков отдален, чтоб своим добрым и честным житием был им образец». Учителя должны «каждодневно в школу приходить прежде прихода учеников», чтобы «изготовить» все необходимое для учения.

В зависимости от возраста учащихся предлагаются разные приемы обучения. Для пятишестилетних нужен самый легкий режим. Они не могут «долее сидеть как 2 часа сподряд» и «дабы вдруг сидением не отяготить и науки им не омерзить, некогда и между учением может учитель на полчаса младенцем допустить погулять». Начиная же с семи лет предполагается довольно жесткий ритм обучения. Летом (с 1 апреля по 1 сентября) занятия начинаются с шести часов и продолжаются до десяти часов, а затем после обеда еще с двух до шести. Зимой — с восьми до одиннадцати и с двенадцати до трех часов пополудни. Весной и осенью продолжительность учения — четыре до обеда и три часа после обеда.

В ходе учения учитель должен проявлять выдержку, терпеливо поправляя ошибки, «однако ж без всякой злобы и свирепости, но ласково и с любовью показуя себя как словами, так и поступками любительно и весело». При успехах ученика надо его «похвалить и скорым науки окончанием обнадеживать». Сильные ученики прикрепляются к слабым для помощи

«надзирания».

Уставы начала XVIII века предусматривали в школах даже специального солдата для порки нерадивых или провинившихся учеников. Татищев стремится сделать обучение более приятным для учащихся, а заодно, как и во всем, добивается их заинтересованности. «Чтоб ученики охотнее и скорее обучались и меньше принуждения и надзирания требовали», советует давать им определенные задания, «и как скоро которой урок свой выучит, так скоро его с похвалой из школы выпустить, через что и ленивым подастся лучшая охота». Татищев советует постепенно увеличивать нагрузку, начиная с «уроков малых». Классной системы в школах этого времени еще не было. Задания каждому ученику давались особо. Заметив у кого-либо способности, учитель должен постепенно увеличивать его нагрузку. В отношении же «ленивых» допускается и наказание. «Однакож не столько битьем, кап другими обстоятельствомы, а наипаче чтоб более стыдом, нежели скорбию, яко стоя у дверей, привязану к скамье и на земли сидя кому учиться, или неколико часов излишнее пред другими в школе удержать».

Наставления Татищева слишком далеко расходились с обычной педагогической практикой. Сознавая это, Татищев делает «уступку»: «И если такие наказания жестокосердному недостаточны, тогда биением по рукам или лехкою плетью по спине, токмо того весьма храниться, чтоб часто не бить, ибо тем более побои в уничтожение и ученики в бесстрашие приводятся (то есть наказание уже не будет оказывать воспитательного воздействия). В голову же и по щеке учеников отнюдь не бить».

Татищев критикует принятую в его время систему обучения, когда до пяти лет учили наизусть часовник, псалтырь и апостол, не вникая в смысл заучиваемого. Лишь после того обычно переходили к письму. Он считает такое обучение бессмысленным, поскольку учащиеся, а иногда и учителя не понимали даже, о чем идет речь. Поэтому полезнее не заучивать, а пересказывать содержание, «чтоб простым наречием и хотя непредписаным порядком пересказал».

Обучение письму должно следовать сразу за усвоением чтения. Для чтения выделяются утренние часы и для письма — послеобеденные. Разрыв между чтением и письмом намного ускорял процесс обучения.

В процессе обучения письму Татищев советовал избавляться от некоторых архаичных особенностей графики, затруднявших понимание рукописных текстов. Примерно до середины XVIII века сохранялось письмо с большим разнообразием в начертаниях тех или иных букв, с сокращениями и выносными буквами и слогами. Не всегда выдерживалось и разделение слов. Татищев предписывает, «чтоб в письме странных букв и много на верху строки, а особливо целого слогу не писали», «чтоб одну букву с другой не мешали», «привыкать речь разделять точками, где дух переводить, запятыми, что читающему вразумительно было», «строки вести прямо и между строк оставливать равно, в котором не малая письму краса есть».

Чтение и письмо входило обычно в начальное образование. По овладении тем и другим начинали учиться арифметике и геометрии. Поскольку не на всех заводах имелись учителя арифметики и геометрии, обязанность обучения этим дисциплинам Татищев возлагает на «надзирателей работ тех заводов».

Специальная подготовка заводских работников основывалась уже на этих общеобразовательных предметах (чего, кстати, тоже нигде в России еще не было). Изучались прежде всего дисциплины, необходимые для данного производства. На металлургических заводах к таковым относились рудознательство, «механика, то есть хитродвижность, чрез которую научиться силу машин вычитать, оные вновь сочинять и с пользою в действо приводить», «архитектура, или учение строений», дабы «крепко строить и с пристойною вида красотою отделать», и, наконец, «наука знаменованья и живописи», «понеже она всех природных вещей

сусчую подобномерность в членах разуметь и паче свет и тень различать поучает».

Перечисленные науки «от нижнего ремесленника и до высшего начальника каждому полезны и нужны». Кроме того, ремесленникам нужно знать токарное, столярное и паяльное ремесла. Настоятельно советует Татищев также овладевать умением «каменья резать и грани». Этот вопрос занимал его еще до поездки в Швецию. Однако и теперь приходилось с сожалением отмечать, что «достають различные каменья, которые иногда многократно дороже стоят, нежели руды 100 пуд.; но за незнанием бросают».

В зависимости от сословной принадлежности учащиеся после обучения чтению и письму направляются в разные школы. Так, дети подьячих и управителей поступают в немецкую школу, а дети церковнослужителей — в латинскую, где, в частности, особое место занимает обучение пению по нотам (для церковных хоров). Но внутри одной школы сословный принцип отменялся. Исходя из того, что «предпочтение подает немалую пользу», Татищев рекомендовал, «чтоб высший в науке высшее и место имел и всегда у нижайшего правую руку брал, несмотря его рода, ни возраста».

Как и в первый свой приезд на Урал, Татищев следил за тем, чтобы неимущим учащимся выдавалось жалованье. Удержка этого жалованья за какой-то срок была одной из форм наказания за нерадение. Учащиеся ограждались от всевозможных домашних дел, а в случае, если родители будут их к чему-то принуждать, учитель должен был донести «командиру», «который родителей и содержателей накажет».

Татищевым была создана на Урале целая сеть школ разного уровня. Это требовало значительных средств. А правительство таких средств, конечно, не давало. Татищев изыскивает эти средства на местах, главным образом в заводской казне. В 1737 году, составляя новое штатное расписание школ, он кладет ректору всех училищ Штирмеру жалованье в пятьсот рублей — почти вдвое больше, чем ему самому Берг-коллегия собиралась платить в Швеции. Субректоры латинской и немецкой школ получали соответственно 250 и 240 рублей. Изыскиваются любые возможности для приобретения учебников и учебных пособий. В 1735 году он создает специальную горную библиотеку и отпускает за два года на покупку для нее книг полторы тысячи рублей. Уезжая в 1737 году из Екатеринбурга, Татищев подарил этой библиотеке свое огромное по тем временам книжное собрание — более тысячи книг. Если же учесть, что и ранее значительная часть литературы закупалась на его собственные средства, библиотеку можно смело считать основным объектом вложения капитала со стороны Татищева.

После отъезда Татищева с Урала сохранились не все учрежденные им школы. Однако по сравнению с другими учебными заведениями России они оказались самыми жизнеспособными. Екатеринбургское же горное училище просуществовало до конца XIX века. Это был главный в XVIII веке центр подготовки технических кадров для русской промышленности.

Школы Татищева преследовали определенные социальные цели и дали в этом отношении некоторые результаты. Татищев, как говорилось, видел в просвещении основную дорогу к прогрессу страны и общества в целом. Просвещение должно было изменить самого человека, приучить к общежитию, к сознательному соблюдению законов, подготовить общество к установлению республиканского строя и т. п. В конечном счете распространение знаний должно было содействовать замене существующего сословного деления более целесообразным, зависящим от действительного вклада тех или иных социальных групп в общее благоденствие. Школы Татищева набирались почти исключительно из детей разночинцев. Более половины учащихся, например, Екатеринбургской школы, составляли дети мастеровых. В учение обязательно отдавали детей-сирот независимо от их происхождения, закрывая таким образом один из главных источников пополнения рядов «гулящих людей». Именно просветительская деятельность Татищева обеспечила будущий подъем промышленности Урала, а также выделила

заводских рабочих как относительно более просвещенную часть зависимого населения. Не может быть сомнения и в том, что распространение татищевских принципов построения образования на всю страну существенно ускорило бы ее развитие, создав уже в XVIII веке иное соотношение между дворянством и третьим сословием.

Трудно, конечно, допустить, чтобы Татищеву в условиях крепостнической действительности удалось осуществить все свои обширные замыслы. Но уральскую промышленность он смог бы поставить так высоко, как она едва ли стояла и во второй половине столетия. Татищев обещал за несколько лет резко поднять производство металла, обеспечить отпуск за границу трехсот тысяч пудов высококачественной продукции уральской металлургии. Одна гора Благодать сулила казне 50 тысяч годового дохода. Но именно это-то и не давало покоя Бирону и его приспешникам.

Между тем обстановка в Петербурге для Татищева ухудшилась. В 1735 году умер Маслов. Тогда же скончался и фаворит Анны Левенвольде, в результате чего влияние Бирона резко возросло. В 1736 году Бирон вызвал из Саксонии якобы для управления горными заводами барона Шемберга. 4 сентября 1736 года был обнародован указ о создании Генерал-берг-директориума, которому были переданы права бывшей Берг-коллегии. Первые же распоряжения Шемберга выявили его совершенную неосведомленность не только в делах русской промышленности, но и в горном деле вообще. Татищев не преминул прямо заявить об этом в письме самому Бирону. Это и предрешило его судьбу.

Чем далее, тем циничнее действовали иноземные хищники. Как раз тогда, когда исправленные Татищевым казенные предприятия начали давать значительный доход, они, как писал позднее Татищев, вознамерились «оный великий государственный доход похитить». С этой целью снова был поставлен вопрос о передаче казенных заводов в частные руки, причем через подставные лица к ним протягивали руки непосредственно Бирон и Шемберг. Афера была настолько явной, что даже послушная комиссия, включавшая барона Шафирова, графа М. Головкина и некоторых других лиц, не решилась включить в число передаваемых частным лицам уральские заводы. А именно эти заводы и нужны были Бирону и Шембергу.

Татищев, как отмечалось, был последовательным сторонником поощрения частного предпринимательства. Но в данном случае наиболее совершенным воплощением этого идеала являлись как раз возглавляемые им заводы. Недостатки казенной бюрократической системы здесь были сведены до минимума, а преимущества крупного хозяйства оставались. Татищеву удалось получить для себя и своей канцелярии значительную самостоятельность, делавшую чиновников участниками производства, заинтересованными в его процветании: именно от доходов промышленности выплачивалось им жалованье. Татищев получил возможность распоряжаться весьма крупными суммами. Но он делал это, во-первых, в интересах широко понимаемой «пользы отечества», а во-вторых, с обсуждением основных статей расходов в созданной им коллегии. Беспрецедентный опыт, однако, не удалось довести до сколько-нибудь логического конца.

От Татищева решили избавиться «спокойно»: его произвели в тайные советники и поставили во главе Оренбургской экспедиции. По положению за ним сохранялось и главенство над заводами. На самом же деле он ими заниматься не мог. За два года Шемберг и Бирон присвоили за счет уральских заводов огромную сумму в четыреста тысяч рублей, разорив, естественно, сами заводы. А Татищева, обеспечившего этот доход, вскоре будут судить за якобы неправильно израсходованные четыре тысячи рублей. Русский народ все дороже расплачивался за монархическое усердие дворянской гвардия в 1730 году.

Хороший пастух снимает с овец шерсть, а не шкуру.

Светоний

*Воронам все сходит с рук;
голубям — никакого прощения.*

Ювенал

10 мая 1737 года Татищев был назначен на должность главы Оренбургской экспедиции. «Мы на ваше вечное радение и доброе искусство всемилостивейше полагаемся, — говорилось в рескрипте, подписанном Анной, — и что вы в оной комиссии тщательнейшие свои труды прилагать не оставите, за что вы и о нашей к вам высочайшей милости и действительном награждении всегда обнадежены быть можете, яко же и ныне в знак того вас в наши тайные советники жалуем». От Татищева откупались высоким чином: как будто он входил теперь в элиту государства. К тому же он получил и военный чин генерал-поручика. Но Татищев хорошо понимал, что это не было действительным повышением. К тому же на Урале осталось много неоконченных дел, с которыми ему было больно расставаться. 25 июня он сетовал в письме к Остерману и Черкасскому, что «заводы совсем определить не возмог». Снова обострилась болезнь. Но, «опасаясь за умедление (то есть из-за промедления) ее и. в. гнева», несмотря на болезнь, «на носилках поехал до пристани, а докончания заводские поручил советнику г. Хрущову». Хрущов, однако, тоже вскоре был отозван с заводов.

Татищев сменил на посту начальника Оренбургской экспедиции (или комиссии, как ее стали называть позднее) Ивана Кирилловича Кириллова (1689-1737). Кириллов был ярким представителем той части петровской администрации, которая неизменно на первый план ставила государственный интерес, хотя понимала его несколько парадно и не любила точного учета, что чего стоит. Кириллов, как и Татищев, большое внимание уделял наукам и ратовал за образование. Он имел обширные познания в разных областях знания, а география являлась даже основным интересом его жизни. После того как Татищев был в 1720 году отправлен на Урал, именно Кириллова поставили во главе всех геодезистов, разосланных по губерниям для составления ландкарт. Выйдя из «низов», Кириллов за двадцать лет службы в Сенате дослужился до обер-секретаря (он получил этот чин в 1728 году, после того как Маслова взяли в том же качестве в Верховный тайный совет). Но и своих географических занятий он никогда не оставлял. В 1727 году им был завершен труд «Цветущее состояние Всероссийского государства в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец отечества» (опубликован в 1831 году). Это было первое статистико-экономическое обозрение России. В 1734 году он «своим коштом» опубликовал 1-й том «Атласа Всероссийской империи». В качестве обер-секретаря Сената он энергично пробивает разного рода экспедиции, обычно имея в виду конкретный государственный «прибыток». Он, например, весьма прохладно отнесся к первой экспедиции Беринга (1725-1730), полагая, что путешественник «только одно известие — соединяется или не соединяется Америка — привезет, а о интересе настоящем от него ожидать нечего». Элементы «настоящего интереса» Кириллов постарался вложить в план второй Камчатской экспедиции (1733). В своем проекте он предусматривает самое широкое освоение Дальнего Востока с созданием центра в Охотске. Он верит в возможность сооружения здесь железных и судостроительных заводов, развития торговли и сельского хозяйства и даже

намеревается открыть в Охотске школу, дабы могли «люди к службе знающие вырастать, а не дураками оставаться». Участникам экспедиции предписывается «металлов и минералов осматривать» и «сыскивать новых земель и островов», «дабы сколько можно в подданство приводить».

Оренбургская экспедиция также была затеяна Кирилловым. В 1731 году хан казахского Младшего жуза (одной из трех групп казахских племен) Абул-Хаир обратился с просьбой принять его в российское подданство, поскольку над казахами нависла угроза со стороны джунгар. В Петербурге просьба была воспринята с удовлетворением, но действенной помощи Россия оказать была не в состоянии, так как не имела на юго-востоке ни военных сил, ни дорог, ни опорных пунктов. В этих условиях Кириллов и взялся за разработку плана Оренбургской (или, как она сначала называлась, Киргиз-Кайсацкой) экспедиции. Согласно плану Кириллова необходимо было построить крепость у впадения Ори в Яик, затем пристань у устья Сырдарьи на Аральском море и проложить охраняемый путь вплоть до Средней Азии, а при случае и до Индии. Торговля со странами Ближнего и Среднего Востока даст несметное количество золота и серебра.

Несмотря на очевидную легковесность плана, он был сравнительно легко одобрен. На помощь энергии Кириллова в данном случае пришла, с одной стороны, неосведомленность многих влиятельных лиц при дворе, а с другой — флирт с английскими торговыми компаниями, который в это время вел Бирон. Не случайно (кстати, по совету А. Кантемира) в экспедиции скоро объявится англичанин Эльтон, который впоследствии доставит немало хлопот русской стороне. Исполнение плана поручили самому Кириллову, и он страстно отдался задуманному делу. В том же 1734 году, когда Татищев направлялся на Урал, выехал в Уфу и Кириллов.

Он успел кое-что сделать. У устья Ори город был заложен. Было создано несколько опорных пунктов по юго-восточному порубежью, обнаружен путь к вновь построенному городу от Самары, куда перебрался штаб экспедиции. Но первоначальные планы были отодвинуты начавшимися волнениями башкир. Поводом для них послужило именно строительство крепостей.

Несмотря на общность, казалось бы, многих интересов, отношения Татищева с Кирилловым никогда не были доверительными и просто благоприятными, хотя им приходилось трудиться бок о бок. Слишком разными были их характеры. Татищев не мог, например, назвать «цветущим» состояние России 1727-го и какого угодно другого года. Он всюду замечал в первую очередь недостатки и всеми силами стремился их устранить. Кириллов, напротив, воспринимал действительность в радужных тонах, даже если к этому было и не слишком много оснований. В конечном счете он умел пробудить рвение у многих из своих сотрудников и чего-то добиться. Но, с точки зрения Татищева, цена получаемых результатов была слишком высока, а качество низко. В итоге непонимание было взаимным.

Именно Татищев предупредил Кириллова, равно как и Петербург, о назревающем восстании башкир и советовал принять меры предосторожности. Но Кириллов расценил этот совет в письме к императрице как свидетельство неопытности Татищева и подверженности его паникерству. Он не избегал и иронии в адрес «оного действительного статского советника», перетрусившего якобы вместе с разбегавшимися от воинских команд ворами-конокрадами (намек на карательные действия посланных Кирилловым отрядов). В той же манере пишет он о Татищеве Остерману и Черкасскому, а также Бирону, которого неизменно благодарит за мнимые благодеяния.

Кириллов был, конечно, совершенно искренен, «огромной энергией принявшись за освоение Новой России, как он называл полупустынные районы, которые предстояло оживить. Он верил в серьезность многочисленных просьб послов и разговоров купцов о принятии в

русское подданство народов и городов, «яко Ташкент и Арал... — рассыпанных бухарских и самаркандских провинций и богатого места Бодокшана». Татищев же, осознавший непродуманность всего предприятия, склонен был видеть в нем лишь аферу стоящих за Кирилловым лиц. В какой-то мере он, видимо, был прав. Не случайно так оживилась английская община, подогревая Кириллова сознанием величия его дела, а Бирона — крупными чеками в европейские банки. Но сам Кириллов непосредственной корысти не искал. Он не слишком считал и казенные и свои деньги и умер, оставив наследникам 20 тысяч рублей долгу (этот долг был погашен уже много лет спустя по указанию императрицы Елизаветы).

Идее создания Новой России Кириллов надеялся подчинить и природные богатства Урала. В 1735 году он объявил о строительстве серебряного завода в Оренбурге (так он назвал город на Ори) и медного в Самаре, затребовав от Татищева мастеров. Разумеется, Татищев сразу почувствовал экономическую необоснованность намерений Кириллова. Но он воздержался пока от спора с ним и попросил только что назначенного руководителем усмирения Башкирии А. И. Румянцева на месте ознакомиться с возможностями создания таких предприятий. Румянцеву он разъясняет, в частности, что для основания завода нужны руды определенного качества и достаточное количество лесов. Присланная для пробы к Татищеву руда для промышленного производства не годилась, а о лесах Кириллов просто не подумал.

Кириллов не успел получить ответа из Петербурга на свои бодрые реплики, как его отряды, продвигавшиеся к устью Ори, подверглись нападению со стороны башкир и понесли тяжелый урон. Башкиры нападали и на русские деревни, вырезая или уводя целиком их население. Собственную халатность и непредусмотрительность кирилловская администрация старалась возместить самыми крутыми мерами в отношении восставших. Особенно отличался свирепостью полковник Тевкелев, крещеный мурза, занимавший видное место в управлении Кириллова и считавшийся главным знатоком вопросов, связанных с инородцами. Он собственноручно пытал захваченных в плен, разорял деревни, забивал до смерти многих жителей.

Если таким образом «новороссы» думали оправдаться перед Петербургом, то они угадали. В Петербурге эти меры получили полное одобрение. Зимой 1737 года там ожидали скорого окончания комиссии (то есть военной экспедиции против восставших башкир), так как «уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отводу в Остзею — одних в службу, а других в работу в Рочервик послано... деревни воровские все разорены, и так тем успокоено, что, оставя прежнее своеволие, приняли вечную присягу». В действительности же эти зверства в конечном счете и привели к распространению восстания на всю Башкирию.

Должно заметить, что инородческое население в составе Российской империи пользовалось заметными преимуществами по сравнению с русскими крестьянами. Так, башкиры, насчитывавшие до ста тысяч человек, платили в 1734 году ясака всего две тысячи рублей, и те раскладывались главным образом на пришлое население — тептярев и бобылей. В 1735 году в Сенате рассматривалось предложение о повышении подушной подати с инородцев. Это предложение было отвергнуто Масловым, который резонно полагал, что отрицательные последствия такой меры не окупятся 80 тысячами рублей прибавки. Но башкирские феодалы видели угрозу своим привилегиям в упрочении русской администрации на юго-востоке страны. Непосредственным же поводом к выступлению послужил чрезвычайный набор лошадей в Башкирии, вызванный войной с Турцией (1735-1739). Восстание носило явно выраженный феодальный характер. Феодальная верхушка ставила вопрос о выходе из российского подданства и признании власти какого-нибудь хана из казахских улусов. Рядовые башкиры поначалу были безразличны к замыслам своих старшин. И лишь учиненная феодалами резня в русских

поселениях да жестокости Тевкелева и других администраторов пробудили взаимную вражду и широкие волнения.

Мятеж затронул и районы уральских заводов, где русские деревни, приписанные к заводам, подверглись нападению. Татищев организовал из русских крестьян отряды, с помощью которых ему удалось усмирить зауральскую часть Башкирии. Этот успех на первых порах породил надежду в Петербурге, что Татищев справится с ролью усмирителя края.

Кириллов умер от туберкулеза 14 апреля 1737 года, оставив множество незаконченных дел и нерешенных проблем. Одни из них Татищев принимал с удовольствием, другие — с плохо скрываемым раздражением. В ведение Татищева теперь перешли все геодезисты, занятые составлением ландкарт, — давняя его мечта. В бумагах Кириллова он нашел ландкарты и незавершенные географические и исторические сочинения, в том числе несколько летописей, привезенных Кирилловым благодаря содействию Маслова из сенатского архива. (Татищев вернул рукописи в Сенат, но предварительно ознакомился с их содержанием.) Не нравилась же Татищеву вся затея с продвижением в Среднюю Азию и легкомысленное, на его взгляд, отношение к просьбам о принятии тех или иных народов в российское подданство. Он видел в этих просьбах стремление получить односторонние выгоды за счет Российского государства.

По своему характеру Кириллов не любил снисходить до мелочей, а потому он и не знал, чем занималась его канцелярия. Порядка же в ней никакого не было, и из-за этого, по заключению Татищева, «учинились проронки». Они выразились в «передаче» (то есть в переплате) жалованья и в «великих передачах» — «в порядке провианта и провоза». Татищев не пытается выяснить, делалось ли это «из корысти или продерзости». Но он подозревает (и не без оснований) некоторых сотрудников Кириллова в нечистоплотности.

Осудил Татищев и выбор места для строительства Оренбурга: место низкое, затопляемое, бесплодное и безлесное, «великие горы» отгораживают его от других русских городов, затрудняя с ними связь. «Кому это в вину причесть, — оговаривался Татищев, — не знаю, ибо инженерные офицеры сказывают, что о неудобствах Кириллову представляли, да слушать не хотел, и офицера искусного в городостроении нет». Заключение Татищева нашли справедливым. По его наметкам строился новый Оренбург, а старый остался как город Орск.

Дальнейшее продвижение на юго-восток в это время Татищев находил нецелесообразным. Но он видел возможность существенно расширить торговлю со среднеазиатскими городами. Как обычно, он советует поощрять русское купечество разного рода льготами. Вместе с тем от купцов требуется, чтобы они «порядочно поступали и никаких обманов не употребляли»: в Средней Азии они будут олицетворять не только свое сословие, но и Российское государство.

В Новой России царил анархия, удовлетворявшая Кириллова и поразившая Татищева. Здесь Татищев впервые столкнулся с казаками, и впечатление они на него произвели тягостное. «Старшин у них чрезвычайно много, и выбирают большей частью люди безграмотные... В круг их приходит множество, где и при слушании указов бесчинство, брани и крики бывают, и часто случается, что атаман унять не в состоянии». Особенно поразила Татищева крайняя неразбериха в судопроизводстве: «Всего хуже то, что они никакого для суда закона и для правления, устава не имеют, но поступают по своевольству, не разсуждая, что им полезно или вредно: по обычаю за бездельные дела казнят смертью, а важными пренебрегают». Как и обычно, главные причины «непорядков» Татищев видит в скудном жалованье и недостатке образования. Он просит повеления «учредить школы с объявлением, что впредь безграмотных ни в какие достоинства не производить». Предлагает он также резко сократить количество начальства и ввести общий для всех казаков устав.

На новом месте Татищев начинает с восстановления коллегиальной формы правления, которой пренебрегали в Петербурге и совершенно не пользовались в канцелярии Кириллова. В

его «генеральный совет» вошли Тевкелев, уфимский воевода Шемякин, астраханский вице-губернатор, генерал-майор Леонтий Яковлевич Соймонов и штаб-офицеры. Решения совета принимались таким же порядком, как и в Канцелярии горного начальства. Это приводило к тому, что Татищев далеко не всегда мог настоять на своем мнении. Но он обычно вновь и вновь возвращался к тем решениям, которые считал правильными.

В администрации Кириллова Татищева встретили различно. Петр Рычков (1712-1777), служивший бухгалтером у Кириллова, с глубоким почтением относился к обоим своим начальникам, которые, кстати, многое сделали для становления его как известного в будущем географа и историка. Были и такие, кто сразу же воспринял Татищева враждебно, и не только из-за его повышенных требований к ведению делопроизводства.

После смерти Кириллова восстание разгорелось с новой силой. В совете же не было единодушия по вопросу о путях его усмирения. Крутые меры приветствовались не только администрацией Кириллова и начальством в Петербурге, но и значительной частью местного населения: страдавших от башкирских набегов русских крестьян, татар, мишарей и других инородцев. Даже часть башкир, не поддерживавших движение, находили их оправданными. Татищев искал иные пути, более надежные и менее болезненные. В условиях, когда тысячами уничтожались раскольники, сотнями гибли от башкирских нападений русские крестьяне и инородцы небашкиры, такой «либерализм» нужно было как-то оправдывать и перед правительством, и перед коллегами-советниками. В доношении к императрице 22 января 1738 года Татищев оправдывает «умеренность» собственным опытом: когда он в 1736 году отпустил захваченных в плен старшин, бунтовщики успокоились, когда же дал согласие на казнь двоих, «послушав других... немедленно новой бунт начался».

Весной 1738 года положение снова осложнилось. 9 мая Татищев признает: «О успокоении башкирцев паче всякого чаяния весь мой должный труд уничтожился, и они начали новые нападения чинить». Тем не менее он снова настаивает на проведении той же политики. Суть её наиболее полно выражена в беседе с башкирскими старшинами 9 января 1738 года и в ряде донесений в Петербург того же года. Татищев отказывался вести со старшинами разговор об особых правах башкир в составе Российского государства. Он подчеркивал, что они и так равноправные подданные императрицы, такие же, как сам Татищев или казахский хан Абул-Хаир, под власть которого собирались перейти башкирские старшины. Положение их лучше, нежели положение крепостного сословия. Переход под власть казахских ханов может только ухудшить положение башкир. «Под властью Русского государства, — заверял Татищев, — и последней между вами в лучшем благополучии, покое и довольстве, нежели ханы киргизские (то есть казахские) пребывали... Вы имели покойные дома, довольство скота, пчел, жит и протчего, а оные ничего того, почитай, кроме скота, не имеют, и с нуждою в зимние времена, переходя с места на место, питаются, а вашему довольству завидуют и ревнуют».

Татищев уговаривал башкир повиниться в надежде на помилование всех, включая вождей восстания. И если «подлинно которой ведал, что он милости не достоин и смертной казни избежит не упоает, то ему честнее для сохранения своих бедных и невинных детей и сродников на смерть поступить». Так воин отдает жизнь за свою родину. В данном же случае возможно и помилование даже и виновных в убийствах многих людей. Сам Татищев настаивал на казни лишь двух выданных башкирами и неповинившихся вождей восстания: Кусяпы и Бепени, терроризировавших и собственно башкирское население. Допускал он вынесение и еще трех смертных приговоров по отношению к особо опасным «возмутителям», но оставлял решение на усмотрение правительства. С остальных, по мнению Татищева, достаточно взять клятву на Коране и отпустить. Чтобы не давать повода для раздражения башкир и злоупотреблений русских чиновников, сбор ясака и пошлин он предлагал передать башкирским

старостам. Выборные старшины должны нести и ответственность за возможные преступления и уклонения от государственных повинностей. Иностранцы, сохранившие верность правительству, должны получить равные права с башкирами.

Осложнение обстановки не изменило позиции Татищева. «Хотя Абул-Хаир-хан свою присягу нарушил, — сообщает он в Петербург, — однако я, взирая на глупую их дикость и опасаясь, чтоб других их салтанов и ханов жестокостью не остращать, намерен с ним ласково обойтись и о погрешности его разговором выговорить». Однако эта его позиция вызвала в Петербурге крайнее раздражение. «Мы с великим удивлением и неудовольствием усмотрели, коим образом от бунтующих башкиров новые замешания начались, — говорилось в царском указе. — Вы в прежних своих доношениях именно обнадеживали весь башкирский народ добрым способом в усмирение и должное покорение привести и что уже многие с повинными приходят и штрафных лошадей приводят». В указе прямо обвиняли Татищева и Соймонова в том, что они «нималого поиску (то есть обычных репрессий) над ними не учинили, и таким своим мешканьем дали им повод новые беспокойства заводить».

До самой смерти гуманизм Татищева будет оцениваться верхами как упущения по службе. А он продолжал стоять на своем. С Абул-Хаиром он очень хорошо побеседовал. Хану понравились подарки, а также то, что имя его известно всей России. Татищев заверил, что оно будет известно и всей Европе, поскольку о его возвращении в русское подданство будут извещены все русские резиденты при иностранных дворах. Со своей стороны, Абул-Хаир заверял, что он и не мыслил себя вне России. Пытаясь уклониться от посылки команд против восставших, Татищев жаловался в Петербург на то, что войску не отпускаются жалованье и провиант. Но из столицы с раздражением отвечали, что войску достаточно иметь ружья.

Более удовлетворяющий Петербург подход уже после отстранения Татищева продемонстрировал его преемник князь Урусов летом 1740 года. Было казнено 432 человека за те или иные провинности и еще 170 для «потомственного страха». Сожгли 107 деревень, роздали усмирителям в собственность 1862 человека и сослали в остзейские полки и на флот 135 человек.

Настаивая на добром отношении к местному населению, Татищев последовательно пресекал злоупотребления русской администрации. Он решительно возражал против прежней практики, когда все население края рассматривалось как «неприятель», победа над которым «по праву войны» позволяла распоряжаться имуществом побежденных. Он настаивал на том, чтобы из Петербурга было дано специальное разъяснение, дабы «командирам до башкирских пожитков не касаться, за тяжко поставили; и правда, если бы сие с регулярным неприятелем было, в бунтовщиках же весьма иное состояние, ибо многие невинные находятся».

К приезду Татищева за многочисленные служебные злоупотребления под военным судом находился капитан Житков. За грабеж башкирского населения «без всякой причины», за творимый его командой произвол и убийства населения по настоянию Татищева капитан был приговорен к смертной казни. Сурового наказания требовал Татищев и майору Бронскому, который «принесших повинную и безборонных оступя, неколико сот побил, и пожитки себе побрал». Оказалось, что майор «не токмо по указам и уставам не наказан, но и не сужден». В итоге же «многие, увидя, не токмо с повинною не пошли, но и новой бунт воздвигнули, коль же паче известно, что многие командиры для такого лакомства, забыв свою должность, мечутся за пожитками».

За взятки, казнокрадство и грабеж башкирского населения был предан суду и уфимский воевода Шемякин. Шемякин оказался весьма деятельным авантюристом, вовсе не склонным виниться или даже оправдываться. В совете он, защищая свою канцелярию, «спорил долго о том, что воеводы и подьячие жалованья не имеют и им брать не запрещено». В этом был

определенный резон, и Татищев запросил кабинет-министров, как ему быть. Поскольку о несправедливости деятельности Шемякина в Петербург приходило немало уведомлений и до этого, Шемякина отстранили от должности. По существовавшему установлению в числе судей не могли быть лица, враждебно относящиеся к подсудимому. Пытаясь устроить на людях шумную ссору, Шемякин заявился непосредственно к Татищеву и начал его оскорблять. Татищев, однако, проявил выдержку и спокойно выставил непрошеного гостя. После этого Шемякин стал усиленно распространять версию, будто он знает за Татищевым «такие важные дела, что или мне, или ему голову отрубят».

Резко пресекал Татищев и грубое самоуправство Тевкелева. Но занятый искоренением обычных пороков администрации своего времени, Татищев не заметил, как над ним самим собрались тучи и на него «повесили» те самые обвинения, которые он совершенно справедливо предъявлял местной администрации. Как это ни парадоксально, но в условиях, когда все от кабинет-министров до последнего чиновника промышляли (или вынуждены были промышлять) взятками, именно обвинение во взяточничестве, если ему дадут ход, могло реально повредить тому или иному деятелю аппарата.

Татищев все делал основательно, даже если исполнял какие-то обязанности временно. В данном случае его занимали долговременные отношения русского и нерусского населения в составе единого государства. Если правительство интересовало лишь отношения с феодальной верхушкой, то Татищев был озабочен установлением нормальных и дружественных отношений между самими народами. Этой цели должно было служить взаимное овладение языками: русским и инородческими. Татищев намечал создание ряда словарей, которые должны были помочь в такого рода общении. По его настоянию К. А. Кондратович, бывший «придворный философ» (а на самом деле «гусяр»), уже в 1734 году бежавший от двора на Урал, где нашлось место учителя Екатеринбургской школы, составил ряд таких словарей (позднее Кондратович выступает как не слишком талантливый, но весьма плодовитый литератор, перу которого принадлежало до десяти тысяч разных сочинений). Сам Татищев был достаточно осведомлен в угро-финских и тюркских языках. В Самаре при нем был составлен «Российско-татаро-калмыцкий словарь». Как историка Татищева интересовали памятники письменной и материальной культуры всех нерусских народов. Как политик и администратор, он стремился проникнуть в суть традиций и особенностей быта, порой оказывавшихся препятствием для сближения народов. Ему представлялось важным дать историю всех входящих в состав России народов, особенно в их отношении к России.

Еще в 1724 году в связи с нападениями башкир на русские поселения Татищев советовал «взять от лучших мурз детей» и учить их русской грамоте. Ученики будут привыкать к русскому образу жизни, а если обращаться с ними «ласкою и толкованием», то «без принуждения» примут и христианство. Грамотных мурз Татищев советовал приравнять к русскому шляхетству, а рядовым должно было разъяснять, что грамота всегда на пользу, дабы те же русские чиновники не обманывали их. О необходимости обучения иноверцев говорит Татищев и в Горном уставе. Он советует их «принимать равно как русских» и «языка же всякого учиться не воспрещать, но паче к тому поохочивать». Теперь в Самаре им создана первая татаро-калмыцкая школа, которую возглавил «студент калмыцкого языка» Иван Ерофеев. В этой школе работал и знаток восточных языков Махмуд Абдурахманов.

Наряду с выполнением административных обязанностей Татищев продолжает напряженную научную деятельность. В 1738 году им составлены карта самарской излучины Волги, карты реки Яика и ряда пограничных районов. Работает Татищев и над «Общим географическим описанием Сибири», где дается обзор природных богатств края с экскурсами в историю и этнографию.

В 1737 году Татищев разработал «Предложение о сочинении истории и географии», которое

было переведено на латинский язык для несведущих в русском языке профессоров Академии наук. Это был вопросник, насчитывавший 198 вопросов, касавшихся истории, географии, этнографии и языка. Вопросник предполагалось разослать по всем районам России. В «теоретических» частях Татищев обосновывает необходимость предлагаемой работы: каждый благорассудный знает, «колько история в мире пользы приносит». И положительные и отрицательные примеры истории полезны и необходимы для гражданского воспитания.

Не оставляет Татищев и основные свои труды: «Историю Российскую» и памятники русского права. В 1738 году он готовит к изданию открытый им памятник: Судебник Ивана Грозного (1550 год). Юридические установления прошлого позволяют ему высказаться по важнейшим тенденциям политической и социальной истории России XVI-XVIII веков, что он и делает в обстоятельных примечаниях. По-прежнему он разыскивает рукописи, оплачивает за свой счет их переписку или переводы, с тем чтобы потом передать их Академии наук, покупает книги, многие из которых отправляет в Екатеринбургскую библиотеку. У него всегда есть множество предложений для Академии наук. К сожалению, Академия наук никак не находит возможным опубликовать хоть что-либо из предлагаемого Татищевым.

К 1739 году им была подготовлена к опубликованию часть «Истории Российской». В этом варианте Татищев стремился сохранить язык летописей и других источников, отнеся собственные суждения в примечания. Такой способ изложения ставил автора перед неразрешимыми трудностями. Источники были разновременными и разнохарактерными, и просто новый свод на их основе не получался. Поэтому в текст все равно приходилось «вмешиваться» для устранения противоречий и разногласий. Читался же текст, написанный языком разновременных документов, чрезвычайно трудно.

Татищев неизменно искал людей, с которыми можно было бы поговорить об истории и посоветоваться о трудностях, встававших при ее написании. У него накопилось много дел, для разрешения которых надо было ехать в Петербург. Но едва ли не более всего хотелось ему получить грамотную оценку своего труда. В Петербурге находились многие его давние доброжелатели и собеседники. В 1738 году (не совсем праведным путем) круто пошел в гору знакомый нам Артемий Петрович Волынский: он стал кабинет-министром и первым докладчиком дел у императрицы. Вокруг Волынского образовался кружок лиц, интересовавшихся теми же вопросами, что и Татищев. В этом кружке оказался и недавний сотрудник Татищева Андрей Хрущов, на сестре которого был женат Волынский; только что получивший должность обер-прокурора Сената знаменитый гидрограф Федор Соймонов; архитектор Петр Михайлович Еропкин, по выражению современника — «люди, славные своим разумом», а также другие давние знакомые.

В какой-то мере кружок Волынского оправдал надежды Татищева. Волынский, Хрущов и Еропкин предоставили по приезду Татищева в Петербург вместе с замечаниями свои рукописи, из которых он сделал выписки. Почти все читавшие советовали перевести текст на современный язык. Не вполне удовлетворил их, видимо, вообще чересчур строгий, «академический» стиль Татищева. Но в целом «История» была принята как крупнейшее событие трудной для российского самосознания поры, то есть так, как она и заслуживала. Замечания Татищев учел. Ему оставалось лишь сожалеть потом, что рукописи, из которых он делал выписки, исчезли во время следствия по делу Волынского в 1740 году.

Как и семнадцать лет назад, Татищев не знал о готовящейся против него кампании. Он испросил разрешения о поездке в Петербург для согласования большого числа разнообразных дел и в начале 1739 года выехал туда. А вскоре вслед за ним с готовым доносом выехал Тевкелев.

Когда речь заходит о третьей следственной комиссии, нередко говорится о том, что врагов себе Татищев создавал сам. Какое-то основание для таких суждений он дал. Но вряд ли все-таки

значительное. Все его ссоры обычно вызывались приверженностью к законности и целесообразности в собственной его трактовке. Примером превышения им полномочий явился арест (с наложением цепей) протопопа Антипы Мартинианова. Этот акт возбудил сильное негодование Синода, без санкции которого нельзя было поднимать руку на духовное лицо. Татищеву пришлось оправдываться перед самой Анной. Он признал себя виновным и «не по оправданию, но токмо ко известию» разъяснил, в чем заключается дело. Хозяин пожаловался на проживавшего у него протопопа: разломал у него баню, обидел «непристойными словами и поступками» жену хозяина, а затем «хозяйку оную бил запоркою», так что она, избитая, прибежала к Татищеву искать заступничества. Протопоп был, конечно, пьян, и Татищев его «велел посадить в канцелярии на цепь, доколе проспится». Протопоп сам просил не сообщать о его дебошах в Синод, и Татищев пошел ему в этом навстречу; Он спокойно сообщает, что «оный протопоп хотя и не часто пьян бывает, но когда напьется, то редко без драки проходит». В одной из таковых его основательно побили казаки — и за дело. На Татищева же протопоп в конце концов озлобился по другой причине: начальник экспедиции не позволил ему изгнать других попов, дабы в его мощну поступали все сборы с «команды». Подобные злоупотребления допускал Татищев и в ряде других случаев.

Татищев понимал, конечно, что в Петербурге у него было больше врагов, чем друзей. Больше врагов было и на юго-восточной окраине. Если на Урале он сумел сплотить администрацию, подобрать деятельных и честных помощников, то в Самаре положение оказалось менее благоприятным. К Татищеву обычно тянулись честные и деятельные чиновники. В Самаре сразу его сторону принял Соймонов. Многие офицеры, желавшие послужить отечеству, и не мыслили себе более соответствующего их чаяниям начальства. Но честным людям вообще было трудно удержаться на службе. И вдвойне трудно — в столь беспокойном крае, каким было юго-восточное порубежье страны. Местные воеводы привыкли считать, что за злоупотребления с них никто ничего не спросит: Петербургу не до того. К тому же обычно у них имелись при дворе высокие покровители, которым регулярно отчислялась солидная часть награбленного с русского и нерусского населения. Это Татищев тоже, очевидно, понимал. Но вопрос стоял, в сущности, лишь так: либо он отказывается от своих идей, либо пытается выполнить поручения, навлекая ненависть местных административных хищников и возвышающегося над ними придворного многоглавого дракона.

Коллегиальное управление, введенное в Оренбургском крае Татищевым, было не просто практической проверкой одной из его идей. Он таким путем имел возможность «раскрыть» того же Тевкелева, который вынужден был ставить подпись под решением или же обосновывать свое несогласие. А Тевкелев привык лишь к таким «доводам», как насилие или обращение к высоким покровителям, среди которых был и сам Остерман. Не слишком надеясь на порядочность центральных учреждений, Татищев засыпает их своими донесениями и предложениями, не без оснований опасаясь, чтоб его не обвинили в самоуправстве. За два года он успел обменяться с Кабинетом двумястами (!) донесениями и указами. Кабинет же обычно советовал держаться инструкции, в которой многие частные случаи, конечно, не были оговорены. Потом Татищева будут обвинять в том, что он делал не так, как следовало бы, а он мог отвечать, что им исполнялось коллегиальное решение с неизменным уведомлением о нем Кабинета.

Открытая война против Татищева началась после того, как он в марте 1738 года в весьма язвительной форме отверг домогательства Бирона и Шемберга, пытавшихся через подставную фигуру заводчика Осокина заполучить гору Благодать. Бирон прямо поручает М. Головкину приискать материал, который помог бы очернить Татищева. Головкин постарался привлечь всех недовольных Татищевым. В результате главными его обвинителями оказались махровский казнокрад Шемякин, садист Тевкелев и другие подобные фигуры. Почти все свидетели

обвинения были либо наказаны Татищевым за уголовные преступления, вроде полковника Бардекевича, или имели давнюю репутацию нечистоплотных торгашей, как купец Иноземцев, неоднократно битый кнутом на торгу за махинации. Доносу Тевкелева Бирон и Остерман немедленно дали ход, настроив соответственным образом императрицу. 27 мая 1739 года из Кабинета последовал указ о создании следственной комиссии для разбора обвинений против Татищева. 29 мая Татищев уже был отстранен от дел, лишен всех званий и взят под домашний арест. 17 июня на его место в Оренбургскую экспедицию был назначен Василий Урсов.

Организаторы дела не особенно скрывали своих намерений. Состав комиссии должен был подобрать Сенат. Но двух членов ему Кабинет уже направил: это «лифляндских дел советник» при Камер-коллегии Эмме и «статсрат» (то есть статский советник) Центаровий. Ни тот, ни другой никакого отношения к Оренбургской экспедиции не имели. Зато и тот и другой были доверенными людьми Бирона. В свою очередь, Сенат назначил в комиссию известного клеветы Бирона Василия Яковлевича Новосельцева, позднее высланного из столицы по делу Бирона. Членами комиссии были назначены также член Военной коллегии Семен Караулов и два советника Юстиц-коллегии: Петр Квашнин-Самарин и Сергей Долгорукий.

Кабинет предписывал вести следствие «со всевозможным поспешением и без всякого на обе стороны послабления безпристрастно, как е. и. в. указы повелевают». Члены комиссии этот выпендренный язык понимали на свой манер. Они явно старались. Составили двенадцать томов следственного дела. Но поспешали они крайне медленно, поскольку конечный итог виден был и без этих двенадцати томов.

Почти все свидетели против Татищева сами находились под следствием, и необходимо было разобраться с ними. Часть их дел комиссия закрывала, несмотря на очевидность преступлений «свидетелей». Так был «оправдан» полковник Бардекевич, безудержно грабивший башкир и попутно казну (причем в размерах, гораздо больших, чем обвинители на весьма сомнительных основаниях пытались приписать Татищеву). Не спешила комиссия принять какие-либо меры и против канцелярии Шемякина, где хищения и злоупотребления лежали на поверхности и самым непосредственным образом наносили заметный ущерб государственным интересам. Более чем за два года работы комиссия так и не подготовила заключения по делу самого Татищева. Но она постоянно создавала впечатление, будто в ее распоряжении находится важный разоблачающий Татищева материал.

Донос Тевкелева, написанный рукой Бардекевича (по некоторым данным, родственника Тевкелева), являлся главным документом обвинения. Он состоял из двадцати восьми пунктов, одиннадцать из которых обвиняли Татищева в «непорядках», а остальные — во «взятках». В числе злоупотреблений Татищева значилось содействие им своим братьям. Младшего, Никифора, Татищев определил комиссаром по Оренбургской экспедиции и доверил ему финансовые дела. Никифор, как отмечалось, был непригоден к воинской службе (у него была парализована левая рука и волочилась левая нога). Но в делах хозяйственных сметку он имел. Ему и ранее Василий Никитич доверял свои дела по поместьям. И теперь Татищев, естественно, стремится обезопасить себя на таком важном участке, как финансы. По донесению Тевкелева Никифора отставили еще 3 апреля 1739 года, хотя никаких злоупотреблений за ним не значилось.

Иван Никитич в 1738 году числился полковником Исетинского полка и, как доносил Тевкелев, при содействии Василия Никитича получил назначение воеводой вновь созданной Исетской провинции Оренбургского края. В августе 1739 года он был вызван в Петербург в Военную коллегию, а в сентябре 1740 года отставлен от службы и тоже отдан под следствие (в 1741 году его отпустили домой).

Факт помощи Василия Никитича своим братьям, конечно, не может вызывать сомнений. Но

так же несомненно и то, что эта помощь не была связана с действительными нарушениями законов. Не наносила она, очевидно, и какого-либо ущерба казне. Скорее наоборот.

Другая группа обвинений Тевкелева — Бардекевича связана с выбором Татищевым центра управления краем. Обвинители считали, что таковым надо сделать не Самару, а Оренбург. Но Оренбург еще не был обозначен на карте: место «кирилловского» Оренбурга Татищев обоснованно отверг, а новый, отнесенный на 180 верст от старого (действительный Оренбург), еще не был построен. Татищев считал к тому же вообще преждевременным разворачивать административное строительство в необжитом районе. Разумеется, все эти вопросы обговаривались им ранее на его коллегиях, и о своих действиях он уведомлял Кабинет.

Третья группа обвинений касалась дипломатических данных Татищева. По мнению Тевкелева, Татищев неправильно вел себя с иностранцами и не советовался с Тевкелевым по разным вопросам (например, по поводу подарков старшинам и т. п.). В этом плане между Татищевым и Тевкелевым были, по-видимому, и действительные расхождения. Позднее Татищев писал И. А. Черкасову, что Оренбургская экспедиция начата «по обману Тевкелева для чаемого великого прибытка». Татищев же «прибыв усмотрел, что оное вымышлено более для собственной, нежели казенной, пользы, стал истину доносить и те обманы обличать». Это, говорит Татищев, и озлобило против него еще более Бирона, Остермана и компанию Тевкелева.

В перечне «взяток» Татищева упоминаются коровы, лошади, волчьи шкуры, овчины и т. п. Арест упомянутого купца Иноземцева объясняется попыткой получить взятку. Передача питейной торговли в нескольких новых городках в одни руки тоже, заставляет предполагать взятку. Вместе с другими обвинениями Татищеву комиссией было предъявлено 109 вопросов. Он справедливо писал позднее Черкасову, что «секретарь Яковлев» «сочинил... вопросные пункты, противные форме суда и точным указам», а «многое от себя прибавил, чего в челобитьях нет».

Наученный прежним опытом, Татищев оказался «запасливым». Он отверг фактически все обвинения по службе, показав, что ни одного серьезного решения он не принимал без согласования с коллегами или одобрения сверху. Несостоятельными оказались и обвинения во взятках, вплоть до лошадей и коров, которых в степи могли давать и в качестве взяток, и просто дарили, не связывая это ни с какими услугами и обязательствами. В конечном счете Татищев обязали внести в казну 4616 рублей и 4 копейки за постройку домов для начальника экспедиции (этот дом он занимал сам как начальник) и канцелярии, за провиант, поставленный для экспедиции купцом Фирсовым (после отъезда Татищева ему из казны не было уплачено), за продажу в казну принадлежавших самому Татищеву юфтовых кож и за подарки от купцов и башкир товарами и лошадьми.

Иными словами, Татищева заставили оплатить расходы казны, одобренные его канцелярией как целесообразные. И у него были основания с достоинством ответить на вопросы комиссии: «Мои дела свидетельствуют, что я, будучи при заводах, если б хотел наживать, мог сто раз более, нежели все неправо показанный на мне взятки, тамо получить. Как свидетельствуюсь моими всеподданнейшими поношениями и доказательствами, что Демидов за гору Благодать, прежде нежели другой кто об ней знал (то есть за передачу приоритета в ее открытии) 3000 рублей приносу просил, чтоб я по данной мне инструкции ему отдал; Осокин о той же просил и генерал-берг-директориум (речь идет о Шемберге) на то соизволили, за которое если бы я хотел безсовестен быть не пожалел бы он десяти тысяч, и мне было с генерал-берг-директориумом согласовать не трудно. Ему же Осокину Правительствующий Сенат определил за разоренной Табынской завод заплатить 25 000 рублей, но я, рассмотрев обстоятельства, не льстясь на обещания и не боясь гроз, не мог в том Правительствующему Сенату во всем согласовать... А затем не упоминаю от раскольников и от других по тысяче и по две приносимы не принял. В случае нужды не токмо мои собственные, но, занимая для себя у посторонних деньги, для

исправления нужд казенных давал, и ныне в казне таких тысяча рублей».

Для администраторов XVIII века очень часто решение насущных вопросов связывалось с необходимостью вложить собственные средства. Меншиков всякий раз, когда возникало новое дело о его хищениях, напоминал о своих кредитах казне. Но Меншиков на вложенный в казну рубль брал из нее тысячу. У Татищева же было совершенно иное соотношение. Одной библиотеки, переданной им Екатеринбург, хватило бы на то, чтобы с лихвой покрыть «самовольные» затраты типа постройки каменного дома в Самаре и все, что вменялось в вину ему как «взятки» всеми тремя судными комиссиями. Неоднократно Татищев изъявлял желание выделить «тысячу рублей и более», если бы Академия наук взяла на себя дело переводов иностранных книг на русский язык. На фоне же покрывавшегося Сенатом и Кабинетом безудержного грабежа казны, организованного Бироном и Шембергом, на фоне общей административной практики того времени действия Татищева могли восприниматься таким же вызовом, как и его рассуждения о религиях или советы проявлять снисходительность при усмирении взволнованного края.

Комиссия не смогла обвинить Татищева. Но она не спешила и оправдать его, намеренно затягивая дело. И может быть, именно эта бесцеремонная несправедливость спасла Татищеву жизнь. Дело в том, что, попав под суд, он лишился возможности встречаться с «конфидентами»: Волынским, Хрущевым, Еропкиным и другими участниками заговора Волынского.

Дело Волынского явилось своеобразным отражением внутренней неустойчивости бироновщины. Артемий Петрович вовсе не был сознательным борцом за процветание России вроде Татищева или Кириллова. Не был он и честным служащим типа Маслова или Румянцева. Вся его биография — это стремление занять место потеплее и поодходнее. Он был не хуже, но и не лучше основной массы высшего слоя бюрократии. Бироновщина не могла обходиться без таких людей, как Ягужинский или Волынский. В противовес Остерману Бирон в 1735 году после смерти Гавриила Головкина вызвал из Берлина Ягужинского и сделал его кабинет-министром. Ягужинский через год умер. Бирон решил поставить на Волынского. «Я хорошо знаю, — разъяснял он свой выбор иностранным дипломатам, — что говорят о Волынском и какие пороки он имеет, но где же между русскими найти лучшего и способнейшего человека?» (Можно подумать, что теми же пороками не обладали толпившиеся около Бирона иностранцы!) В свою очередь, Ягужинский предсказывал, что «Волынский посредством лести и интриг пробьется в кабинет-министры, но не пройдет и двух лет, как принуждены будут его повесить». Характеристика довольно меткая, хотя в ней и сквозит зависть потомка неизвестного польского органиста к потомку одного из видных родов русской аристократии.

Волынский поначалу служил могущественному покровителю верно. Он проявил усердие в деле Дмитрия Голицына. Он противостоял Остерману и никогда Бирону. Но постепенно в их отношениях образуется трещина, приведшая к трагическому для Волынского столкновению.

При всей неустойчивости характера Артемий Петрович был способным человеком, и его природному уму до сих пор просто не находилось применения. Сделавшись кабинет-министром, он почувствовал не только вкус к работе большого государственного размаха, но и скоро проникся важностью неотложных задач, стоявших перед страной. Он увидел то, чего ранее ему не позволяло замечать желание сделать карьеру: Россией управляют люди, менее всего способные что-либо ей принести, люди, воспринимающие даже русское дворянство как орудие своего обогащения. Безвольный Черкасский также не был глух к подспудным настроениям. Правда, Черкасский обижался в основном за себя, считал, что его недостаточно ценят. Но обида помогала ему видеть действительные недостатки правления. Волынский быстро загорался и умел зажигать. Он мог увлеченно говорить. Черкасский почти всегда принимал его сторону на совещаниях трех кабинет-министров. Это поднимало Волынского в собственных глазах. Он все

более отдаляется от Бирона и охотно ведет разговоры с патриотически настроенными представителями русского дворянства. Патриотам нужно было знамя. Волынскому же нравилось быть знаменем. Он понимал, конечно, что принятая им на себя роль историческая. Но он недостаточно учитывал, с кем имеет дело. Похвалы «конфидентов» закружили ему голову, и он сам направился в пасть льву, войдя к Анне с предложением отстранить от дел людей недостойных (имея в виду прежде всего Остермана). Анна была крайне возмущена. Плод созрел.

Поводом для расправы с Волынским послужило дело под стать тому, что недавно было проведено (при участии Волынского) против Голицына. В. К. Третьяковский написал эпиграмму под названием «Самохвал», в которой в свете легко узнали Волынского. Волынский дважды основательно побил Третьяковского (что само по себе не считалось особенно предосудительным, если учесть разницу в их социальном положении), причем вторично он эту операцию «провел» в доме Бирона. Третьяковскому подсказали «бить челом» об «увечьи», а Бирон немедленно ухватился за то, что расправа была учинена в его доме и жертва избиения его гость. И уже в застенке Волынскому предъявили действительные обвинения. 27 июля 1740 года он вместе с Хрущевым и Еропкиным был казнен «за важные и клятвопреступные, возмутительные и изменнические вины».

Трудно сказать, в какой мере «конфиденты» были осведомлены о социально-политических записках Татищева. Но Татищев с планом Волынского, изложенным в «Проекте о поправлении государственных дел», не был знаком. «Проект» вообще берет весьма широкий круг вопросов и некоторые из них решает более определенно, чем многочисленные записки Татищева. Сам Волынский высоко ценил результаты своих раздумий. Он полагал, что его «Проект» мог бы удовлетворить высокообразованных людей и «даже Василия Татищева».

В какой степени самоуверенность Волынского в отношении оценки его проекта передовыми людьми времени была оправдана, трудно сказать. Татищеву все-таки в нем наверняка не все могло понравиться. Но кое-что общее в их политических воззрениях было. Волынский, как отмечалось выше, тяготел к тем кругам, которые намеревались еще в 1730 году добиться расширения гражданских прав дворянства, и только дворянства. Даже и против республиканских устремлений отдельных лиц Волынский выступал лишь потому, что считал русское дворянство пока не созревшим для республики. Как представитель русского дворянства Волынский мог себе позволить весьма резкие оценки деятельности правящего монарха. Он не стесняется заметить, что «государыня у нас дура» и что правит страной фактически не она, а «герцог курляндский» (то есть Бирон, которому Анна в 1737 году пожаловала этот титул). Татищев против этого, конечно, ничего не мог возразить: он знал Анну не хуже Волынского. Но чувства старого слуги правящего дома, дома, где он в семь лет стал стольником, вряд ли позволили бы ему быть столь откровенным даже с самим собой.

Татищев не мог согласиться с Волынским в определении точки отсчета. У Волынского в «Проекте» все рассматривается через призму интересов дворянства, для дворянства и во имя дворянства. То, что у Татищева иногда проскальзывает как чуть ли не предрассудок или даже как уступка своим адресатам — единомышленникам Волынского, в «Проекте» предстает как его суть. Волынский убежден, что все важные государственные должности следует непременно занимать дворянам. Его беспокоит лишь одно: каким образом можно пробудить гражданские чувства дворян? Добиться этого он рассчитывал путем расширения состава Сената, пополнения его представителями дворянства. Волынский готов был дворянам передать и все канцелярские должности, которые обычно оставались за представителями третьего сословия. Татищев в одной из записок, при определении на должность судей — с его точки зрения, самых важных должностей в государстве — предлагал вообще руководствоваться исключительно деловыми соображениями, а не происхождением и даже не чинами. Не исключено, что эта идея Татищева

была навешана как раз обсуждениями данного вопроса у Волынского, и, во всяком случае, она предупреждала ход мыслей, изложенный в «Проекте».

Волынский предусматривал и поощрение промышленности и торговли, в чем он делал шаг навстречу Татищеву. Но этот вопрос в «Проекте» все-таки остался едва намеченным. К тому же и здесь Волынский не забывал интересов дворянства, оставляя за ним монополию на винокурение.

Говорилось в «Проекте» также об улучшении учебы дворянства, в частности, о посылке дворян за границу, «чтоб свои природные министры со временем были». Но и в решении этого вопроса Волынский стоял далеко позади Татищева, настаивавшего на просвещении абсолютов всех слоев населения, включая инородцев.

Проект Волынского предусматривал дальнейшую бюрократизацию государственной системы. В местном управлении Волынский вообще намеревался восстановить несменяемость воевод, считая, что это помогло бы более успешному сбору налогов. У Татищева, напротив, вводятся принцип сменяемости, коллегиальности, хотя к поставленному им в 1730 году вопросу о выборности высших органов власти он в позднейших проектах непосредственно не возвращается.

Был, однако, один аспект, который вполне примирил бы Татищева с Волынским и даже, может быть, с Платоном Мусиным-Пушкиным — давним недоброжелателем Татищева, оказавшимся теперь также в числе «конфидентов»: ясно выраженное антинемецкое начало во всем этом предприятии. Волынский и его единомышленники стремились к отстранению от власти тех, кого и Татищев считал главными врагами Российского государства.

В октябре 1740 года скончалась императрица Анна. Накануне смерти она провозгласила Бирона регентом при двухмесячном императоре Иване Антоновиче — сыне племянницы Анны Ивановны — Анны Леопольдовны и герцога брауншвейгского. Поднявшийся в годы бироновщины президент Коммерц-коллегия Менгден выражал мнение многих выходцев из германских стран, заявив, что «если Бирон не будет регентом, то немцы в России погибнут». Но утверждению Бирона более способствовали некоторые русские, в числе которых были Черкасский, младший сын бывшего фаворита Анны Алексей Петрович Бестужев, Н. Ю. Трубецкой и ряд других. Бирону Сенат определил регентское жалованье: пятьсот тысяч рублей (то есть больше, чем официально регистрируемые расходы двора Анны). Бирон, однако, продержался лишь несколько недель, несмотря на столь горячую ревность Сената. «Патриотический энтузиазм» охватил Анну Леопольдовну, которая была возмущена «малослыханными жестокостями», водворением немцев и усилением шпионства. А выразил эти «патриотические» настроения немец — фельдмаршал Миних, который 9 ноября 1740 года с восемьюдесятью солдатами арестовал Бирона. Миниха поддержали и старый интриган Остерман, и недавний приверженец Бирона Головкин. Анна Леопольдовна была провозглашена регентшей. Для Татищева же не изменилось ничего.

В результате свержения Бирона немецкое засилье в России на первых порах даже усилилось. Теперь в руках немцев оказалось фактически все высшее правление. Но в этом была и их слабость. Иностранцы все-таки должны править руками туземцев. Иначе их позиция слишком обнажена, а потому уязвима. Когда гвардия увидела, что немцами заполнены не только подступы к трону, а и самый трон, она всерьез заволновалась.

Татищев бесплодно пытается добиться изменения состава откровенно враждебной к нему следственной комиссии. Бирона уже нет. Но прошения Татищева Сенат не рассматривает. Немцы не особенно скрывают, что Татищев для них абсолютно неприемлем. А хитроумный Остерман, погубивший не один татищевский проект, советует Татищеву повиниться и просить прощения. Василий Никитич попался на эту удочку, и получилось так, будто он признал свои

«вины». Тем не менее и после такого унижения никакого «прощения» не последовало.

Вскоре Остерману пришел в голову новый план. В низовьях Волги резко обострились отношения между противоборствующими группировками калмыцких феодалов, от чего страдали и находившиеся в русском подданстве татары, и собственно русские поселения. 31 июля 1741 года по предложению Остермана правительство Анны Леопольдовны назначило Татищева в Калмыцкую комиссию, центром которой являлась Астрахань. Самому Татищеву Остерман обещал, что если ему удастся примирить «инородцев», то «вымышления клеветников уничтожатся». Татищев направился по новому назначению, находясь под следствием и не имея той самой «полной мочи», без которой он обычно отказывался принимать дела и без которой трудно было что-нибудь сделать в условиях, когда действовали не законы и установления, а «сила персон».

Гибель народу грозит от безумия собственных граждан.

Солон

Дерево, которое слишком часто пересаживают, не в состоянии пустить корни.

Фернандо де Рохас

Калмыки поселились в низовьях Волги в первой половине XVII века, переместившись сюда из Средней Азии. С самого начала устанавливаются довольно сложные отношения их с местной русской администрацией, а также с проживавшими здесь татарами российского подданства. На словах калмыки признавали суверенитет России, поскольку испрашивали разрешения для поселения на русской территории. Фактически же они пользовались автономией не только во внутренних делах — внутренние дела инородцев в XVII веке мало интересовали администрацию, — но и в сношениях с другими тюрко-монгольскими племенами и народностями, а также с Персией и Турцией.

На первых порах наибольшее беспокойство русской администрации причиняло взаимоотношение калмыков и татар, вернее, стремление калмыков вообще изгнать местное татарское население. Татары были вынуждены покинуть многие места своих прежних поселений и расположиться поближе к русским гарнизонам. Но у гарнизонов обычно не хватало сил и для того, чтобы защитить самих себя. Поэтому татарам приходилось договариваться с калмыцкими вождями самостоятельно. Таким же образом поступали и казаки. Что же касается поволжских русских поселений, то их положение было, может быть, и самым худшим, поскольку в отличие от татар и казаков они не имели собственных вооруженных подразделений на случай внезапного набега калмыков. Надеяться же на столичных воевод особенно не приходилось. В свое время сподвижник Лжедмитрия II казачий атаман Заруцкий высказал ходячую мысль, которую теперь буквально повторил один из калмыцких вождей, Дондук-Омбо: «От русских опасаться нечего; собираются они по три года, а как пойдут, то стоят на одном месте по три месяца».

Калмыцкие вожди не отличались особым постоянством и не слишком ценили свои обещания и договоры с русским начальством. Но и представители власти не проявляли ни надежности, ни последовательности в своих действиях. Общая установка русского правительства по отношению к кочевникам — поощрение их оседания на землю. Тем, кто принимал православие, следовали значительные пожалования. Но таких было мало. У калмыков еще сохранялся родо-племенной строй с выделившейся феодальной знатью, и в рамках этих замкнутых этнических образований трудно было сосуществовать разным верованиям (религией калмыков был ламизм — разновидность буддизма). В XVIII веке между разными калмыцкими улусами усилились раздоры, в результате которых погибали целые роды. Это обстоятельство способствовало отходу отдельных феодалов от традиций, поддерживаемых ханской властью. Недовольные часто ищут помощи у русских воевод.

Татищеву впервые пришлось столкнуться с калмыками еще в 1738 году, когда те участвовали в подавлении мятежа башкирских феодалов. Кроме того, Татищев должен был тогда подыскать место для поселения крещеных калмыков во главе с княгиней Тайшиной, супругой ранее крестившегося выходца из ханского рода Петра Тайшина.

С княгиней Тайшиной была связана значительная группа крещеных калмыков: 2400 человек. Поскольку часть их уже оседала на землю, а другая продолжала кочевать, было решено подыскать им место для поселения на стыке степи и лесостепи. Такое место было найдено в Поволжье выше Самары. Здесь заложили город, который Татищев хотел символически назвать «Просвещение». Предложение это, однако, не прошло, и город назвали Ставрополем.

Княгиня Тайшина осталась чрезвычайно довольна и избранным местом, и предусмотрительностью Татищева и изъявила желание отблагодарить его, предложив «нечто от скотов, яко быков, коров калмыцких и верблюдов». Это был как раз тот случай, когда Татищев мог себе позволить принять что-то за «сверхурочные». Но он отказался, заявив княгине, что, напротив, он «рад бы сам от своего убогим калмыкам вспомочь». Татищев имел в виду в данном случае калмыцкую бедноту, составляющую до четырехсот кибиток. В донесении же в Петербург он откровенно признается, что «тем отрекся принять, что их в Самару сослать не с кем».

Одна из просьб Анны Тайшиной — и в этом ее поддерживал Татищев — заключалась в выполнении правительственного обещания дать ей села с крестьянами. Устройство крещеных инородцев вообще было для казны делом нелегким. Анне Тайшиной с ее калмыками в Москве было выделено около десяти тысяч рублей, не считая постройки города-крепости. Самой ей было положено жалованье — пятьсот рублей. Денежное жалованье получали также командные чины калмыков, организованных по типу казачества. Остальные должны были нести службу за земельные наделы. Но у многих калмыков не было лошадей и каких-либо средств на обзаведение оседлым хозяйством. Поэтому стоял вопрос о выделении безлошадным по одной лошади и снабжении их семенами за счет казны. Предполагалось также поселить между калмыцкими становищами русских крестьян, чтобы опытные земледельцы обучили калмыков своим навыкам и секретам. Поддерживая ходатайство Тайшиной о выделении ей сел, Татищев полагал, что замена денежного жалованья селами будет способствовать оседанию на земле и калмыцких феодалов.

Обострение противоречий между последними побудило правительство вспомнить о Татищеве именно потому, что он ранее проявил гибкость и умение улаживать сложные вопросы. К его достоинствам в данном случае можно было отнести и то, что в других случаях вызывало подозрение у ревностных служителей православия: его широкую веротерпимость. Татищев спокойно мог вести дела не только с крещеными калмыками, но и с их некрещеными сородичами.

Дела в низовьях Волги не терпели отлагательства. Положение обострялось с каждым днем. Правительство Анны Леопольдовны 29 июля запросило следственную комиссию: «Какие до онаго Татищева дела имеются и все ль исследованы», а через два дня, несмотря на невразумительный ответ комиссии и повторение требования о лишении его всех чинов, Татищеву указали срочно выезжать в Астрахань.

Положение его оказалось двусмысленным. Он понимал, конечно, что успешное выполнение поручения может повысить его вес в придворных кругах. Но для того чтобы такого рода поручение можно было выполнить, необходимо иметь полное доверие со стороны того же двора. И не только доверие: вряд ли кто-нибудь и из обвинителей Татищева сомневался в его личной порядочности и верности государству. Нужны были полномочия. А вот их-то как раз и не давали.

В годы Оренбургской экспедиции Татищев уже проявил себя хорошим дипломатом в отношениях с казахскими ханами. Но такую роль он мог исполнять, лишь будучи облеченным полным доверием Сената и коллегий. Дело в том, что искусство дипломатии в данном случае состояло прежде всего в умении преподнести ценные подарки, устроить пышную встречу и т. п. Все это делать Татищев умел. Но пышный прием требует столь же пышных расходов. Обычно

такие расходы считаются естественными и просто оплачиваются Коллегией иностранных дел. При сложившихся же условиях Татищев не мог быть уверенным в том, что в коллегиях отнесутся с пониманием к его расходам. Во время шведской поездки он оказался поставленным в неловкое положение тем, что аналогичные расходы ему никто не хотел оплачивать. И совсем недавно его заставили оплачивать из личных средств казенные расходы. Более того, именно эти важные для дела расходы явились уликой, как бы очерняющей Татищева в глазах его современников и потомков. Царям проще. С них обычно не спрашивают, с толком или без толку израсходовали они народные средства. Другое дело — администратор среднего ранга. Если он в фаворе, ему спишутся любые просчеты и обсчеты. Напротив, опальному припишут все злоупотребления, совершающиеся за его спиной (и даже против него самого), и во зло обратят самые благие начинания. Все это Татищеву было хорошо знакомо. Все это с ним не раз случалось.

Трудности начались с первых дней назначения. Татищев готовился всесторонне к любой очередной работе. В данном случае ему необходимо было основательно ознакомиться с предысторией калмыцких тяжб. Однако Коллегия иностранных дел, ведавшая всеми инородцами, не выдавала требуемые дела. С коллегией необходимо было разрешить и еще ряд вопросов, поскольку именно в ее распоряжение поступал теперь Татищев. Наконец, 10 августа по указу коллегии багаж Татищева на ямских подводах отправился по месту назначения. В состав багажа входил и крайне важный спутник дипломатии (в особенности на Востоке) — подарки. Здесь были сукна, соболи, серебро, меха, кирпичный чай. На расходы Татищев получил тысячу рублей и столько же на экипаж и проезд до Царицына. 13 августа его снова торопили ехать в Царицын. Но он еще отработывал детали: на следующий день он должен был получить в Москве в Конюшенном приказе разрешение захватить с собой шатер для приема калмыцких вождей.

Настоятельно просит Татищев также, чтобы ему разрешили взять с собой врача с медикаментами или же разрешили бы в случае надобности вызывать врача из Самары, где он, видимо, и ранее пользовался услугами доктора Грифа. Татищев прямо говорил, что врач нужен прежде всего ему самому: «Понеже человек скорбный, и часто бываю тяжело болен, того ради без доктора и медикаментов мне быть не можно».

Рассуждениями о разнице между лихоимством и мздоимством Татищев создал себе репутацию отчасти уже у современников, а главным образом — у потомков, человека, умеющего «делать деньги». На самом деле он не имел ни больших побочных доходов, ни сколько-нибудь соответствующих его рангу поступлений с деревень. Теперь он настаивает и на том, чтобы был решен вопрос с его жалованьем. В челобитной от 9 августа он сообщает, что более двух лет не получал жалованья, «отчего претерпевал великую скудость и одолжал». А расходы тоже были обусловлены чином. Так, по высочайшему указу он должен был сейчас же строить дом на Васильевском острове, хотя, судя по всему, Петербург вовсе не прельщал Татищева. К тому же незадолго до назначения в Калмыцкую комиссию, 22 июля, сбежал его крепостной Венедикт Григорьев, которому было поручено вести это строительство, сбежал со всей отпущенной Татищевым на строительство суммой. Естественно, больших расходов требовали неустанные научные занятия: покупка книг, переписка рукописей и т. п.

Неопределенным оставалось положение и после назначения его в Калмыцкую комиссию. О жалованье в указе не было ни слова. Татищев просит, чтобы ему положили тот же оклад, что и ранее в Оренбургской комиссии.

В тот день, когда коллегия снова торопила с отъездом в Царицын, Татищев обратился с донесением в Кабинет, настаивая на скорейшем составлении инструкции и включении в нее ряда дел. В Екатеринбурге и Самаре, как уже говорилось, Татищев вводил коллегиальное обсуждение всех дел, чтобы пробудить у подчиненных деловую активность и ответственность.

Но после того, как во время следствия решения его «генеральных советов» были оспорены петербургскими властями, «советники» отказались от своих подписей, сославшись на то, что они «якобы за страх подписывались и спорить не смели». «Ныне же, — беспокоится Татищев, — равномерно таких коварств нужно мне предостеречься». Он просит внести в инструкцию положение, «дабы те, которые в совет призваны будут, без всякого страха мнение их объявили, и если по большим голосам против чьего мнения определится, то повинен он свое в протокол особно записать, а если то упустил и после порицать будет, чтоб мне в вину не причлось».

Отмеченная просьба имела немаловажное значение, поскольку речь шла о попытке утверждения, пусть и в одном ведомстве, порядка обсуждения вопросов, несвойственного самодержавно-бюрократической государственной машине, хотя он предусматривался еще регламентом работы коллегий. К этому порядку не могли приспособиться ни внизу, ни вверху. Татищеву одному вменяют в вину то, что принималось коллегиальным решением, и с этим общим мнением никто не хотел считаться. И дело здесь, конечно, не в том, что Татищев стремился снять с себя часть ответственности. Он ответственности, в общем-то, не боялся, хотя имел не раз случай убедиться в том, что за любое самостоятельно выполненное дело, может статься, придется нести наказание. В данном же случае для него важнее было другое: иметь около себя помощников, хоть на что-то способных.

Предусмотрительность Татищева после столь жестоко и злобно наказанного усердия распространялась на всевозможные мелочи, которые ранее он самостоятельно устранял не задумываясь. Хотя на многочисленные приемы ему и отпускались средства, но он не был свободен в их использовании. Выделенная сумма, например, не предусматривала оплату поваров, столовой посуды и т. п. А Татищев уточняет: когда участники переговоров «подчиваны будут, потребно ли при том быть музыке и откуда?»

Коллегия никак не хотела брать на себя расходы по медицинскому обслуживанию. Татищев согласен закурить за свой счет потребные для него самого лекарства в Москве. Но его беспокоит, откуда брать лекарства «для людей разного звания», которые будут, его сопровождать по делу.

Беспокоит его и судьба разысканий, которым он отдал уже двадцать один год: история и география России. В свое время он добился разрешения на отправку во многие провинции геодезистов для проведения измерительных работ, а также специальных служащих «в архивах искать древних писем по 711 (то есть по 1711) год, а особливо указы и письма от главных начальников, також переписок и договоров с иностранными, приемы послов и тому подобные». После устранения Татищева с поста начальника Оренбургской экспедиции все эти служащие остались не у дел и не у жалованья. Татищев пользуется случаем попросить за них, а заодно испрашивает разрешения направить с ним одного геодезиста и «от Академии наук ученика живописного» из числа тех, кого специально посылали на обучение из Оренбургской экспедиции. «Я посылаюсь в такие места, — пояснял он высоким, но не слишком сведущим кабинет-министрам, — где немало разоренных городов, також идолов и камней с подписями находится».

Татищеву так и не удалось до отъезда разрешить большинства беспокоивших его вопросов. Его полномочия оставались неопределенными. Неясно было, в каких взаимоотношениях окажется он с генерал-поручиком Таракановым, в ведении которого находились расположенные в низовьях Волги полки. Хотя Татищев как будто отправлялся в экспедицию в своем прежнем чине, на самом деле этот чин он не получил. В свое время на Урале он был в чине генерал-майора, а в Оренбургской комиссии в чине генерал-поручика с полным военным жалованьем. Теперь же ему хотя и оставили чин генерал-поручика, но положили лишь половинное «штатское» жалованье. Тараканова Татищев превосходил и по «стажу» пребывания в генерал-

поручиках, что по обычаю того времени должно было давать ему преимущество. Но вопрос этот также не был разрешен, и Татищев держал себя по отношению к Тараканову сдержанно, чего нельзя было оказать про Тараканова.

Из Петербурга Татищев выехал 17 августа, отправив еще ряд челобитных в разные инстанции, в том числе и сугубо личную просьбу: перевести сына Евграфа из пермского драгунского полка на службу в низовья Волги. Как обычно, критический взгляд Татищева не пропускает встречающиеся на пути неисправности. Так, 21 августа он из Новгорода пишет князю Никите Юрьевичу Трубецкому о недобросовестности строителей, прокладывающих «перспективную дорогу» от Петербурга до Москвы: нерасчетливо сделаны каналы, недоброкачественно выполнены мосты. «Я бы мог, — замечает Татищев, — о сем пространнее вам донести, как с мелким расходом денег, а с большею прочностью сделать скорее, токмо времени мне недостает». Из разговора с бурлаками он узнает, что их обирают подрядчики. Допуская, что бурлаки могут и наговорить лишнего, он все-таки просит проверить их жалобу.

Из Москвы Татищев отъехал сухим путем на Нижний, так и не добившись решения многих важных для дела и для него самого вопросов. Поскольку жалованье за прошлые годы ему так и не уплатили, он, «не смея далее медлить, заняв потребное число денег и многих нужных вещей не дождався, отъехал». Казной комиссии по поручению Татищева ведал сенатский канцелярист Стефан Нестеров, и к этим средствам непосредственного доступа Татищев не имел. Кое-что сверх официально разрешенного ему все-таки удалось сделать. Так, получив разрешение взять из Москвы лекаря, он уговорил медицинскую канцелярию придать к нему еще ученика.

В Нижний Новгород Татищев прибыл 8 сентября. Здесь было приобретено три легких судна, для которых наняли экипаж, и 12 сентября экспедиция двинулась вниз по Волге. «Поспешность» движения должна была обеспечиваться сменными командами казаков и кормщиков. Воеводы получили соответствующие инструкции. Но распорядительность никогда не была сильной стороной российской администрации. В городке Дубовке произошла заминка: смена не была подготовлена, а атаманский сын Степан Персидский небрежно заметил прибывшему к нему от Татищева прапорщику: «Лучше вашего советника ждут». Заявление тоже достаточно обыденное.

Татищев, оказавшись без команды, ограничился наймом рыбака-кормчего и двинулся дальше. Но он потребовал от царицынского воеводы, полковника Кольцова, «о сыску и наказании дубовского атаманского сына». Нарушений «чести» Татищев не терпел. Еще более не терпел он нарушений инструкции, когда это могло сказаться на итогах дела. Через несколько дней сын и отец Персидские просили Татищева о прощении, свалив на пьяного дьяка войсковой канцелярии «противные слова». Татищев простил и уведомил об этом полковника. Однако дьяк понес наказание.

6 октября по прибытии в Царицын Татищев созывает на совет полковника Кольцова и генерал-поручика Тараканова. Тараканов, раздраженный предприимчивостью Татищева, вел себя вызывающе, стремился уличить Татищева в невежестве, оспаривал все его предложения, а главное — дал понять, что на подчиненные ему войска Татищев не может рассчитывать. Опасаясь новых обвинений в злоупотреблениях, Татищев пишет письма Остерману и Головкину. Он просит ускорить высылку инструкции и сообщает о возникших препирательствах. Хотя резоны Тараканова против татищевских «несильны», Татищев, «избегая злобы», «без упрямства» воздерживается от исполнения своего плана, особо уведомив об этом Кабинет.

11 октября наконец была получена инструкция. Но субординации Татищева и Тараканова она не разрешала. Поэтому Татищев просит дать разъяснение по этому поводу. Он, со своей стороны, «готов быть в должности генерал-майора, токмо б повеленное с пользою исполнись». 15 октября Татищев сообщает, что Тараканов наотрез отказался дать полки для Калмыцкой комиссии. Правительство же показывало свою беспомощность или безразличие тем,

что готово было отдать в распоряжение Татищева полки Оренбургской комиссии, расположенные далеко от театра разыгравшихся действий.

Между тем в самих калмыцких улусах положение принимало угрожающий характер. Сеятелем смуты явилась ханша Джана, вдова давнего и упорного противника России Дондук-Омбо. Ее нойоны грабили улусы несогласных с ней калмыков, захватывали многих из них и продавали в рабство местным татарам, а также на Кубань. Татищев выражал опасение, что в итоге «весь калмыцкий народ вскоре исчезнуть может». Он предложил запретить покупку продаваемых в рабство калмыков «татаром и прочим», а выкупить их казной, через посредство русских купцов, с тем чтобы потом подготовить из них военных служилых людей.

На юго-восточных рубежах Астраханского края находились кочевья туркмен. Не желая попасть, под власть персидского правителя Надир-шаха, значительная часть их готова была принять русское подданство. Правительство, однако, не принимало никакого решения. Татищев пытался ускорить таковое. Он предлагал «весьма бы о них постараться, чтоб сколько-нибудь призвав в удобном месте на Яике или близь Астрахани поселить; для приласкания других, довольную им милость и защищение учинить, да либо прочие о том, уведав, к ним будут присовокупляться, и может кайсацких набегов не малая защита, а от промыслов их доход государству быть». Правительство же по-прежнему не отзывалось на эти доводы.

Не мог равнодушно наблюдать Татищев и за тем, как разваливалась местная экономика. Поэтому он «дерзает» доносить о делах, «не принадлежащих» до него. Его удручает очевидное бездействие построенного на средства казны селитряного завода, хотя «селитры великое число в год выварить можно». Беспокоит его и упадок рыбного дела в Ахтубе, и положение симбирского купечества, оштрафованного властями. В результате «от разорения оно более убытка чинится, нежели положенной на них штраф». Находясь сам в опале, он решается просить за «беспомощных» ссыльных, находящихся в Самаре по делу давних недругов Татищева князей Долгоруких.

Решение основной задачи оказалось делом весьма нелегким. Калмыцкие владельцы с восторгом принимали подарки, охотно пили горячую водку и виноградное вино «за успокоение калмыцкого народа», услаждались диковинной для них музыкой. Но едва не каждый день все приходилось начинать сначала. Снова уверения в верности, в желании принести «успокоение калмыцкому народу», взаимные подарки (Татищеву, в частности, приводили мальчиков и девочек восьми-двенадцати лет), и снова возвращение к тому, с чего начали. Главное затруднение доставляло поведение ханши Джаны. Она долго уклонялась от встречи с Татищевым, хотя он готов был сам явиться к ней. Наконец она изъявила согласие мириться при условии, что ее выдадут замуж за предполагаемого наместника ханства Дондук-Дашу.

Такой поворот дела, по-видимому, был для Татищева неожиданным. Между тем доверенный ханши Нима-Гелюнг в разговоре с Татищевым поведал, что ханша считала возможным разрешение всех споров, если бы Дондук-Даша женился сразу на двух вдовах: Джане и Джеджите — вдове Черен-Дондука, бывшего калмыцкого хана. Татищеву разъяснили, что все это вполне в духе калмыцкого закона. Такое решение, однако, не устраивало коллегия. В Петербурге опасались, что и без того не слишком надежный Дондук-Даша окажется под влиянием враждебных России группировок. Вместе с тем там не имели ничего против того, чтобы Джана осуществила свою угрозу — перейти за Яик к киргизкайсакам.

Намерение уйти с Волги не пользовалось популярностью и в стане Джаны. Многие стояли за то, чтобы принять татищевские условия примирения. Иные готовы были даже помочь в усмирении ханши военным путем. Но Татищев не располагал необходимой военной силой, и колеблющиеся калмыки не решались порвать с всемогущей ханшей.

Татищев все-таки решился осуществить провозглашение наместником Дондук-Даши,

несмотря на отказ Джаны участвовать в церемонии. Целый день восемьсот калмыцких владетелей пировали по этому случаю. Тосты сопровождалась пушечной пальбой: двадцать один, тринадцать и семь выстрелов. В пиршестве участвовал и младший сын Джаны. Сама же ханша, получив сведения, якобы сын ее захвачен, и в самом деле решила бежать. Однако и ей самой такое решение, видимо, не нравилось. Поэтому она обратилась к Татищеву с извинениями, ссылаясь на ложные слухи, побудившие ее к бегству.

Некоторое умиротворение как будто наступило. Но оно оказалось крайне непрочным. Дондук-Даша стремился приобрести улусы за счет Джаны и одновременно тайно договаривался с ней за спиной Татищева. Новый наместник то предъявлял несдержанные претензии, то винился перед Татищевым. В свою очередь, Джана, терявшая влияние и сторонников, все чаще обращалась за помощью к Татищеву. Но у него самого не доставало ни сил, ни полномочий немедленно разрешить встававшие вопросы.

В начале декабря Татищев перебрался в Астрахань, поскольку неотложных дел у него в степи уже не было, а главное — не было необходимых средств для приобретения дров и провианта. Он неоднократно унижительно жаловался кабинет-министрам на трудное положение и просил выдать ему «другую половину жалованья». «Ибо здесь, — писал он, — что ни имел деньги, издержал, а занять не у кого, в чем имею крайнюю нужду». В Астрахани застало Татищева и известие о перевороте в Петербурге.

25 ноября 1741 года брауншвейгская династия была низведена с престола, и его заняла Елизавета Петровна. Переворот совершался под девизом восстановления попорченного русского достоинства и начинаний Петра Великого. Действительно, пали и были привлечены к ответственности некоторые открытые или скрытые враги Татищева: Головкин, Остерман. Вскрылись грандиозные аферы и финансовые махинации последних лет бироновщины. Но это была вовсе не та «русская партия», которая разрабатывала проекты государственного переустройства в 1730 году. Здесь не было людей ни типа князя Голицына, ни типа Татищева, ни даже типа Артемия Волынского. Новые патриоты не имели ни широты их государственного кругозора, ни их способности к самоотверженности. А главное — вожаки переворота и сами признавали это. Поэтому они и стремились, чтобы никто из действительных борцов против немецкого засилья и радетелей за дело отечества не оказался ненароком на высоких должностях.

Еще не зная о перевороте, Татищев 29 ноября доносил Остерману об окончании экспедиции и просил вместо «воздаяния» «отпуску на покой». «Воистину, — жаловался он, — я уже и малейшие трудности сносить, по моей старости и слабости, не в состоянии».

Но новое правительство решило иначе. Оно поблагодарило Татищева за его действия в Калмыцкой экспедиции и объявило о назначении его с 15 декабря 1741 года по совместительству астраханским губернатором.

Татищева наконец перестали беспокоить запросами по Оренбургской комиссии. Однако он понимал, что возвращения его в Петербург или Москву правительство не желает. У Елизаветы Петровны было гораздо меньше оснований способствовать возвышению Татищева, чем, скажем, у Анны Ивановны, к которой он хотя бы мог лично обращаться. Да и «патриотка» Елизавета Петровна больше была показная, театральная. Была она по-своему доброй барыней. Но ей было просто скучно всерьез заниматься государственными делами, да еще в духе второго пункта программы Татищева: довольства всех подданных.

27 декабря Татищев привел к присяге новой императрице своих калмыцких подопечных. Со вступлением в должность губернатора он снова обращается с просьбой освободить его от калмыцких дел. Просит также вернуть ему удержанное за два с половиной года жалованье и возместить ущерб, понесенный во время распродажи и просто разграбления его багажа в Самаре, где находился центр Оренбургской экспедиции.

...Раздоры в стане верхушки калмыцких феодалов между тем продолжались. Джана с группой в сто человек бежала в Кабарду. Против наместника Дондук-Даши поднялся ряд бывших его сторонников, возмущенных его вероломством и хищничеством. Татищев сообщал в Петербург о непристойном поведении наместника и вновь и вновь просил освободить его от калмыцких дел, передать их Тараканову. Однако правительство не хотело удовлетворять эту просьбу. Калмыцкие тяжбы по-прежнему висели на нем, мешая заниматься многочисленными губернскими проблемами.

В калмыцкие дела Татищев втянул и своего сына Евграфа, получившего при переводе на Нижнюю Волгу чин секунд-майора. Отец отправил сына в Кизляр на переговоры с Джаной, к которой присоединились и другие беглые, включая брата Дондук-Даши Бодонга. При этом оставалось много неясностей о действительных отношениях высочайших родственников (были слухи, что Бодонг бежал по наущению своего брата — наместника).

Деятельность сына весьма беспокоила Татищева, и он постоянно упрекал его за недостаточную полноту сведений о происходящем. Но сейчас и от отца и от сына мало что зависело. Калмыцкие вожаки по-прежнему жаловались друг на друга и друг друга грабили. В Кизляре отряду Евграфа пришлось защищать беглых калмыков от разорявших их подчиненных Дондук-Даши, и эти «верные» престолу калмыки грозили своим соотечественникам: «За вас теперь русские вступились, вперед будете в наших руках». А Петербург теперь ставил непосредственной задачей арест Джаны.

Татищеву-отцу казалось, что сын его медлит. Целый месяц переговаривается с Джаной и ее сыновьями. Евграф же объяснял это «ветреным состоянием» «здешних народов». «Ни на каких словах, — сетовал он, — утвердиться и вам за правильно донести не смеем: ибо одно дело в толковании не только на другой день, но в тот же час два или три раза переменяют, а хотя то и обличится, в стыд себе лжи не почитают».

Евграфу пришлось провести и настоящий бой с киргизами и татарами, бывшими в числе союзников Джаны. Он сообщает отцу, что едва не оказался жертвой («едва мы не обманулись»), когда киргизы предложили им спешиться якобы для переговоров. На самом деле они уже замыслили нападение на отряд, и Евграф поступил предусмотрительно, оставив своих солдат и терских казаков в конном строю. Бодонга с калмыками он тоже вывел против киргизов, но поставил их в некотором отдалении, опасаясь удара в спину. Исход боя был решен дружными действиями солдат и казаков, которым, кстати, Евграф дает самую высокую оценку. Зато люди Бодонга бросились на обозы бежавших киргизов и разграбили их. «Я с бою, — сообщает отцу Евграф, — себе ничего не взял, хотя мои взяли было несколько скота и лошадей, только я отдавал все солдатам и казакам; а хотелось мне взять двоих робят, только, если вы государь не повелите, и тех отдам».

Василий Никитич, одобряя служебную деятельность сына, самым суровым образом предостерегает его от получения взяток. В свою очередь, тот обижается за подобное подозрение. «Премилосердный государь батюшка! — пишет он. — Получил милостивое вашего государя моего родителя по прошедшей почте письмо, в котором вы, государь, мне осторожность иметь от взяток приказать изволили. Я, будучи в Кабарде, баранов 10 получил, а собственных моих денег близь сороку рублей им на питье и на стол издержал не для мотовства, ради славы, государь, вашей». Кабардинские князья выведывали у приехавших с Евграфом дворян, чем можно было бы одарить их начальника. Однако Евграф запретил им вести разговоры на эту тему.

В переписке опять-таки во многом проясняется и отношение Татищева к взяткам: подарки брать можно, но собственная щедрость должна превосходить их в стоимостном отношении. Теми же соображениями, как говорилось, руководствовался Татищев и в отношении к казне.

После нескольких месяцев переговоров Джана имеее с Бодонгом согласилась наконец вернуться к Астрахани. Десять дней у Татищева шли пиры и веселие с вернувшимися калмыцкими вождями. Ханша просила жалованья, сетуя на «оскудение» в деньгах и платье. Татищев готов был вернуть ей часть улусов и обеспечить улусами ее сыновей. Наместника это, конечно, не устраивало, и он пытался сорвать переговоры. Ему это, видимо, не удавалось. Зато удалось Бодонгу. Захватив с собой детей ханши и еще 150 человек, он в ночь на 21 июля бежал на Кубань. Правда, вскоре он вернулся и объяснил свой побег противодействием его намерению жениться на Джане. Но затем бежал снова. Дочь Джаны сообщила Татищеву, что побег Бодонга свершился по тайному сговору с ее матерью. Бодонг снова захватил с собой малолетних детей Джаны. В этой обстановке Татищев решился на арест Джаны. Ей был предъявлен длинный перечень вин, часть которых должна была произвести впечатление на калмыцкое население.

«Вины» ханши были более чем предостаточными. Из 70 тысяч кибиток, бывших у калмыков десятилетием раньше, осталось всего 20 тысяч. Сама Джана продала в рабство татарам, кабардинцам, персам и т. д. несколько тысяч калмыков. С точки зрения калмыков, важно было и то, что она «держала закон магометанский, а не верила бурханам калмыцким». Правительство же, еще недавно требовавшее от Татищева ареста Джаны и ее сторонников, теперь не склонно было поддерживать столь решительные меры.

Действия правительства во главе с «великим» и безликим канцлером — все тем же А. М. Черкасским — как будто специально были направлены на то, чтобы все развалить или, по крайней мере, не дать возможности поправить. Татищев не случайно настойчиво просит освободить его от калмыцких тяжб: из Петербурга ставят палки в колеса всем его начинаниям. Здесь, в Астраханском крае, Тараканов все делает, чтобы помешать делу, лишь бы досадить Татищеву. Именно покровительствуемый Таракановым полковник Бобарыкин, не гнушавшийся ни поборами с калмыцкого населения, ни прямыми грабежами, был непосредственно повинен в бегстве Бодонга. Царицынский комендант бригадир Кольцов по этому поводу сделал даже Татищеву представление, настаивая на аресте Бобарыкина. Но Татищев не поддержал своего приверженца. Он лучше знал о настроениях в Петербурге. Поэтому и ограничился отстранением Бобарыкина от должности.

Еще при Анне Леопольдовне Тараканов получил из Петербурга выговор за срыв мероприятий Татищева по Калмыцкой комиссии. Теперь он завалил Петербург противоречивыми доносами на Татищева. То обвинял его в излишней активности в решении разных пограничных дел, то, наоборот, в бездействии. И во всех случаях он отказывал Татищеву в выделении войск, особенно же в тех, когда они были особенно необходимы. Татищев, в свою очередь, жаловался в Петербург, настаивая либо на передаче всех калмыцких дел Тараканову, либо на подчинении ему войск Астраханского края. По запросу Сената Коллегия иностранных дел представила длинный список злоупотреблений Тараканова, от которых непосредственно страдали важнейшие государственные дела. Он вносил неразбериху в отношения с Персией. Вопреки указам отказывал Татищеву в воинских отрядах, а в то же время его супругу в Царицыне «охраняли» триста драгунов. Но Сенат ограничился сообщением об этом Военной коллегии. А та, как ни странно, мало считалась с потребностями Коллегии иностранных дел, то есть в конечном счете с внешнеполитическими задачами страны. В результате никто в Петербурге даже не попытался призвать к порядку самодура.

Мало помогали Татищеву из Петербурга и в решении важнейших калмыцких дел. Дондук-Даша ничего не хотел знать, кроме возможности личного обогащения. Татищеву неоднократно приходилось вмешиваться, чтобы сдерживать непомерные аппетиты наместника, тем более что вместе с этими аппетитами росло стремление наместника к самостоятельным внешнеполитическим связям, чем он вносил многочисленные осложнения в деятельность

Татищева и Коллегии иностранных дел. Татищев пытался урезонить Дондук-Дашу. Его, в частности, раздражало полное безразличие наместника к судьбам своего народа. «Все вы наместники одинаковы, — говорил Татищев. — Хан Дондук-Омбо получаемую в жалованье муку отдавал колмыцкому народу за великую цену из роста, от чего калмыцкий народ пришел в наивысшее разорение и скудость, чтоб хану чинить не надлежало, и тот его поступок весьма неправилен. У нас же русских шляхетство бедных своих крестьян не только от своих доходов на время увольняет, но своим без заплаты ссужает, а часто и в государственную казну подати за них платит. Вот и ты все себе просишь. А зачем? Следовало бы тебе, как благорассудному владельцу, оставя суеверства, обыкновений поповских не слушать, которым так много имение как жалованное, так и собранное с убогих улусов, на молебны тысячами туне раздаешь; а употребил бы получаемый хлеб на вспоможение бедных для завода скотом».

В отношении русского «шляхетства» Татищев, конечно, пересластил. Он нарисовал ту идеальную картину, которую, как он считал, должны были воплощать все владельцы крестьян. На самом деле нормы эксплуатации крестьянства постоянно росли, и по сравнению с XVII веком в XVIII они были неизмеримо выше, поскольку росли и потребности дворян, и расходы дворянского государства. Но верно и то, что феодалы ряда народностей, входивших в состав России, были еще более хищны по отношению к своим подданным. Татищев искренне сочувствовал калмыцкой бедноте, которую разоряли и прямо продавали в рабство собственные владельцы.

Раздражало Татищева и то, что большая часть поборов уходила на отправление религиозных культов. Как и всюду, «попы» у Татищева оказываются носителями всех пороков. Это они разжигают жадность у владельцев. Они же поглощают и значительную часть средств, тогда как у многих калмыков нет скота и нет возможности его приобрести. Но призыв ограничить духовенство на манер Петра I Дондук-Даша повернул против Татищева.

Наместник отправился в Петербург с просьбами и жалобами. Хотя о «попах» Татищев говорил только наедине с наместником, последний представил это в Петербурге как неуважение Татищева к вере калмыков. И Татищеву было сделано из столицы внушение. Ему советовали «ласкать» этих самых «попов», чтобы через них «в пользу интересов наших делать».

Добился Дондук-Даша и права непосредственной связи с коллегией. Он использовал это право для очередных личных просьб и жалоб на Татищева. А того по-прежнему от комиссии не освобождали, заставляя «контролировать» деятельность наместника, фактически без права что-нибудь предпринять для улучшения положения. Да его и нельзя было сколько-нибудь существенно улучшить, пока правительство удовлетворялось лишь личной верностью наместника, позволяя ему безнаказанно грабить свой народ.

Должно сказать, что в отношении наместника Татищев проявлял удивительную выдержку, никогда не раздражаясь на его явно непорядочное поведение. Даже получив от Галдан-Норбы — племянника наместника — уведомление, будто Дондук-Даша ожидает развития конфликта России с Персией, дабы решить, к кому примкнуть, Татищев хотя и сообщил об этом в коллегию, но отметил, что сам он в это не верит. Он постоянно подчеркивает, что с наместником его кто-то намеренно ссорит. О наветах, идущих от калмыцких владельцев, ему в целом было известно. О другом источнике он, видимо, тоже догадывался. Здесь усердствовал Тараканов. Он не гнушался ни ложью, ни поощрением Дондук-Даши на сомнительные действия.

Более года спустя после ареста Джаны, в сентябре 1743 года, в Петербург вдруг последовали жалобы на Татищева со стороны брата Джаны кабардинского владельца Магомета Атажукина, а также от Дондук-Даши с уверениями, будто Татищев во время ареста взял себе ряд ценных вещей, на которые претендовали оба эти лица. Правда, наместник при этом делал оговорки: «как слышно», и что, собственно, Татищев взял, и что вернул Джане, «о том никто не знает». Но

коллегия потребовала отчета. Татищеву пришлось выяснить, куда делось пропавшее имущество, причем одно из знамен, указанных в числе похищенных Татищевым, оказалось в самой коллегии. Кстати, тогда же старая ханша Дарма-Бала — враг Дондук-Даши — сообщала, что она пыталась подкупить Татищева, направив ему крупную сумму денег. Но Татищев от денег отказался, сославшись на то, что он «столько не заслужил и принять не для чего».

В письмах Дондук-Даши в Петербург наблюдается одна закономерность: он жалуется на крутой нрав Татищева и глухо намекает на его склонность к взяткам. Смысла последнего слова он даже и не понимал, поскольку обычно речь шла о том, что Татищев не дал ему чего-то из того, что он желал бы получить. Дондук-Даши даже подарки вымогал у Татищева. В одну из встреч вместо двух дорогих серебряных изделий, подаренных наместнику Татищевым, тот просил дать ему какую-нибудь дорогую, стоимостью в сто рублей саблю. Татищев таковой не имел, и наместник был крайне раздражен неподатливостью Татищева.

Сюжеты со взятками, очевидно, были подсказаны Дондук-Даши его постоянным сообщником в интригах против Татищева — Таракановым. Что же касается крутости нрава Татищева, то известные основания у наместника были. Речь идет о настойчивом требовании Татищева соблюдать законы, к чему не испытывали особой приверженности ни калмыцкие владельцы, ни русские служилые люди и канцеляристы.

Произвол администрации и широкая практика решения вопросов с помощью взяток — дело для XVIII века обычное. Положение в Астраханском крае не составляло исключения. Оно лишь осложнялось тем, что спорные вопросы между калмыками, татарами и русскими необходимо было решать с учетом судебной практики каждого из этих народов. До приезда Татищева, с 1737 года должность такого судьи исполнял капитан Лев Шихматов. Астраханскому губернатору, естественно, дано было указание из Петербурга, чтобы суд осуществлялся без волокит и без поборов. Но Шихматов все дела вел только по мере того, как поступали всевозможные подношения, и решал он их обычно в пользу того, кто больше даст. Жалобами на Шихматова и его действия буквально заваливали царскую администрацию. Но лишь в 1740 году наконец из Петербурга было предписано рассмотреть эти жалобы. Никакого заключения, да и рассмотрения в итоге не было. Татищев получил дела в таком же состоянии, в каком они находились и за несколько лет до него. Зато жалобщики с назначением Татищева воодушевились. Все-таки, невзирая на происки многочисленных врагов Татищева, за ним прочно следовала репутация человека крутого, но справедливого и неподкупного. И действительно, он немедленно отстранил взяточника с поста судьи, и по предложению местных татар назначил таковым Владимира Копытовского.

Упорядочению судопроизводства Татищев вообще придавал большое значение. В данном же случае строгий правопорядок приобретал огромное политическое звучание, что Татищев не только понимал сам, но стремился внушить и своим подчиненным. Он, в частности, непосредственно следил за работой смешанного (то есть совместного разных народов) суда, добиваясь, чтобы в нем обязательно участвовали представители всех заинтересованных сторон, в частности, так называемые бодокчеи — выборные судебные советники от калмыков и татар. Добиться этого, кстати, тоже было нелегко, так как коллегиальное решение дел, на котором опять-таки настаивал Татищев, было непривычно и русской администрации, и еще больше калмыцким владельцам.

Дондук-Даши не слишком заботился о последовательности своих обвинений против Татищева. В одних случаях он жаловался на строгость наказания его людей, замешанных в грабежах, убийствах и иных серьезных преступлениях, а в других, напротив, Татищеву вменялось в вину попустительство, если речь шла о врагах Дондук-Даши. Особенно наместника раздражало то, что Татищев не позволял ему собственноручно расправиться со своими недругами, число

которых было весьма значительным даже и в ближайшем его окружении. Недовольство многих владельцев вызывало и то, что Татищев, организовав выкуп проданных в рабство калмыков, пытался часть средств, необходимых для выкупа, брать с продавцов живого товара. Впрочем, это не помешало Дондук-Даше позднее писать в Петербург, будто Татищев не хочет выкупать запроданных в рабство.

Положение в смешанном суде при Татищеве резко изменилось. Сам он не без удовлетворения говорил об этом Дондук-Даше: «Вам известно, что до прибытия моего здесь в тюрьмах содержалось множество, из которых большая часть помирала, но при мне оно весьма умалилось, и только содержатся здесь в делании воровских денег и в смертном убийстве калмык с шесть человек, которые показывают, будто они в тех делах не точно винны, а винны другие калмыки, которые ныне живут в улусах, и о сыску их к вам было от меня писано, но и поныне не присланы, и затем те калмыки здесь под караулом продолжают». Но Татищев понимал, что нельзя решать каждое частное дело в зависимости от отношения к обвиняемым со стороны только наместника или, напротив, только русских властей. Поэтому он настаивал на том, чтобы Дондук-Даша представил ему либо прежнее калмыцкое уложение, либо какие-то материалы, на основании которых сам Татищев смог бы создать новое уложение для калмыков. Наместник уклонялся от выполнения этого требования, ссылаясь на то, что уложение утеряно в годы смуты. В то же время в письмах в Петербург он постоянно жалуется на то, что Татищев не знает местных обычаев и калмыцкого права.

Калмыцкая комиссия отняла у Татищева уйму сил и вконец расстроила здоровье. Когда правительство наконец решило создать комиссию для разбора тяжбы, Татищев был уже настолько болен, что не мог подписывать бумаги отнявшейся правой рукой. Решение было найдено весьма своеобразное. Главных врагов Дондук-Даши арестовали. Некоторые из них были наказаны, о чем сказано выше. Сама Джана и ее сыновья были крещены в Петербурге. Все они получили села с русскими крепостными. Русское дворянство пополнилось новым кланом дворян Дондуковых. Татищев от комиссии был отстранен, на его место назначен генерал-майор П. Д. Еропкин, который, кстати, также никак не хотел принимать этой неблагодарной должности. Дондук-Даша стал полновластным хозяином калмыцких улусов. Позднее, уже при его сыне Убуше, это полномочие привело к очередной трагедии многострадального калмыцкого народа. В 1771 году Убуша поднял значительную часть калмыков и покатился назад в Среднюю Азию, где большинство из них погибло от рук китайских феодалов.

Не по дому хозяина уважают, а дом по хозяину.

Цицерон

Оценку своего труда жди от потомства, беспристрастного и свободного от недоброжелательства и зависти.

Дю Белле

Уже Калмыцкая комиссия воспринималась Татищевым как ссылка. Назначение же астраханским губернатором он понял как заключение в «узилище». В письме к своему давнему доброжелателю Ивану Антоновичу Черкасову, получившему после длительной опалы вновь должность кабинет-секретаря и титул барона, Татищев жалуется, что он «без объявления вины в сие узилище определен». Удручающая картина разорения усиливала чувство отчаяния. «Люди разогнаны, доходы казенные ростеряны или разтосчены, правосудие и порядок едва когда слыханы, что за так великим удалением и не дивно», — отмечал Татищев. «Причина же сего есть главная, — пояснял он, — что неколико губернаторов суда (сюда) вместо ссылки употреблялись и, не имея смелости, или ничего, или бояся кого по нужде, неправильно делали. А может и то, что, не имея достаточного жалованья, принуждены искать прибýtка, не взирая на законы. Особливо здешняя канцелярия более оттого беспорядочно, что секретарям и подьячим дел таких, от которых достаточный доход иметь можно, мало, а жалованья нет, то принуждены коварствами и беспорядками доставать». Купцам также обогащение «токмо от хищений казенных и разоренья бессильных».

Татищев не видит пользы для дела и в своем назначении, «ибо, — поясняет он, — мне, не имея надежды и смелости, более прежде бывших невозможно». О состоянии здешних дел Татищев немедленно уведомил и своего давнего знакомого генерал-прокурора Сената Н. Ю. Трубецкого, также оказавшегося в фаворе у Елизаветы Петровны. И того и другого он просит о содействии в освобождении «из узилища». Но и тот и другой, видимо, были не в состоянии оказать Татищеву реальное содействие. Надо было работать. Да, как всегда, Татищева и увлекала работа. Поэтому наряду с «традиционными» просьбами содействовать об освобождении он все настойчивее просит о помощи в решении практических вопросов.

Татищев решительно отводит от себя возможное обвинение в том, что он не хочет служить. Но служба для него всегда измерялась пользой для государства. И в данном случае он скоро замечает, что «поправить можно, токмо надобно снабдение людьми и власть, без которого исправить не можно. А Камер-коллегия, не рассмотря обстоятельств, бранит и штрафами грозит». Татищев сожалеет, что не в состоянии ничего сделать, хотя имеет «ко исправлению смысл и желание». Предложения по упорядочению положения в пограничных районах Коллегия иностранных дел практически не рассматривала, обращаться же с этими вопросами в другие инстанции Татищеву запретили. Не в силах он справиться и со злоупотреблениями отдельных лиц, так как каждый из них «своих протекторов имеет», «а в Сенате, — подытоживает Татищев, — по моим представлениям злоба безсовестная, или недосуги ко внятному рассмотрению, не сходные резолюции, или молчание вижу».

Астраханская губерния включала Поволжье до Саратова и все пограничные территории на юге и юго-востоке. Но было здесь в 1708 году всего 1125 крестьянских и 6863 ясачных двора. Остальное население не находилось в ведении губернатора. За два десятилетия положение мало

изменилось. Прибавилось лишь несколько беглых из центра.

Город Астрахань окружала каменная крепость. Кроме этого, имелось несколько каменных церквей, среди которых выделялся собор, построенный в стиле выдающегося зодчего конца XVII — начала XVIII века Якова Бухвостова. Губернский дом и прочие административные здания были деревянными. Исключительно плохо обстояло дело с благоустройством. Узкие улицы были непроходимыми в дождливую погоду и подавляли тяжелым смрадом в сухое время. Побывавший в Астрахани в 1733 году генерал-лейтенант князь Гессен-Гомбургский доносил Анне: «Усмотрел от тамошняго тяжелого воздуха, за несмотрением чистоты, самый вредительный и язвительный смрад, от чего не могло б быть людям впредь вредительства, для чего потребно там учредить полицию». Только на такую «помощь» и можно было рассчитывать со стороны правительства Анны Ивановны. Астрахань оставалась окраиной, куда ссылали преступников разного ранга, включая и опальных чиновников. Как правило, правительство не боялось доверить опальным управление в стратегически важных для страны районах: очень часто опала и являлась следствием того, что тот или иной администратор из любви к отечеству с недостаточным почтением относился к правительству. А влиять на дела в столицах ссыльный уже не мог.

Под Астраханью имелись небольшие плантации, снабжавшие Москву и Петербург арбузами, дынями и виноградом. Но в целом в сельскохозяйственном отношении край был мало освоен. Значительно более заметное и важное для государства место занимала астраханская торговля. Большое значение имел и рыбный промысел. В одной Астрахани насчитывалось двадцать три ватаги. У некоторых купцов-ватажников числилось до 1500 наемных рабочих. Четырнадцать ватаг было в Черном Яру.

В XVIII веке ценные породы рыб — осетр, севрюга, белая рыба — водились еще и в Оке. Но на Оке их отлавливали в небольшом количестве. Основным поставщиком ценнейших рыбных продуктов центру оставалась Нижняя Волга. Поэтому расширение рыбных промыслов было важной хозяйственной задачей. Возникал в этой связи и ряд трудных проблем. Многие разорившиеся калмыки также переходили на рыбный промысел. Но русские власти относились к этому настороженно, поскольку постоянно происходили столкновения русских ватаг с калмыцкими, а также потому, что ознакомление последних с судоходством вело к росту калмыцких разбоев по волжскому побережью.

Татищев был сторонником приобщения калмыков к рыбному промыслу, поскольку это способствовало бы втягиванию их в хозяйственные отношения, характерные и для русского населения. Поэтому он поддержал настояния наместника выделить для калмыков специальные места рыбного промысла. Но количество калмыцких разбоев при этом действительно возросло. Постоянное недовольство вызывало это и у владельцев русских ватаг, которые заваливали своими жалобами и губернию и Петербург. Рыбопромышленники доносили, в частности, что калмыки ловят «неуказными» сетями, вылавливая огромное количество мелочи, которую они в итоге все равно выбрасывают на берегу, нанося ущерб не только рыбному промыслу, но и всей прибрежной округе.

Жалобы рыбопромышленников в целом были обоснованными. Но Татищев не спешил принять их сторону. Он думал лишь ограничить размеры калмыцких судов, плавающих по Волге, дабы не допускать использования ими многовесельных, на которых обычно совершались разбойничьи нападения. Дондук-Даша же вставал на защиту грабителей, объясняя разбой «скудостью» калмыков. В расширении калмыцкого рыбного промысла он видел не желание освоить еще один вид хозяйственной деятельности, а возможность накопить денег для обзаведения лошадьми и скотом, дабы вернуться к кочевническому образу жизни. По мнению же Татищева, такую задачу решить было проще всего. Достаточно отпустить всех неимущих

калмыков в русские ватаги, и за один-два года они смогли бы на заработанные деньги приобрести необходимый скот. Мешали этому калмыцкие владетели. Они отбирали у наемных калмыков заработанные ими деньги.

В конечном счете этот трудный вопрос так и не был решен. Его опять-таки невозможно было решить при общей непродуманной политике правительства во всех вопросах, касавшихся устройства Астраханского края, при курсе на безусловную поддержку владетелей-феодалов во всех их действиях против социальных низов собственного народа.

Примерно таким же было положение и в важнейшем для астраханского управления вопросе: охране русского порубежья на юго-востоке и Северном Кавказе. В 1735 году в Иране пришел к власти знаменитый Надир-шах. Военственный, энергичный и коварный восточный деспот надолго нарушил обычный ход событий на Среднем Востоке. В русском правительстве и у местной администрации не было ни единодушия, ни ясности в том, как могут развиваться отношения с шахиншахом. Резидент и консулы в прикаспийских городах давали противоречивые и путаные сведения то о намерениях шаха идти войной на Россию, то о развале шахской армии от мора и внутренних неурядиц. Между русскими и персидскими подданными происходили постоянные стычки по всему каспийскому побережью. Надир-шах буквально утопал в крови своих подданных, не останавливался перед уничтожением и ближайших родственников. Собственный сын против него устроил заговор, за что был ослеплен. Любому придворному путь от фавора до плахи был краток, как никогда. Тем не менее у шахиншаха оставалось достаточно и материальных и людских ресурсов для большой войны. Из одного похода в Индию он вывел полторы тысячи верблюдов, навьюченных драгоценностями.

От кровавых погромов Надир-шаха особенно страдали народы Средней Азии и Кавказа. В Астрахань непрерывным потоком шли посольства от разных народностей с просьбой принять их в русское подданство. Многократно с такой просьбой обращались туркмены, которые в 1741 году во время нашествия иранских войск на Хиву и Бухару откочевали к границам России в количестве трехсот тысяч кибиток (более миллиона человек). О подданстве России просили дагестанские князья. Помощи от нее ожидали Грузия и Армения. Правительство, однако, не спешило удовлетворить эти просьбы. Они были обычно односторонние: просители не могли ничего предложить взамен, а по устранению опасности они, напротив, могли доставить лишь новые неприятности русской администрации и русскому населению. Те же туркмены, не дождавшись ответа из Петербурга и удовлетворившись партией хлеба, полученной от России, ушли снова в Среднюю Азию. У русских границ осталась небольшая их часть, причем самая беднейшая, не имевшая ни скота, ни имущества. Осторожно относились русские власти и к просьбам народов Кавказа, опасаясь вызвать осложнение отношений с Ираном.

Воевать с Ираном Россия практически не могла. И об этом постоянно доносил в Петербург Татищев. Когда-то на Каспии был неплохой русский флот. В 1725 году здесь насчитывалось 177 судов и более тысячи матросов и корабельных рабочих. На содержание астраханского порта отпускалось свыше ста тысяч рублей. После утери полученных в 1723 году прикаспийских областей правительство не видело смысла в содержании каспийского флота. Оставлено было лишь три небольших корабля для отправки почтовой корреспонденции и два корабля для «сыску воров». Остальные суда продавались или раздавались купцам.

Вторжение Надир-шаха на Кавказ заставило правительство вернуться к вопросу об усилении каспийского флота. Потребность в этом возросла вследствие того, что на персидскую службу перебежал англичанин Эльтон, некогда оказывавший Татищеву содействие в строительстве пограничных укреплений в Оренбургском крае.

Еще в 1734 году по настоянию Бирона, получившего от англичан взятку в размере ста тысяч рублей, был заключен англо-русский договор сроком на пятнадцать лет. По этому договору

английские купцы получили право беспошлинной торговли персидскими шелками через территорию России. Даже Коммерц-коллегия, примирившаяся с этим договором, отмечала, что он принесет большой ущерб русским купцам. Нерешительное же новое правительство не осмеливалось внести в него какие-либо поправки, оправдывая бездействие необходимостью упрочения позиций в Прибалтике. Между тем действия Эльтона вполне позволяли пересмотреть вопрос коренным образом, поскольку англичанин пообещал шаху построить ряд кораблей. Если ранее русский флот господствовал здесь безраздельно и наличие его главным образом и удерживало шаха от активных действий против России, то теперь положение могло резко измениться.

23 ноября 1742 года Татищев получил указ взять на себя «адмиралтейство». Но в «адмиралтейство» он мог набрать лишь пять гекботов и столько же шмаков, для вооружения которых было отыскано четырнадцать пушек четырех- и шестифунтового калибра. Три гекбота по заказу Татищева должны были построить в Казани. На них предполагалось разместить двадцать четыре пушки двадцатичетырехфунтового калибра. Больше средств на корабельное строительство и содержание флота у него не было.

Не лучше обстояло дело и с крепостными сооружениями. Татищев строил на Волге выше Астрахани крепость Енотаевск, которая должна была служить убежищем калмыкам и русским гарнизонам. Но на большее опять-таки не хватало средств. Просьбы прислать пушки с уральских заводов остались без рассмотрения.

А с русского порубежья доносились тревожные вести. Тараканов, посланный в Кизляр с отрядом в три тысячи человек, настоятельно просит Татищева о помощи. Братищев, исполняющий там же обязанности толмача, засыпает письмами о скором вторжении Надир-шаха в российские пределы. 27 декабря Татищев созвал военный совет, на который пригласил генерал-майора Владимира Долгорукого, бригадира и вице-губернатора Михаила Бяратинского и советника губернской канцелярии Юрия Хризоскулова. Предстояло обсудить вести, исходившие от Тараканова и Братищева.

Татищев был решительным противником военного столкновения с Персией. Он отметил, что войска и малочисленны, и должным образом не вооружены, и не обучены. Письма Братищева он взял под сомнение. «Я нахожу, — заметил Татищев, — его письма всегда сумнительными: потому что, всегда переменяя, или обнадеживает, или великие страхи предписывает, но не всегда, как мнится, со основанием и добрым порядком, наиболее странным многоречием и бранью персиян неприличною наполняет; почему можно разуметь, что он человек молодой, в делах таких необыклов, следственно и сообщения его не весьма вероятны».

Вывод, сделанный Татищевым, свидетельствовал о его большом политическом опыте. Он решительно отверг возможность нападения персов в зимнее время. Речь могла идти, полагал он, лишь о выступлении не ранее марта. Зимой персидское войско не смогло бы даже добраться до астраханских пределов, не имея ни фуража, ни зимней одежды. Передислокацию же русского войска на Северный Кавказ в зимнее время, в условиях бескормицы, Татищев также считал губительной. Он понял, откуда у Братищева могут быть преувеличенные сведения: «Шах всенародно ненавидим, и... многие желают под властью российскою быть; ...такие для возмущения легко могут, ведомости вымышляя назло шаху, к Братищеву приносить, а Братищев весьма неразумно в письмах генерал-поручику и мне объявляет». Татищев предложил отложить решение до февраля, когда замыслы персидского шаха прояснятся. Большие надежды он при этом возлагал на то, что Надир-шаху достанется на Кавказе несладко.

Созванный Татищевым совет поддержал его предложение, а события затем показали и его полную правоту. У шаха действительно не было намерения вторгаться в русские пределы, и он не решился бы на такой шаг, имея весьма непрочный, сочувствующий России тыл. Он опасался

также, что война с Россией может побудить Турцию напасть на иранские владения в Азии. И уже в январе 1743 года шах покинул Кавказ для участия в осаде принадлежавшего Турции Багдада. Непосредственная угроза вторжения персов отпала. Но оставалась угроза, создававшаяся проперсидской деятельностью Эльтона.

Татищев передал в Петербург сведения об этой деятельности. Там сделали представление английскому посланнику, настаивая на аресте Эльтона. Англичане, конечно, тянули с решением. Они добились разрешения на посылку ревизора, каковым и явился Ганвей.

Ганвей побывал у Татищева и оставил описание своих встреч. Он отметил, в частности, что Татищев ранее был «пажом» при Петре I. Очевидно, имелось в виду пребывание мальчика Василия при дворе Прасковьи Федоровны. Татищев сообщил Ганвею также о своем подарке «знатнейшей в империи женщине» — бриллианте стоимостью в двенадцать тысяч рублей, купленным Татищевым за пять тысяч.

«Знатнейшей в империи женщиной» была сама Елизавета Петровна, видимо, главный недоброжелатель Татищева в Петербурге. Он не назвал имя «женщины», очевидно, опасаясь неблагоприятных для себя разговоров, особенно в столице. Красноватый алмаз весом в десять с половиной карат был приобретен Татищевым у армянского купца в октябре 1743 года. Тогда же английский купец Томсон оценил его в десять тысяч рублей. Татищев сообщил о приобретении Алексею Григорьевичу Разумовскому и вскоре переслал камень для императрицы. Деньги на покупку он позаимствовал в казне и просил в случае, если императрице подарок не приглянется, вернуть его в Астрахань. Через несколько месяцев Татищеву сообщили, что подарок «во угодность принят». Но такая мелочь, как источник заплаченных за алмаз денег, императрицу не интересовала.

Ганвей отметил у Татищева особое пристрастие к наукам и торговле. Татищев сообщал ему о своих занятиях историей. Ганвею поразила внешность Татищева: «Этот старик был замечателен своей сократической наружностью, изможденный телом, которое он старался поддерживать долголетним воздержанием, и наконец неутомимостью и разнообразием своих занятий. Если он не писал, не читал или не говорил о делах, то перебрасывал жетоны из руки в руку».

У Ганвея осталось впечатление безусловной дружелюбности и доброжелательности Татищева в отношении деятельности английской торговой компании. Татищев «поддержал» Ганвея в критике главных соперников англичан на Каспии — армянских купцов. Ганвей приписывает Татищеву слова, что «если б им, например, удалось получить 15 процентов позвольительным образом, то они не были бы так рады, как если б получили пять процентов посредством обмана». Ганвею, видимо, не было известно, что именно Татищев разрешил поселения в Астрахани армянских купцов, за что неоднократно получал нарекания из Петербурга. Все же расположение и дружелюбие Татищева в конечном счете сводилось к опасению, что действия Эльтона могут сказаться самым неблагоприятным образом на английской торговле в России и на Каспии.

Едва отъехав из Астрахани, Ганвей обратился к Татищеву с письмами, в которых выгораживал действия Эльтона или же отрицал очевидные факты. Татищев сообщил об этом в Петербург. Там соглашались с тем, что «Ганвей такой же интриган, как и Эльтон». Однако Татищеву советовали противодействовать представителям английской компании тайно, «под приличными предлогами».

Обращался время от времени к Татищеву и Эльтон. Он жаловался на русских служащих, в частности, на Братищева и консулов прикаспийских городов — сначала Арапова, а затем Бакунина, — а также пытался снять обвинения в свой адрес. Василий Никитич посылал Эльтону подарки и приглашал его в Астрахань. Но тот от такого визита уклонялся. Он по-своему пытался

«успокоить» Татищева: персидский флот якобы не может угрожать России, а может лишь служить препятствием для завоевательных планов русского правительства. В этом районе же выгоднее торговать, чем завоевывать территории.

Ганвей продолжал защищать Эльтона, и Татищев настаивал, чтобы коллегия приняла более жесткие меры. Русский посланник сделал представление в Лондоне. В Петербурге стали создавать препятствия для движения товаров и лиц в адрес Эльтона. Но Коммерц-коллегия не поддержала внешнеполитическое ведомство и разрешила осуществлять эти операции, лишь заменив адресата: вместо Эльтона указывать Ганвея. Только обращение Коллегии иностранных дел в Кабинет министров и к императрице позволило добиться поддержки жесткой линии. Татищеву дали инструкцию при удобном случае захватить Эльтона.

Ганвей в конце 1744 года снова направляется к Татищеву, надеясь выправить положение. У него сложилось впечатление, что Татищев получил из Петербурга нагоняй и потому изменил отношение к английской компании. Ганвей, видимо, рассчитывал, что Татищева можно подкупить, и он не скрывает своего разочарования. «Я явился к нему не с пустыми руками, — сетует он, — и, несмотря на то, в своих выражениях он едва переступил за границы самой общей вежливости». Татищев расценил деятельность Ганвея и Эльтона как враждебную России и не принял уверений Ганвея, будто к делам Эльтона он не имеет отношения. Но при этом «он с необыкновенной ловкостью умел обойти всякое резкое выражение в этом смысле». В Петербург же Татищев представил донесение, в котором был четко изложен смысл оправданий Ганвея.

Василий Никитич, однако, решительно возражал против «азиатских» способов противодействия английской компании, предложенных Петербургом и на практике осуществлявшихся некоторыми чиновниками. Английские купцы жаловались, в частности, на Бакунина, стремившегося скрытно и по мелочам вредить им. Примерно такого же порядка действий правительство ожидало и от Татищева. Но он решительно отвергал методы, которые могли бы принести лишь бесславию России.

Много неприятностей доставляла Татищеву необходимость разбираться во внутренней сваре русских чиновников. Так, Братищев и Бакунин вели между собой настоящую войну, обвиняя друг друга в ненасытном взяточничестве. Пришлось посылать третейского судью для разбора дела. В решении таких вопросов Татищев был особенно щепетилен и точен, проводя на практике различие между «мздоимством» и «лихоимством», тем более что ему по-прежнему приходилось отбиваться от обвинений в «любостяжании».

Должно иметь в виду, что большая часть администрации в первые годы правления Елизаветы Петровны снова была посажена на «подножный корм». Татищев жалуется Черкасову на ущемление его чести через ущемление жалованья. Он напоминает Черкасову, что при Петре I в качестве берг-советника он получал оклад — шестьсот рублей в год. Полный оклад получал он и в Оренбургской комиссии. Полное жалованье ему было определено и при отправлении в Калмыцкую комиссию, хотя по настоянию Головкина за 1741 год ему было выплачено лишь половинное (против соответствующих армейских чинов) жалованье. С 1742 года он не стал получать его вовсе. «И нужда моя к тому влечет, — заключает Татищев, — что, не имея жалованья, ни от деревень дохода достаточного, надобно от денег своих прибыль искать».

Справедливой Татищев считал оплату судебного разбирательства, но с непременным условием, чтобы таковая совершалась после суда, а не до вынесения окончательного решения. В свете этого принципа он оценивал и свои действия, и поведение подчиненных. Главным же источником его доходов являлась чисто коммерческая деятельность, которая в Астрахани приняла довольно широкий размах. Так, он купил на четыре тысячи рублей персидских денег, из которых наделал серебряной посуды. В письме Черкасову он сообщает, что можно было бы с выгодой покупать (и затем, очевидно, перепродавать) алмазы. Но он не мог делать это в

достаточных размерах из-за отсутствия свободных капиталов. Можно, наконец, не сомневаться в том, что все наличные средства у Татищева всегда находились в обороте. Он неизменно следовал капиталистическому принципу: деньги постоянно должны находиться в движении.

Из-за крайней бедности в людях в Астраханском крае трудно было создать какое-либо новое производство. Тем не менее благодаря стараниям Татищева здесь было налажено производство шелка, а также предпринимались попытки к разведению хлопка. С целью расширения ремесел и торговли Татищев отовсюду приглашал в Астрахань торговых людей. Из-за подозрительности русской администрации осуществлять это было нелегко. Дело в том, что обычно через купцов вел разведку в странах, подлежащих нападению, Надир-шах. Это было известно в России. Поэтому консул Бакунин предложил даже проверять переписку персидских и армянских купцов. Татищев же решительно возражал против такой меры. «Сие он, господин консул, — пояснил Татищев, — требует весьма неприличного дела. Ибо купцы пишут к своим корреспондентам о таких секретных подробностях, что ежели о том другой уведает, то может им в капитале их причиниться немалая трата или и купечеству их повреждение. И если их к тому принуждать, то, конечно, торг может не только не размножаться, но и пресечься. Опасаться же шпионства их никакой важной причины мы не имеем»

«Утеснения» купечеству были в обычае феодальной администрации. И Татищев постоянно ходатайствует перед Петербургом об отмене тех или иных ограничений. Так, он, в сущности, добился восстановления в Астрахани армянской общины, которая была уничтожена в первой четверти XVIII века. В Петербурге его поступок вызвал беспокойство и подозрительность. И в письме к Черкасову он оправдывает свои действия тем, что «знатных капиталистов в подданство российское призвал и фабрики знатно через них умножил». Татищев выражал обоснованную тревогу, как бы из-за притеснения администрации призванные им «капиталисты» «паки не разъехались». Обращаясь к истории, он приводит пример с Хазарским каганатом, могущество которого строилось лишь на торговле. «Многочисленность и богатство» — главные показатели государственной мощи, «а богатству, — полагал Татищев, — корень купечество и рукоделие».

Между тем все явственней становилось опальное положение Татищева. Труд его не замечался и не оплачивался. В 1743 году он жалуется Черкасову, что генерал-майоры Бакар и Долгорукий без него «делать ничего не могут», но они получают полное жалованье и награды, он же не может добиться простого увольнения от дел. В 1744 году он снова сетует: «за огромный (и, добавим, весьма плодотворный) труд не токмо награждения не вижу, но и надежды не имею, паче же от злодеев горестное оклеветание и поношение терплю, и мой труд другим приписав, награждение и милость у ее величества исходатайствовали — мне же и жалованья дать не хотят». Паразитировавший на деятельности Татищева Долгорукий не только получал чины и награды, но и оскорблял Василия Никитича напоминанием о том, что следствие над ним не закончено, что с ним еще посчитаются.

Татищев, по-видимому, никак не мог примириться с мыслью, что и новому правительству соображения «общей пользы» служат лишь прикрытием далеко не бескорыстных интересов. В 1743 году Сенат разослал «Росписание высоких и нижних государственных и земских правительств» — проект нового административного устройства. Татищев отозвался на него «Напомнением», которое вместе с запиской о событиях 1730 года направил в Сенат Н. Ю. Трубецкому. В записке содержится критика существующего территориального деления. Ошибки были допущены как из-за отсутствия карт и спешности выделения губерний, так и из-за корыстных побуждений отдельных губернаторов и секретарей, которым было поручено дело. Так, Меншиков Ярославль и Тверь приписал к Петербургской губернии, а Гагарин — Вятку и Пермь к Сибири. Секретари же «по щедрым просьбам» разные города «из одной провинции в другую переписывали».

Напоминает Татищев и о своей теории происхождения власти и государственности, а также о трех формах правления и смешанных, равно целесообразных в разных условиях, «взирая на состояние народа», не уточняя, что именно целесообразно для России.

В специальном разделе говорится «О порядках и законах к приобретению пользы и отвращению зла». Татищев повторяет некоторые положения, высказанные им в «Разговоре», в частности, о полезности веротерпимости (за исключением иудаизма и «афеистов учения»). Важной задачей правительства Татищев по-прежнему считает организацию «научения от младенчества разуму», поскольку через учение происходит «главная государству польза». Он указывает на пример «европейских областей», где «как монархии, так и республики ревностно прилежат и великих на то иждевений полагать не жалеют». Снова дается экскурс в историю, упоминается об указании Петра устроить училища по епархиям. Но дело это заглохло и теперь не блещет, хотя императрица «ревностию отеческою возбуждаема, великими щедротами основанные академии, училища снабдевать изволит, через что в совершенное цветущее состояние придти могли, и может привести».

Вновь Татищев настаивает на большем значении судоустройства, нежели военной мощи. «Если вражды умножатся, — говорит он, — междуусобие родится, и весь народ легко в смятение придти может, тогда ни великие богатства, ни сила войска крайнему разорению воспрепятствовать не могут». Очевидно, за упорядочением судопроизводства Татищев видит справедливое с точки зрения государственных потребностей разрешение социальных противоречий. Соответственно нужны и люди, которым противостоящие стороны могли бы доверять. Для государства важнее всего иметь достойных судей. А достоинство, подчеркивает Татищев, «состоит не в чести природной, или заслугами приобретенном в чине, но в природном уме, благонравии и через науку приобретенной мудрости». Истина, следовательно, отнюдь не сопутствует господствующему классу: она за пределами сословного деления. Мудрость же приобретает лишь учением.

Выведение главной с точки зрения Татищева должности за пределы сословных перегородок — факт в высшей мере примечательный. Он показывает, как далеко готов был идти Татищев навстречу желаниям низших сословий во имя государственной пользы. Можно сказать также, что именно в этом направлении работала его мысль. Реальная жизнь давала прямо противоположные примеры. «Хотя бы смотря на природный ум и благонравие в судьи выбирали, — сетует Татищев. — Кто не может ужасаться или с горечью удивляться, когда видит, из войска за пьянство, воровство или иное непотребство и за леность изгнанного, судиею немалого предела? Кто должен в таких непотребствах ответ перед богом дать, кроме определяющих неосмотрительно?» Иными словами, виноваты в этом беспорядке сами верхи, которые и назначают судей из числа отчисленных из армии по старой традиции как бы на «кормление».

Те же силы мешают и приведению в порядок законодательства, отделению судопроизводства от правосудия и т. п. Петр неоднократно напоминал Сенату о необходимости составления нового Уложения. Но тем, кто «обыкли с большею их пользою в мутной воде рыбу ловить, было неприятно». Комиссия вроде бы и была создана, да лишь для пустых разговоров. К тому же «ни единого не токмо в законах, но ни в грамматике ученаго определено не было». Поэтому «оное близь тридцати лет без всякого плода и надежды тянется, хотя бы оное искусным в год, а конечно не более двух, сочинить возможно». Татищев видит, что виновны в таком положении лица, стоящие на самом верху. Но он никак не может примириться с тем, что наверх их заносит сама существующая система.

В разделе «О мудрости экономии» Татищев оговаривается, что писать об этом надо много. Пока же он напоминает о самом необходимом: «1) умножение народа, 2) довольство всех подданных, 3) побуждение и способы к трудолюбию, ремеслам, промыслам, торгам и земским

работам, 4) умножение всяких плодов от животных и рощений (то есть растений); 5) научение страху божию и благодетельности, 6) умеренное употребление имения». Таким путем каждый в отдельности и государство в целом «обогащается, усиливается и славу приобретает».

В последнем разделе говорится о необходимости строгой субординации чинов и должностей, с соответствующей каждому званию «честью». «Ежели кто на чести оскорблен бывает, — полагал Татищев, — то, конечно, или в верности, или в прилежности ослабевает, а из того великий вред происходит». Особенно возмущается Татищев тем, что мелкий чиновник центрального аппарата указывает «генералу или губернатору, правящему целое царство, да еще с неучтивыми угрозами и досадительными включениями». Татищев думает, что все это происходит лишь потому, что нет четкого описания гражданских чинов и их субординации. Между тем иначе и не могло быть, когда «персоны управляют закон», а не «законы управляют персонами».

Исходя из принципа, что «честь и преимущество» должны соответствовать «поверенности и власти», Татищев предупреждает и о том, что при проведении его в жизнь надо соблюдать «умеренность и осторожность», дабы «некоторые в отдалении получа надмерную власть, великий вред или совершенное падение государств» не причинили. У нас это, добавляет Татищев, «учинить и в безопасности всегда быть удобно». Но как и перед кем должно отвечать «высшее правительство»? Каким образом лишить традиционных «удобств» титулованных и нетитулованных административных хищников? На это у Татищева ответа не находится. И не удивительно: на него нельзя было дать ответ в рамках существующего строя.

Если учесть, что вместе с «Напомнением» Татищев прислал в Сенат и свою записку о событиях 1730 года, то можно представить, насколько глубоким должно было быть раздражение и возмущение многих сенаторов. Татищев косвенно и прямо напоминал об их поведении в смутные месяцы января — февраля 1730 года. Он напоминал им о «должности» правителей, каковой они исполнять не собирались. И в деятельности, и в записках Татищева они увидели прямой вызов себе. Очевидно, соответственным образом дело было доложено и императрице.

Направить царский гнев против Татищева было совсем нетрудно. Елизавета Петровна могла, например, прийти в суеверный ужас от сообщения, что Фридрих II — этот «Надир-шах прусский» — не ходит в церковь. А что же говорить про Татищева, который и не скрывал антипатии к духовенству? Снова поползли слухи о «любостыжании» астраханского губернатора. Черкасов предупредил об этом Татищева. И тот, очевидно, имел основание заверить Черкасова, что никто его «копейкой не обличит». Сенат, не имея ничего против последних лет работы Татищева, возбудил старое дело все с тем же Бардекевичем (которого Татищев якобы оклеветал) и все с теми же 4616 рублями иска, из которых 1441 рубль шел на возмещение содержания Следственной комиссии и 2645 рублей за постройку казенного дома в Самаре, который все это время использовался как казенное учреждение и перестраивался за казенный же счет. Не более обоснованными были и другие финансовые начеты. Главное же заключалось в иных пунктах обвинения: так называемых «упущениях» по службе. Несколько пунктов этих «упущений» отмечали его сознательную позицию во время башкирского мятежа: стремление не допустить бездумных разорений и казней. Другие обвинения касались его попыток поправить прожекты и просчеты, связанные с продвижением к Средней Азии.

В апреле 1745 года сенатская комиссия обвинила Татищева по этому делу. Надуманность обвинений была настолько очевидна, что обер-прокурор Брылкин опротестовал заключение. Не был с ним согласен и генерал-прокурор Н. Ю. Трубецкой. Но как раз в это время их отношения с Татищевым испортились. Трубецкой возглавил новую комиссию, которая в августе утвердила это решение.

Никита Юрьевич Трубецкой был личностью весьма противоречивой. Родственные связи

выводили его на самый верх. Его сестра — жена С. А. Салтыкова — была близка самой Анне Ивановне. Первой женой его была дочь Головкина, второй — вдова М. А. Хераскова, перешедшего в Россию вместе с Д. Кантемиром. Может быть, отсюда его неизменное покровительство А. Кантемиру и, естественно, Хераскову. Трубецкой любил «ученые» компании, готов был покровительствовать просвещению и в какой-то мере свободомыслию. В то же время за ним следовала репутация человека сомнительного. О нем говорили, что он «лежал на ухе» у Бирона, то есть шпионил. Многие, видимо, догадывались и о его масонских связях. Черкасов настаивал на том, чтобы Татищев прекратил переписку с Трубецким, поскольку общение с ним роняло Татищева в глазах некоторых вельмож. Татищев, плохо осведомленный о петербургских придворных склоках, подчинился этому требованию. К тому же он столкнулся с Трубецким по вопросу о рыбных промыслах Астрахани. Вопреки предостережениям Татищева Трубецкой содействовал в передаче их на откуп московским купцам, чем наносился серьезный ущерб экономике Астрахани и вызывалось недовольство населения.

7 августа 1745 года Сенат предложил императрице освободить Татищева от занимаемых должностей, «видя его невоздержание и опасаясь, чтоб и потом не последовало какого-либо ущерба и упущения»; 4616 рублей с него немедленно взыскали. «Изустным указом» императрицы Татищеву предписывалось «жить в своих деревнях до указа, а в Петербург не ездить». Даже и удаленного от дел Татищева правительство боялось. И конечно, не из-за его мнимого «невоздержания».

Причины травли Татищева коснулся Ганвей: «Зависть к способностям Татищева между учеными» и «месть ханжей за его неверие», которое, по мнению Ганвея, «было велико». О том же писал находившийся на русской службе Иоган Лерх, «доктор и коллежский советник», проезжавший через Астрахань в 1745 году по пути в Персию. Лерх называет Татищева «известным ученым», «который незадолго перед тем устроил Оренбургскую губернию». «Он говорил по-немецки, имел большую библиотеку из лучших книг и был сведущ в философии, математике и особенно истории. Относительно религии он держался особых убеждений, за которые многие не считали его православным. Он был болезнен и худошав, но в делах очень сведущ и решителен, умел каждому подать добрый совет и помощь, особенно купцам, которых привел в цветущее состояние».

Научная деятельность Татищева продолжалась и в Астрахани. Он неустанно напоминает о необходимости проведения межевания и составления ландкарт, продолжает работать над «Разговором» и «Историей», готов теперь писать историю царствования Петра, поскольку «многие пресекались, или под защитою е. и. в. будут безопасны». Татищев полагал, что императрица таким трудом могла бы воздвигнуть родителю более величественный памятник, «нежели великим иждивением древле в Египте и Риме музолеями». Но подследственному вольнодумцу, очевидно, опасались поручить столь ответственное дело, как поучение живущих прославлением умерших.

В 1742 году Татищев написал «Краткие экономические до деревни следующие записки». Поводом для их написания могло явиться получение деревни под Симбирском сыном Евграфом. Рассчитывал же Татищев, конечно, на более широкого читателя, как для широкого круга предназначились и все другие его записки. Именно в этом размышлении сказывается переключка с некоторыми проектами Маслова, которых он видеть, очевидно, не мог. И если к сходным выводам два автора не пришли совершенно независимо друг от друга, то остается предполагать, что им доводилось обсуждать эти вопросы в Москве или в Петербурге в зиму 1734 года.

«Записки» адресованы владельцам крепостных крестьян. Здесь нет размышлений о достоинствах или недостатках крепостного труда, что встречается в некоторых других работах

Татищева. Он исходит из существующего положения, и задача заключается в способах подъема благосостояния как помещиков, так и крестьян. Обращается Татищев именно к помещикам, и советы его следует оценивать в сопоставлении с реальной хозяйственной деятельностью помещиков этого времени.

Первое, что можно отметить как нечто безусловно существенное, — это отрицательное отношение Татищева к барщине, которая в XVIII веке как раз и приняла наибольший размах. Барщину он допускал только в том случае, если помещик сам наблюдал за хозяйством. В случае же, если управление деревнями осуществлялось через старост и приказчиков, Татищев считал барщину недопустимой: необходимо было отпускать крестьян на оброк.

В XVIII веке помещичьи владения обычно были раскиданы по разным уездам и губерниям. При таком положении барщина допускалась лишь в той деревне, где непосредственно жил помещик. Остальные должны были находиться на оброке. Какое это имело значение в социальном плане, можно судить по известным строкам Пушкина: «Ярем он барщины старинной оброком легким заменил, и раб судьбу благословил».

Для Татищева требование перевода крестьян на оброк имело и иное значение. Он был последовательным сторонником перевода отношений в товарно-денежную сферу. Оброк не просто оставлял больше возможностей для развития крестьянской самостоятельности. Он подталкивал замену натурального хозяйства предпринимательно-денежным.

Нередко обращают внимание на жесткие требования Татищева к распорядку жизни крестьян. Это верно. Но жесткими требованиями Татищев отличался во всем и ко всем. Детальную регламентацию можно наблюдать и в наказе шихтмейстеру, и в инструкциях учителям, и в других его наставлениях подчиненным. Безделья Татищев не терпел, к кому бы это ни относилось. Поэтому неверным было бы видеть в тех или иных советах Татищева жадность эксплуататора. Смысл здесь в другом. Татищев выискивает как бы наиболее целесообразные нормы для всех заинтересованных сторон, имея непосредственным адресатом помещика.

В Записках Татищева много полезных советов, заимствованных не только из личного опыта (сравнительно небольшого), но и из литературы, прежде всего иностранной. Некоторые из них и ныне не потеряли значения. Так, Татищев советует для экономии труда сеять весной сразу яровые и озимую рожь, причем после уборки яровых рожь остается на засеянном участке до будущего года. Даются также советы по утилизации конского навоза (он пригоден в качестве вторичного корма; этим вопросом занимаются и в настоящее время). Вместо обычной в то время трехпольной системы Татищев предлагает вводить четырехполье, причем четвертое поле у него — полевой выгон для скота. Таким образом сберегается от вытаптывания луг и обеспечивается естественное удобрение полевого участка.

Девиз Татищева — стремиться к тому, чтобы «ничто, произращенное от бога, данное нам в пищу, втуне по нашей лености пропасть не могло». Поэтому он обязывает приказчиков и старост неустанно наблюдать за заготовкой солений, варений и т. п., дает длинный перечень культур, подлежащих заготовке. И если окажется, что «в чем потребно надобности в доме состоять не будет, то все оное можно будет продать, а хотя и крестьянам отдать весьма полезно».

В социальном плане интересно установление Татищевым норм соотношения барской и крестьянской запашки. Известные мыслители петровского времени И. Т. Посошков и А. П. Вольнский считали, что крестьянский надел должен составлять две десятины в поле, то есть шесть десятин. (Десятину тогда считали восемьдесят на сорок сажен, то есть около полутора гектаров.) Татищев определял норму в три десятины в поле. В районах же малоземельных допускался надел в одну десятину, но при условии, что крестьянам принадлежало бы не менее половины всего земельного фонда. В противном случае помещик должен был вообще отказываться от барской запашки и отпускать крестьян на оброк, дабы они могли прокормиться

за счет ремесел и отходов. В реальной же практике XVIII века даже в дворцовых подмосковных селах надел был не выше десятины в поле.

По расчетам Татищева, одно тягло, состоявшее из мужа и жены (с неженатыми детьми), должно было обрабатывать не более десятины в поле помещичьей земли, а также выполнять соответствующий объем других работ. Таким образом, рабочее время распределялось из расчета: четвертая часть помещику, три четверти — крестьянину. Барщина при таком раскладе не должна была превышать двух дней в неделю в страдную пору. На практике она была в XVIII веке значительно выше, а официально рекомендованная в конце столетия трехдневная барщина воспринималась как известное ее ограничение.

Урожайность полей, особенно в нечерноземной зоне, зависела непосредственным образом от количества скота и, следовательно, возможности унавоживания почвы. Разрушение этого баланса — наиболее явный показатель кризиса сельского хозяйства, неотвратимо ведущего к обнищанию основной массы крестьян. По подсчетам специалистов, унавоживание одной десятины пара требовало шести голов крупного рогатого скота или соответствующего количества мелких домашних животных (из расчета десять овец за голову крупного рогатого скота). Практически для нужных норм скота повсеместно недоставало. В дворцовом селе Коломенском навозом обеспечивалась лишь пятнадцатая часть посевной площади. Близкая картина наблюдалась и в других хозяйствах центрального района. Обычно крестьянский двор насчитывал одну-две головы крупного скота, таких же, кто имел больше двух голов, было меньше, чем вообще не имевших скота.

Татищев исходил из того, что скота помещику надо «иметь столько, чтоб всю землю в одном поле унавозить было можно; а именно, считая на каждое тягло крестьянина в барском доме иметь лошадь одну, коров две, овец пять, кладеный бык один, свинья одна» и т. д. На барском дворе скот должен быть племенной. Из этого скота помещику следовало ссужать обедневших крестьян для заведения собственного хозяйства. Что касается крестьян, то здесь, минимум на каждое тягло (соответственно земельному наделу) выше. Помещик должен следить, чтобы у каждого крестьянина было «лошадей работных 2, быков кладеных 2, коров 5, овец 10, свиней 2», а также гуси и куры. «А кто пожелает иметь больше — дозволяется, а меньше вышеописанного положения отнюдь не иметь». Общее количество в переводе на крупный скот составляет те самые одиннадцать-двенадцать единиц, которые были необходимы для унавоживания двух или трех (в зависимости от почв) десятин пара. Для увеличения количества навоза Татищев советует также возить листья из лесу.

Маслов в свое время предлагал провести специальное «учреждение», которое обязывало бы помещиков заботиться о крестьянском хозяйстве. Он, правда, и сам понимал, что это «многим будет не без противности». А на проекте появилась высочайшая резолюция: «обождать». С этой резолюцией он и пролежал почти полтора столетия. Татищев идет с другой стороны: он обращается к помещикам, которым такие пожелания, конечно, «не без противности». Но записки будут читать, и кое-кому придется вести нелегкий разговор с собственной совестью.

К сожалению, неизвестно, в какой мере Татищеву удалось самому проводить свои наставления. Очевидно, он мог предписывать сыну лишь то, что им было проверено. Но он редко бывал в своих имениях. Хозяйствование же супруги в 20-е годы, доведшее крестьян до разорения, для него оставалось примером того, чего нельзя делать.

Оброк с крестьян Татищев предусматривал либо натурой, либо деньгами в размере одного рубля в год. Подушная подать в это время достигала семидесяти копеек в год, то есть два-три рубля на тягло (считая в семье трех-четыре человека мужского пола). Оброк этот можно назвать средним. Но у Татищева предполагается гораздо более высокий уровень крестьянского дохода, чем это обычно имело место в действительности. А он требует, чтобы помещики обязательно

добивались этого уровня.

Татищев осуждает тех помещиков, которые следят лишь за обработкой барской земли и оставляют на собственное усмотрение крестьянское хозяйство. Он исходит из того, что помещик лучше разбирается в хозяйственных вопросах и знаком с передовым опытом. После выполнения помещичьих работ надо «принуждать крестьян» делать свою, потому что крестьяне «от лености в великую нищету приходят, а после приносят на судьбу жалобу». Неисправных «ленивцев» Татищев предлагает отдавать в батраки зажиточным хозяевам, которые и должны выплачивать за них полагающиеся подати. В батраках «ленивец» должен обретаться до тех пор, пока не «заслужит хорошую похвалу» (очевидно, в глазах помещика).

Предлагаемая Татищевым продолжительность рабочего дня в страдную пору недавно была обычной в деревне. Так, например, косцы в Подмосковье начинали работу в три часа утра и заканчивали ее в двадцать два часа вечером (с перерывами на завтрак и обед). А Татищев советовал в летнее время основные работы выполнять в период с шестнадцати часов пополудни до десяти часов утра, то есть в ночное время. «А в сие жаркое время, — наставлял Татищев, — отнюдь не работать, ибо как людям, так и лошадям оно весьма вредно».

В задачу помещика входило и упрочение деревенского общежития. «Под жестоким наказанием» запрещалось устраивать драки и разжигать вражду. Предписывается «жить всем согласно и единодушно без всякой зависти во всяком дружелюбии, одному другому во всем вспомоществовать». В интересах общины односельчанам не следует заводить между собой кумовства, дабы можно было жениться внутри села. Этими же соображениями вызвано и требование, чтобы крестьяне излишек своих продуктов не продавали «кроме своей деревни». И лишь если никто не захочет его покупать, можно вывозить на продажу за пределы деревни. Община в данном случае выступает в своем обычном для этого времени качестве: поддерживает слабого, но сдерживает свободу предпринимательства.

Завершение всех уборочных работ Татищев предлагает отмечать совместными празднествами всей деревни. Помещик должен, «выбрав свободный день и собрав, всех напоить и накормить из боярского кошгу». Из «боярского» же «кошгу» в деревне должны быть построены две богадельни, чтобы «крестьян старых и хворых мужеска и женска полу по миру не пущать».

Для бездомных Татищев советует строить дома. Затраты помещик может потом возместить, взимая ежегодно по рублю. Вообще строительные работы занимают важное место в его советах, а потому уделяется особое внимание созданию кирпичных заводов. В деревне, помимо богаделен, должны быть построены тюрьмы для «винных», бани и школы.

Как и все остальное, учение осуществляется с помощью принуждения. Вводится своеобразный всеобуч. Все дети мужского и женского пола в возрасте от пяти до десяти лет должны учиться читать и писать, «чрез что оные придут в познание закона». С десяти до пятнадцати лет детей надлежало обучать разным «художествам», то есть всевозможным ремеслам, «дабы ни один без рукоделья не был, а особливо зимой оные могут без тяжкой работы получить свои интересы». Зимой помещик «ревизует художников, что кто сделал для своей продажи и не были ль праздны; понеже от праздности крестьяне не токмо в болезнь приходят, но и вовсе умирают, спят довольно, едят многу, а не имеют муциону».

В Записке весьма отчетливо проступает живой Татищев. Он не терпит даже минутного безделья ни у себя, ни у своих подчиненных, ни у крестьян. Труд — самое большое достояние, выше всего ценимое Татищевым. И это достояние утрачивалось его современниками из господствующего класса, а отчасти и трудовыми слоями, отчаявшимися трудом улучшить свое положение.

В предложениях Татищева просматривается и то сочетание двух разных хозяйственных

систем, которое будет распространяться в эпоху кризиса крепостнических отношений: помещик находится как бы в двойственных отношениях с крестьянином. Он выступает то в качестве владельца крепостных, то в качестве соучастника по коммерческой деятельности. Безусловно, что, если бы русские помещики приняли предложения Татищева, рост буржуазных отношений в деревне быстро пошел бы вперед. Но это были лишь пожелания. В них не было ничего, что могло бы заставить помещика идти в этом направлении. Предписывая насильственные меры в отношении крестьянства (хотя бы и для подъема их же хозяйства), Татищев, конечно, не мог предлагать принудительных мер в отношении помещиков. Это уже вряд ли в силах было сделать и правительство, если бы вдруг у него (что совершенно невероятно) появилось такое желание.

В Записке Татищев выразил свое отношение главным образом к организационной стороне дела. Она не отражала всего круга его воззрений по крестьянскому вопросу. В ней не было многого из того, что Татищев высказывал ранее. И он вернется еще к этому вопросу в более общей постановке в период своего болдинского заточения.

Еще не наступило время, когда порядочные люди могут безнаказанно служить родине.

Робеспьер

Мудрец менее всего одинок тогда, когда он находится в одиночестве.

Свифт

Успех следует измерять не положением, которого человек достиг в жизни, а теми препятствиями, какие он преодолел.

Букер Т. Вашингтон

Больным и разбитым покидал Татищев Астрахань. Об отставке он просил сам, и просил многократно, обращаясь то с официальными ходатайствами, то с письмами к Черкасову. А наказанием являлись и отказы в удовлетворении этих прошений, и их удовлетворение: нельзя дорожить тяжелым трудом, не получая за него ни жалованья, ни чести, и еще труднее осознать, что даже такого труда человека лишают отнюдь не по гуманным соображениям.

В течение нескольких месяцев после освобождения от должности Татищев еще вынужден был оставаться в Астрахани в ожидании своего преемника. Он плохо представлял, что же происходит в Петербурге, в чем его обвиняют, и никак ни от кого не мог добиться разъяснения. В состоянии полного недоумения и прибыл Татищев 22 декабря в принадлежавшую сыну деревню Тетюшинскую Казанской губернии, расположенную под Симбирском. В самом Симбирске у Татищева был дом, построенный еще в годы руководства им Оренбургской экспедицией. Но, «избегая от людей беспокойства», как сообщал он Черкасову, «рассудил жить здесь», то есть в деревне.

Дело заключалось, разумеется, не только в желании избежать «от людей беспокойства». Татищев ждал из Петербурга разъяснения своего нового статута. Снова им занимается следственная комиссия, и снова невозможно понять, в чем все же его обвиняют, чего от него хотят, что ему позволяют и что запрещают.

Татищев почти искренен, когда в письме к Черкасову делится радостью, что не видит «от дел приказных досад». Однако другие дела «не менее досады наносят». Это и сожаление, что в округе нет ни доктора, ни лекаря, тогда как болезнь его за дорогу обострилась, и сетование по поводу бездеятельности воинских команд, когда вокруг свирепствуют разбои. Разбои еще должны умножиться к весне, поскольку «в житах дороговизна», а «многие крестьяне чем сеять не имеют». Знакомые купцы и кое-кто из шляхты не оставляют Татищева вниманием и здесь. Они «с великою горестию и слезами приносят жалобы на воевод, полицмейстеров». В глазах очень многих честных граждан и чиновников Татищев — воплощение честности и порядка. Теперь он отмалчивается или ограничивается ничем не меняющими объяснениями. Но «по ревности... к пользе отечества» он не может не печалиться, особенно когда видит, что «за отдалением бедные люди скоро справедливости сыскать не могут, доходы же государственные невидимо умаляются».

Люди тем чаще и основательней обращаются к прошлому, чем меньше оказывается у них

возможности непосредственно бороться с пороками своего времени. Записки Татищева пугали даже его друзей. И Василий Никитич прибегает к испытанному приему: напоминаниям о планах Петра, как они виделись ему, Татищеву. Он, в частности, говорит о намерении Петра создать Коллегию государственной экономии, которая должна была «правосудие возставить, немощным обиды и коварные ябеды пресечь». Обычные «дежурные» пожелания, на которые не скупится любое правительство, Татищев возводит в ранг плана, поставленного чуть ли не на практическую почву, причем сам-то он и действительно мог бы предложить развернутый план такой коллегии: достаточно было распространить на всю страну то, что удавалось ему воплотить на короткий срок на сравнительно больших территориях.

«Петровская» коллегия должна была уравновесить доходы и расходы «без отягощения народа». Она должна была снабдить войско жалованьем, «а народ оному разорять способы и случаи пресечь», рассмотреть, «где какие подданным пользы умножить, а вреды отвратить». Эта же коллегия должна была позаботиться об училищах. Чем дальше, тем больше свои идеи Татищев вкладывает в неосуществленные проекты преобразователя. Петр Великий для него — это идеализированный образ правителя, которому лишь время не позволило осуществить то, что, с точки зрения Татищева, надо и можно было воплотить в жизнь. Но даже и в таком виде идеи Татищева были вызовом дочери великого императора и ее наслаждающемуся жизнью двору. Те, кто читал его Записки, боялись их обсуждать даже в узком кругу.

Из письма Черкасова Василий Никитич понял, что возврат его в столицы невозможен. Черкасов посоветовал ему остаться либо в Симбирске, либо в деревне сына. Перезимовать в деревне Татищев был уже готов, тем более что необходимо было укрепить расшатавшееся здоровье. Но остаться здесь до конца жизни он просто не мог. Ему нужны были встречи если не с мыслящими людьми, то хотя бы с умными книгами, которые в его новом положении практически невозможно было и достать. И он просит Черкасова помочь получить разрешение на переезд в деревню Болдино Дмитровского уезда, «которая от Москвы 50 верст». Татищев опасается, «не будет ли то противно». А в подмосковной деревне он смог бы, если «жив будет», заново рассмотреть старые проекты упорядочения дел в стране, чтобы искоренить «горшня коварства и ябеды в судах, а немощным от сильных обиды и разорения».

Разрешение на переезд в подмосковную деревню все-таки было дано. К началу мая 1746 года Татищев прибыл в Болдино, где протекали его последние годы. Большую часть своей библиотеки он оставил в московском доме на Трубниковской, откуда ему обычно доставляли в Болдино лишь то, что нужно было для работы. Татищева очень пугала опасность гибели его рукописных сокровищ. Он неоднократно делится своими опасениями с корреспондентами, в частности с В. К. Тредиаковским, дом которого на Васильевском острове в Петербурге сгорел в ночь на 30 октября 1747 года. И хотя сама Елизавета Петровна изволила выделить две тысячи рублей Тредиаковскому на приобретение нового «багажа», самого дорогого для пишущего человека — своих и чужих рукописей — восстановить он, конечно, не мог.

Хотя решением Сената к Татищеву были приставлены для надзора солдаты, многие его корреспонденты, видимо, не знали, что он находится фактически под домашним арестом и что ему не разрешено выезжать из своей деревни. Секретарь Петербургской Академии наук Шумахер, через которого Татищев поддерживал связь с академией еще с 30-х годов, уже в апреле 1746 года ожидал Татищева в Петербурге, и Василий Никитич разъяснил, что он «весьма болен и к езде дальней возможности» не имеет, «разве особливое повеление понудит». Но переписку он продолжает вести активно и с Академией наук, и с частными лицами. В числе его корреспондентов оказываются и старые знакомые — А. К. Нартов и П. И. Рычков, и титулованные особы, к которым он обращается со всевозможными просьбами и предложениями.

Несмотря на заметно ухудшившееся здоровье, именно теперь Татищев получил возможность

отдаться целиком научным изысканиям. Он настойчиво приводит в порядок свой основной труд — «Историю Российскую». Продолжает также работы по завершению географических сочинений. Не оставляет своим вниманием и проблемы социально-экономические и политические.

В 1747 году Татищев написал две записки: «Разсуждение о ревизии поголовной» и «Разсуждение о беглых мужчинах и женщинах и о пожилых за побег». Несколько позднее им была подготовлена записка о пользе купечества и ремесел, а накануне смерти он заново продумывает вопрос о политических формах государственного устройства и путях ликвидации крепостного права.

«Разсуждение о ревизии поголовной» появилось в связи с начавшейся в 1743 году очередной ревизией окладов и переписи податных сословий. Татищеву беспокоило то, что за два года дело мало продвинулось вперед, и не видно было, чтобы оно скоро пришло к завершению. А убытки оказывались значительными хотя бы потому, что на время переписи запрещалось отпускать крестьян в отход. Так из-за этого запрещения из богатых солью районов — Перми и Астрахани — не поступала соль, «и народ в соли во многих местах претерпел крайний недостаток». Осуждает Татищев и привлечение для проведения переписи воинских подразделений. Содержание войска непомерной тяжестью ложится на население некоторых уездов, где войска ранее не были расквартированы и где, следовательно, не готовились к их приему. Войско отвлекается от своего основного, настоящего дела, а людей, знающих дело, в нем все равно нет.

Как и во всех других записках, Татищев ставит вопрос широко и всеобъемлюще. Он начинает с понятий. «Потребно, — говорит он, — такое речение употреблять, чтоб все было вразумительно не токмо в обществе, но и в малейших того частях... Нужно, чтобы всякое слово слышащий в том разуме понимал, в котором сказыватель полагает...»

Через понятия Татищев в этом случае высказывает некоторые суждения по социально-экономическим вопросам. Это проявляется, в частности, в рассуждении о соотношении значений «дань» и «подать», рассуждении, кстати, весьма любопытном и с точки зрения науки нашего времени, поскольку о сущности «дани» и сейчас ведутся жаркие споры (речь идет в основном о том, является ли дань формой феодальной ренты или же это институт догосударственного периода).

В понимании Татищева «дань» — это основной окладный сбор от подданных в пользу государства (государя). «Подать» же — это то, что собирается сверх дани, «на чрезвычайный расход наложенное». Дань Татищев считает «делом весьма нужным». Важно, чтобы «каждый подданный знал, что он и когда дать должен». Практика первой половины XVIII столетия давала в этой связи лишь отрицательные примеры. Татищев, конечно, ее имеет в виду. Но он пишет тем, кто и создает эту финансово-налоговую вакханалию. Поэтому для доказательства используются более отдаленные исторические примеры и свидетельства. «В расположении дани, — поясняет Татищев, — есть главное рассмотрение, чтоб оно было сносное и всем подданным уравнительное и на потребные расходы достаточно, как о том славный един философ написал: подати в государстве подобны балласту на корабле: великие погружают, а малые от опровержения удержать не могут». Поэтому нужно смотреть по времени и областям, дабы не приводили они ни к «погружению», ни к «опровержению».

К целесообразным поступлениям Татищев относит «пошлины внутренние и внешние доходы от промыслов и рукоделий разного звания». Нужно стремиться к росту этих доходов через развитие промышленности и торговли, и поддерживать расходы на уровне, обеспеченном доходами. Совет, конечно, не слишком хитрый. Но о нем забывали почти все российские правители, современные Татищеву.

Увеличению государственных доходов служит разумная экономическая политика. Правительство должно стремиться «елико возможно, работы и труды крестьянства уменьшить и облегчить, а плодородие в житах, скотах и прочем умножить». Речь, следовательно, идет о подъеме заинтересованности и производительности труда крестьян — основной массы производящего населения страны. Как это сделать, Татищев не поясняет. До этого, очевидно, просто дело не доходит: ведь правительство еще и не ставило, да и не собиралось ставить перед собою такую задачу.

«Умножение рукоделий» и в этой записке занимает почетное место. Татищев особенно настаивает на необходимости переработки на месте любого сырья, дабы вывоз состоял только из готовой продукции, и «за работы оных свои подданные, а не чужие получали». В «рукоделиях» же предпочтение должно оказываться минеральным и металлообрабатывающим промыслам, то есть тому, кто составляет основу промышленного развития любой страны.

Записка позволяет проследить, как у Татищева нарастает убеждение в необходимости специальных мер по ограждению купечества от притеснений со стороны феодального государства. В развитии торгов, полагал Татищев, могут оказать содействие «доброе учреждение» и «искусные» администраторы. Он вполне мог бы сослаться в этой связи на свой значительный опыт и пример. Но он понимает и то, что без целенаправленной и целесообразной политики правительства в этом вопросе трудно рассчитывать на заметные успехи. Поэтому он подчеркивает, что торг умножается «наипаче чрез вольность купечества и охранение их от отягощений». Купечество должно быть поставлено в государстве на возможно более почетное место. «Сие есть корень и основание всех богатств и доходов государственных, и суще как сердце в человеке всю кровь или тук от всего тела в себя приняв, паки во все тело разделяет и окружение оного продолжает, тако купечество, где оное свободно торгует, тамо и богато, а когда купечество богато, то все государство богато, сильно и почтенно», — уверенно заключает Татищев.

Усиление крепостнического пресса приводило к массовым побегам крестьян на окраины страны и за ее рубежи. Это вызывало беспокойство Татищева, и он советует следить за тем, чтобы «подданные из государства не имели причины за границы уходить и места нужные опустошать». Наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы заселить «великие пустыни» народом, в том числе «приходящими из-за границ».

Впервые в истории русской общественно-экономической мысли Татищев предлагает создать «банк долговой», «с умеренным ростом» (то есть с невысоким процентом). Банк будет способствовать развитию фабрик и заводов, а также торговле, государство же будет получать прибыль как от процентов, так и главным образом через «умножение сбора пошлин».

Таким образом, в связи с частным вопросом Татищев излагает целую программу преобразований, которые могли бы поднять благосостояние страны. Формальная связь заключалась в том, что перепись была нужна для упорядочения основного обложения.

Татищев предлагает позаимствовать опыт Швеции, где «свидетельствуют оклады чрез седьм лет без всякой трудности и отягощения народа». Это достигается за счет, того, что переписи возлагаются на выборных «от шляхетства, духовенства и граждан, под правлением губернаторов».

В 40-е годы XVIII столетия власть помещиков над крестьянами возросла как никогда ранее. Продолжался и процесс расширения сферы применения крепостного труда. В конечном счете именно крепостное право являлось источником всевозможных злоупотреблений. Татищев это осознавал. Но он осознавал и то, что ни правительство, ни помещики не допустят сколь-нибудь существенного изменения сложившегося положения. Поэтому он подходит к вопросу издали. Он обращается к истории и устанавливает, что «до царя Федора крестьяне были

вольны и жили за кем хотели». Он пытался убедить правительство и помещиков в том, что такой порядок был выгоден им самим, поскольку закрепощение создало трудную проблему беглых, подтолкнуло помещиков на разные ухищрения и в отношении друг друга, и в отношении казны. И совершенно недопустимым считает Татищев превращение в крепостных тех крестьян, которые оставались к этому времени свободными. Он возмущается, что офицеры, «определенные к переписи», принуждают записываться «к своим или приятелей своих деревням» «вольных людей» «противо их воли».

Инструкция о проведении ревизии предусматривала излишнее духовенство определить на службу или раздать «в оклад». Татищев предлагает найти более целесообразное применение этой части населения, учитывая, что оно владеет грамотой. Особенно его беспокоит судьба учащихся епархиальных и других училищ. Он советует «при церквах приходских для обучения в городах гражданских, а в селах дворцовых людей и крестьянских детей хотя писать и читать училища учредить, и учителей иметь, дабы чрез то как в домоправлении, — так и в войске грамотных не оскудевало, о чем во всех христианских государствах прилежно стараются». В порядке поощрения Татищев предлагает «детей крестьянских, которые обучатся, в рекруты не отдавать, разве которой сам себя кражею, пьянством и другим злодейством тоя милости лишит».

Не покушаясь на крепостной порядок в целом, Татищев ищет способы ограничения его действия. Он предлагает ограничить пятнадцатью годами срок солдатской службы, после чего отслуживших следовало «отпускать на волю с их детьми, к кому кто похочет и у тех их писать самих не в оклад, а детей в оклад». Исключение делалось лишь для тех, кто сам себя изувечит или выйдет из строя «от французской и тому подобной самохотной болезни».

Хотя «сдача в рекруты» в 40-е годы оставалась самой грозной мерой наказания, многие крестьяне готовы были идти в тяжелую армейскую службу, лишь бы избавиться от невыносимого крепостнического гнета. Ограничение срока службы, безусловно, сделало бы армию еще более притягательной для помещичьих крестьян. Для государства в целом такая мера сулила большие выгоды, поскольку позволяла иметь обученный резерв и значительно сократить численность войск, непосредственно находящихся под ружьем. Принятие плана Татищева могло создать также очень действенный канал постепенного «раскрепощения» крестьянства. Но план этот был нереален именно потому, что дворянство давно уже ставило свои корыстные интересы выше государственных, а государственная машина все менее была способна представлять государственные интересы.

В предложениях Татищева не было почти ничего не исполнимого. И кое-что из его программы преобразований и усовершенствований было реализовано во второй половине XVIII столетия. Однако большинство его предложений осталось лежать втуне. Правительство все более руководствовалось не соображениями государственной пользы, а стремлением удовлетворить корыстные интересы класса феодалов, потребности которого все далее расходились с объективными требованиями государственного организма.

К рассмотренному «Рассуждению» примыкает и «Разсуждение о беглых мущинах и женщинах и о пожилых за побег». Кое-что здесь и прямо повторяется. Однако во втором «Рассуждении» имеются и новые темы. Особенно интересны следы глубоких раздумий Татищева о социальной сущности явлений, раздумий, поведших его к некоторым далеко идущим выводам. Татищев зачеркнул в своей рукописи две фразы, как будто исходные для всего рассуждения: «Побег людей от их господ — тяжкое преступление закона», и «Закон наш гражданский определил всем быть непременно и наследственно рабами». Именно из этих положений исходила социально-юридическая практика XVIII века. Татищев же усомнился в их правильности и целесообразности.

Сомнение по поводу разумности существующего положения теоретически было обозначено

еще в «Разговоре». Но там вопрос ставился именно теоретически, без выхода на практику. Теперь, напротив, Татищев пытается оценить с точки зрения теории реальную повседневную практику.

Как и в «Разговоре», Татищев обращается к закону естественному и гражданскому. Он рассматривает две категории зависимого населения холопов и рабов. Холопство основано на договоре и не может распространяться на детей договаривающихся. Следовательно, незаконной признается полуторавековая практика, поскольку именно таким путем крепостное право охватило значительную часть крестьян. Другой путь — порабощение. Рабство устанавливается прямым насилием. А это делает его и вовсе незаконным. «Раб самим ли его господином покоренной или от покорившего наследством и куплею полученной, имеет право от онаго насилия или покорения искать свободы, как токмо может способ тому улучшить». Не имеет, следовательно, значения, сам ли господин поработил данного несвободного, или купил его — раб имеет право «искать свободы».

Закон естественный, разъясняет Татищев, предписывает человеку «другому всякого добра желать и благодеяние показывать, как себе самому, а не делать того, чего себе не желает». Это требование распространяется и на отношения господина и раба. Отсюда следует весьма смелый вывод, что «рабство и неволя против закона христианского». Татищев вновь напоминает, что до Федора Ивановича у нас «были все крестьяне вольные и жили кто за кем хотел, пленники токмо были невольные, но их дети неволи свободны». По логике Татищева это означало, что все формы крепостной зависимости, все виды неволи в XVIII веке были незаконны.

Можно отметить, что Татищев несколько идеализирует положение, существовавшее до известных законов 90-х годов XVI столетия, утвердивших крепостное право. Холопство было и в XV веке. В XVI веке оно интенсивно росло. Татищев дает картину не того, что было, а того, что должно быть согласно естественному закону. Эта подкрашенная картина и отражает идеал самого Татищева.

Дальнейший ход закрепощения излагается вполне достоверно, причем Татищев располагал об этом периоде некоторыми источниками, утерянными теперь. Он сообщает, что Борис Годунов отнял у крестьян волю, что вызвало «великое беспокойство», и Борис вынужден был снова дать волю. Но теперь «забеспокоились» дворяне. Шуйский вновь «вольность крестьянам отнял». И это вызвало осложнение. Что делать теперь, Татищев пока решать отказывается: «Ныне же можно ли ту вольность без смятения возобновить и все те распри, коварства и обиды пресечь, требует пространного разсуждения и достаточно мудрого учреждения, дабы исча в том пользы большего вреда не нанести». Но ясно, куда он клонит и какую задачу ставит перед «достаточно мудрым учреждением». Пройдет свыше ста лет, прежде чем правители России вынуждены будут пойти на создание таких «мудрых учреждений».

Для Татищева преимущества вольности бесспорны. Другое дело, что весьма труден был вопрос о путях ее восстановления. Осторожность Татищева в данном случае питалась двоякими причинами. Как серьезный государственный деятель, он не мог предложить мер, не продуманных до мелочей и не учитывающих возможных отрицательных последствий. Еще важнее было то, что малейшее выступление в пользу крестьянской свободы встречало яростное противодействие со стороны помещиков. «Мудрому учреждению» надо было искать возможности преодоления этого противодействия. А лишь из крепостников-помещиков и могло быть составлено в середине XVIII века «мудрое учреждение».

Побеги приняли тогда массовый характер, и разбор тяжб землевладельцев на этой почве составлял едва ли не самую значительную часть судебных разбирательств. Татищев предлагает некоторые меры для упорядочения существующей практики, исходя из закона гражданского, а не естественного, то есть исходя из реально действующего законодательства.

Несоответствие реального законодательства естественному закону для Татищева очевидно, и он делает соответствующие оговорки. «В приеме беглых, — говорит он, — если я по закону божию и естественному ходу рассуждать, то ни малейшей противности оным не найду, но паче неволю оному противною почитать можно; взирая же на закон гражданский, нахожу в нем... три... обстоятельства: обида ближнему, что отчич лишится своего дохода и сверх того принужден за него многие годы государственную дань платить; обида и сбежавшему, что он принужден два раза дом и пашню оставляя вновь заводить... обида обществу или государству в недоплате с пустоты податей... обида высочайшей власти презиранием закона».

Наказание вообще Татищев сводит к двум разным формам. За причиненный убыток положено дать соответствующее возмещение. В данном случае это предполагало значительное снижение вознаграждения по сравнению с предусмотренным в законодательстве.

Другая форма наказания означает штраф за нарушение закона. Татищев напоминает, что наказание не должно быть слишком мягким, дабы не ронять авторитета закона, но оно не должно быть и непомерно жестким. В итоге за прием беглых Татищев предусматривает штраф гораздо меньший, чем назначавшийся текущим законодательством. По Татищеву, требовалось также тщательное исследование: можно ли то или иное лицо признавать за беглого? Оказывается, что он не каждого беглого рассматривал в таком качестве. Так, по его мнению, из этого разряда следовало исключать беглых девиц, достигших 18 лет, если их владелец или родители не выдают замуж или, наоборот, отдают, но против их воли. Это была как раз одна из наиболее многочисленных категорий беглых. Татищев же предлагал давать таким беглым волю. Тот же порядок он распространял и на молодых вдов, если их в течение двух лет не выдавали снова замуж.

Записку о ревизии и побегах Татищев передал петербургскому начальству. Как он писал некоторое время спустя Михаилу Илларионовичу Воронцову, занимавшему с 1744 года пост вице-канцлера, кое-что из его рекомендаций при завершении переписи учли. Но «большее и нужнейшее осталось без рассмотрения». Последнее неудивительно. Удивительно то, что все-таки кое-что было использовано, хотя и анонимно.

Непосредственно М. И. Воронцову Татищев направляет «Представление о купечестве и ремеслах». Он не возражает против того, чтобы Воронцов, не упоминая имени Татищева, взял содержащиеся в записке мысли «к своей чести». Ему, конечно, хотелось бы, чтобы была создана специальная комиссия для рассмотрения этого вопроса, и он тогда, несмотря на недомогание, развернул бы свои предложения подробнее. Но особых надежд на это он, конечно, не питал.

В представлении снова подчеркивается мысль о необходимости «вольности» купечества и ограждения его от административного вмешательства. Татищев все более осознает, что интересы казны и государства не совпадают, и всюду, где это различие для него выясняется, он интересы казны готов принести в жертву более высоким интересам государства.

Интересен исторический экскурс Татищева как в русскую, так и в зарубежную историю. Он сопоставляет недавние столкновения Англии, Голландии, Испании и Франции и объясняет успехи первых именно развитием торговли. Испания за счет своих колоний накопила немало ценностей. Но ценности сами по себе ничего не стоят, если они не участвуют в обороте. Они не в состоянии двигать даже «рукоделия», поскольку последние также развиваются под воздействием рынка. «Пресильная монархия» Франция потерпела поражение в борьбе с Англией и Голландией именно потому, что торговля в ней была слабо развита. В этом рассуждении Татищев, в сущности, показывает историческую обреченность феодализма в споре с капитализмом, причем становится он безоговорочно на сторону последнего.

Примечательны и некоторые факты, несколько выпадающие из ранее сложившейся оценки хода русской истории. Так, проникнутый сепаратизмом Новгород вел широкую ганзейскую

торговлю, тогда как в остальной Руси, задавленной татаро-монгольским гнетом, торговля практически совершенно замерла. Взглянув на историю через призму развития торговли, он пересматривает и свое отношение к Борису Годунову, которого всегда осуждал за введение крепостного права.

Время Алексея Михайловича, как отмечалось, Татищев оценивал в целом положительно, усматривая именно в этом периоде зарождение всех положительных тенденций в развитии русской экономики и культуры. Петровская эпоха была лишь преемником этого исторического движения, причем дело до конца не было доведено и кое в чем остановилось. «Алексей Михайлович, — по мнению Татищева, — как его храбростию в делах военных, так преострым умом и охотою ко экономии вечную по себе память оставил, между многими его знатными и вечной славы достойными делами не меньше он о рукоделиях, ремеслах и купечестве его труда показал. В его время медные и железные заводы, якоже и оружейные устроены, холщевые и шелковые фабрики заведены, неколико и о кораблеплавании в пользу купечества выписанными разными ремесленниками прилежность и пользу показал, договоры с Англией и Голландиею в полезнейшее состояние русским купцам учинил».

Особенно выделяет он Торговый устав 1667 года, а также создание «особливых правительств» для купечества по городам, дабы оградить купечество от «утеснений» со стороны «неразсудных правителей». В данном случае речь идет о тех мероприятиях, которые в свое время пытался провести, но не сумел до конца утвердить Ордин-Нащокин. Хвалит Алексея Михайловича Татищев также за приглашение иностранных специалистов и за попытки организации школ, в частности, за то, что своих детей царь учил латинскому языку.

Деятельность Петра являлась новым шагом на этом пути. Однако установлениями о купечестве Татищев все-таки не удовлетворен: «Понеже по естеству все дела человеческие с начала ни от кого в совершенство приведены быть не могут, но требуют от времени до времени исправления, дополнки и применения... так и в сем, что до купечества и рукоделия принадлежит, мно нечто исправить, дополнить или переменить... потребно».

«Исправление» купечества Татищев мыслит по трем линиям. Во-первых, администрация не должна вмешиваться в дела ярмарок и вообще в самый процесс торговли: торговля лучше всего развивается, когда ей не мешают. Во-вторых, необходимо улучшение путей сообщения и установление постоянной почтовой связи. И наконец, необходим организованный кредит. «Для исправного и порядочного торгу, — разъясняет это положение Татищев, — нужно иметь кредит или поверенность. Но оной происходит от довольства у купцов денег. Токмо собственных своих денег никакое купец всегда довольства иметь не может для того, что ему деньги туне держать есть бесполезно, и для того купят всегда товары. Но как товара скоро продать не может, а между тем увидит товар, потребный ему и не весьма дорог, то принужден оной или деньги у другого в долг взять. А понеже у партикулярных деньги скоро достать не может, а иногда в том государственная или придворная нужда, чтоб оно не пропустить. Но и паче для ремесленников или мануфактур великая в том нужда случается, что сделанные товары продать ему, а работы без припасов остановить и работающих без всякого убытка распустить невозможно». В то же время «военные, гражданские, придворные служители, шляхетство и духовные часто... немалые во избытке деньги» имеют, которым они не могут найти дельного применения. Создание банка устроило бы и тех и других. Одни получали бы от своих денег проценты, другие могли бы пускать их в оборот.

Таким образом, Татищев предусматривает организацию не просто государственного кредита купечеству (что, кстати, также было бы выгодно для самой казны), а коммерческого банка — учреждения чисто капиталистического. Мечтой Татищева было приведение в движение всех имеющихся в государстве средств, втягивание в товарно-денежные отношения всех слоев

русского общества. Программа эта, очевидно, чисто буржуазная, и буржуазия в России XVIII века не имела более настойчивого разностороннего выразителя своих интересов, нежели Татищев.

Ратуя за «вольность» купечества, Татищев и в то же время решительно возражает против покупки купечеством деревень, «которыми нимало управлять не разумеют, и тем сами разорились и деревни разоряют». Он отсылает к опыту Англии, Голландии и Франции, где имеются «великие фабрики, но деревень купцам купить нигде не позволено». Следовало бы, однако, пояснить, что в названных странах вообще промышленность содержалась на вольнонаемном труде. В России же резервы такого труда были весьма ограничены, о чем и сам Татищев неоднократно говорил с сожалением. «Вольность» купечества наталкивалась на невольность крестьянства, и это-то противоречие и являлось главной причиной медленного развития торговли и ремесел, а также стремления предпринимателей присоединиться к классу, уже ненужному производству, но пользующемуся плодами трудов других.

К записке о купечестве и ремеслах примыкает «Предложение о размножении фабрик». В ней, в частности, ставится вопрос об улучшении положения ремесленников и повышении качества ремесленной продукции. Татищев проводит различие между мануфактурой и ремесленным производством, как правило, обходящимся без применения наемного труда. В условиях крепостного строя это могло иметь немалое значение. Поэтому Татищев стоит неизменно за помощь и содействие ремесленникам.

Представление о купечестве и ремеслах, по-видимому, заинтересовало М. И. Воронцова. Во всяком случае, в его архиве сохранились две беловые копии записки. Идеи Татищева, возможно, сказались в некоторых экономических мероприятиях 50-х годов, в частности, в создании в 1754 году Государственного заемного банка, имевшего в качестве отделения Купеческий банк. Правда, во всех этих учреждениях предусматривался прежде всего дворянский интерес, а потому должного эффекта они дать не могли. Но это и не удивительно, если учесть, что «заботу» о купечестве осуществляло дворянское правительство.

Во всех социально-политических рассуждениях Татищева неизменно вставал вопрос о целесообразности монархии и возможности восстановления крестьянской «вольности». Но эти вопросы обычно стояли как бы независимо один от другого. Утверждение крепостного права, оказавшего отрицательные последствия на развитие страны, казалось Татищеву случайным решением неразумного правителя. Но эти два сюжета в его сознании все более переплетались.

Новые соображения побудили Татищева вернуться к работе, начатой еще в конце 30-х годов: подготовке свода древнерусских законов. Таким изданием решалось сразу несколько вопросов: выяснились многие важные факты русской истории, привлекалось внимание к развитию современного Татищеву права, подготавливалась почва для созыва комиссии по составлению нового Уложения. Примечания Татищева к разным статьям древнерусских юридических памятников отражают этот интерес. И особое внимание уделяется крестьянской теме.

В 1740 году, комментируя закрепостительные установления конца XVI — начала XVII века, Татищев примерно так же, как и в «Разговоре», акцентировал внимание на то, что из-за этого разразилась смута. Теперь он этим не удовлетворяется. Это проявляется, в частности, и в том, что при каждом удобном случае он напоминает о прежней вольности крестьян. Так, поясняя понятие «недвижимые имения», Татищев напоминает, что в него ранее не включались крестьяне, «которые тогда вольны были». Говоря об ограничении размеров кабал пятнадцатью рублями по Судебнику 1550 года, Татищев делает (правильный в общем-то) вывод, что статья включалась «мню, для того, чтоб вечно не крепили». Татищев, как говорилось, наследственное холопство считал вообще незаконным. Воспроизводя статью о праве родичей на выкуп отчин, Татищев снова напоминает, что о крестьянах в этих случаях речи нет, «понеже были вольные».

Он сожалеет, что указ о закрепощении «утратился и причины, для чего крестьяне невольными учинены, неизвестны». В действительности конца XVI века он не видит ничего такого, что могло бы оправдать введение крепостного права, в современной же ему действительности оно лишь унаследованное от прошлого зло.

88-я статья Судебника 1550 года посвящена порядку крестьянских переходов. Комментируя ее, Татищев приводит ряд аргументов в пользу «вольности». «Вольность крестьян и холопей, — отмечает он, — ...во всех европейских государствах узаконенное и многую в себе государствам пользу заключает». Полезно это было и для Русского государства. «1) Крестьяне так безпутными отчинники утесняемы и к побегам с их разорением понуждаемы не были, как я о суде беглых обстоятельно показал; 2) таких тяжб, судов, ябед, коварств и немощным от сильных разорений в беглых не было; 3) в добрых верных и способных служителей мы такого недостатка не терпели».

Татищев отсылает, видимо, к несохранившейся части рассуждения о беглых, и из этой отсылки видно, что вину за побег он целиком возлагал на «безпутных отчинников». Вольность крестьян обеспечивала и важнейший с точки зрения государственной пользы аспект правительственной деятельности подбор «добрых, верных и способных служителей». Татищев имеет в виду, очевидно, прежде всего военную службу, о чем он говорил и ранее. Но и при таком ограничении ход его мыслей примерно тот же, что и позднее у Радищева: настоящим сыном отечества может быть только свободный человек.

Приведя все эти соображения о преимуществах вольности перед неволей, Татищев как будто не вполне логично «отступает»: «Оное (то есть вольность) с нашею формою правления монаршеского не согласует, и вкоренившийся обычай неволи переменить небезопасно, как то при царе Борисе и Василие от учинения холопей вольными приключилось».

Итак, вольность всем хороша, но она несовместима с монархией. Вывод сам по себе глубоко обоснованный: «Переменить небезопасно». Это тоже верно. Всякие крутые ломки чреватые непредвиденными последствиями. А что же делать? Еще ранее Татищев советовал обдумать этот вопрос всесторонне. Конечно, он и сам продолжает думать над этим. И вот один из результатов его раздумий: на пути к достижению вольности стоит монархия.

Монархизм Татищева, как можно было видеть, всегда был относительным. Он принимал монархию как относительно меньшее из зол и для таких стран, как Россия. Но даже и в его обязанности для России полной уверенности у него никогда не было. Теперь же и вообще остается мало аргументов, оправдывающих целесообразность монархии: она оказывается на пути главного, что могло бы обеспечить процветание государства, — вольности.

Обязывающих выводов Татищев не делает. Но все его предложения об «улучшении» в конечном счете сводятся к ограничению монархии. Одной из главных прерогатив монарха всегда было законодательство. И именно этот вопрос Татищев рассматривает как бы не зависящим от монарха. Подготовить «добрый» закон одному человеку не под силу, даже если это Петр Великий. «В сочинении нового закона, — развивает Татищев ранее высказанные мысли, — для чести законодателя и для твердости закона нужно прилежно рассматривать и остерегаться, чтобы не дать страсти своей сочинителю власти». Таких «пристрастных законов» оказывается немало уже после Уложения 1649 года. Петр Великий для объективности и продуманности установлений обязывал приглашать в Сенат и членов всех коллегий. Однако и этого, по мнению Татищева, недостаточно. «Сие безопаснее и справедливее могло быть, если бы такие обстоятельства прежде ученым в юриспруденции для рассмотрения сообщались и рассуждения их требовать».

А законов, нуждающихся, с точки зрения Татищева, в изменении, оставалось много, и число их со временем не уменьшалось. Он с сожалением говорит, например, что «у нас... о найме и

разплате достаточного закона нет. По искусству же видимо, что с обе стороны беспорядки и обиды происходят, которое наиболее посадских и крестьян касается». Татищев добавляет, что все это он мог бы «пространно показать, если б здесь (то есть в комментарии к статье) то нужно было». Действительно, в комментарии к статье Судебника об этом говорить было не вполне уместно. Но Татищева этот вопрос беспокоил. Он тревожился, что в России вообще отсутствовало законодательство, регулировавшее взаимоотношения предпринимателей и наемных работников — взаимоотношения, которые уже были важными в его время и должны были стать самыми важными в той системе, которая мыслилась Татищевым как самая целесообразная.

Татищев в данном случае вступает именно за эксплуатируемых, которым практически негде было искать правды. Ивану Грозному он готов был многое простить за то, что, по мнению Татищева, царь «о правосудии и о хранении посадских и волостных крестьян от неправых судов и грабления прилежал». Справедливым он находит и такой порядок, когда «старосты и выборные» от земли «с судиями заседают». Такой порядок он находит в России XVI века, а «по днесь» он сохраняется в Швеции, где «многие мужики достаточно философии учатся». К сожалению, у нас это было кем-то «отставлено» после царя Бориса.

Комментирование статей Судебника и последующих указов было для Татищева и своеобразным исследованием социальных отношений в XVI веке, и поиском положительного материала для «исправления» современных ему законов. Поэтому он и подчеркивает в прошлом то, что, с его точки зрения, могло пригодиться современникам. Татищев не находил в современном ему законодательстве законов, вполне согласующихся с естественным и божественным правом. Но, как правило, он не предлагал совершенно нереальных с точки зрения феодального государства изменений. Он пытается убедить своих высокопоставленных читателей в том, что все предлагаемое уже было и зарекомендовало себя наилучшим образом.

С последним обстоятельством необходимо считаться оценивая любые записки Татищева. У него имеются так сказать, программы «максимум» и «минимум». Его рассуждения о естественном и божественном праве — это программа-максимум, предусматривающая практически коренную перестройку всей социально-политической системы. Программа-минимум же предусматривала «улучшение» действующего законодательства и экономической политики в рамках существующего строя.

Идеалом Татищева было примерно то устройство, которое существовало в Англии и Голландии, отчасти в Швеции. Примечательно, что, сопоставляя, скажем Францию с Англией, он отдает предпочтение второй. В Англии Татищеву нравится все. Ему нравятся и ее гражданские «вольности», и процветание купечества, и разработанное законодательство, и номинальный почет оказываемый древним фамилиям, ничуть не мешающий этим положительным качествам. Он верит и в «просвещенность» Англии. Поэтому он дарит Английскому королевскому собранию ценнейшую рукопись Ростовской летописи и надеется с помощью Английской академии наук опубликовать свою «Историю».

Как и все работы Татищева, его размышления о наиболее целесообразной форме государственного и общественного устройства не были завершены. Татищев постоянно опасался, «чтобы кто по ненависти доброе намерение его во зло или продерзость истолковать не имел причины». Ему постоянно приходилось отступать от своих идеалов в пользу тех, к кому он обращался с предложениями. Как раз в связи с комментированием Судебника зимой 1750 года он «вознамерился печатное Уложение с последовавшими указы свести, оные иным порядком сочинить, каждое доводя из правил морали и политики, согласуй все разных обстоятельств единому основанию». И «немало было сочинил, но возражен советом: «зладеи сочтут за продерзкое, что без позволения законы сочинять». И Татищев, следуя совету, написанное «не

только оставил, но и истребил». Вполне логичный итог столкновения «вольности» с монархией.

Смерть тех, кто творит бессмертные дела, всегда преждевременна.

Плиний Младший

О великих делах нужно судить, проникшись их величием: иначе мы рискуем внести в них собственные пороки.

Сенека Младший

15 июля 1750 года Татищев скончался. В прошлом столетии было записано восходящее к его внуку Ростиславу Евграфовичу предание о «чудесных» обстоятельствах кончины Василия Никитича. За два дня до смерти Татищев почувствовал ее приближение. Он верхом на коне отправился с внуком на кладбище, направив мастеровых туда же копать могилу. Вместе со священником он выбрал место около своих предков и проследил за работой мастеровых. Пригласив священника на завтра к себе, он возвращается домой. Там его ожидает курьер с указом об оправдании и орденом Александра Невского. Татищев поблагодарил письмом императрицу и вернул орден как уже ненужный. На другой день священник приготовил его к иному миру. Простившись с сыном, невесткой и внуком, он скончался при чтении Евангелия.

В 1886 году было опубликовано и так называемое «увещание» Татищева сыну, записанное якобы очевидцем его смерти. В «увещании» отражалась иная картина. Но ничего татищевского в нем и не было. Татищеву оно ошибочно было приписано издателем А. Дмитриевым лишь на том основании, что помещалось в одном сборнике с «Духовной».

Ни о каком помиловании в 1750 году говорить не приходится. Обвинения Сената и так никто всерьез не принимал. А в отношении действительной причины ничего не изменилось. Ростислав Евграфович, часто живший у деда вместе с матерью, был, видимо, не очевидцем, а «послухом». Он мог слышать подобное от дворовых и крестьян Болдина. Незадолго до смерти Татищев сообщал в Академию наук о своей медицинской практике и просил химиков проанализировать состав некоторых употребляемых им лекарств. Татищев, в частности, успешно использовал сосновый сок в сочетании с настоями разных трав. Практические результаты его лечебной деятельности среди крестьян были поистине фантастическими. Они-то и могли более всего способствовать распространению представлений о нем как о чародее.

Лерх пользовался явно непроверенными слухами, уверяя, будто Евграф унаследовал от отца огромное состояние. После раздела имущества с матерью Евграфу достались деревни с четырьмястами душами (видимо, столько же составило ранее приданое дочери) и пять тысяч рублей долга с них. Правда, тринадцать с лишним тысяч рублей были отданы займы князю С. И. Репнину. Но Евграф не мог их получить и жаловался в письме к Черкасову, что может остаться «вовсе без пропитания». Судя по хозяйственному итогу, деревень Татищев не покупал и не стремился переложить на крестьян собственные трудности. Очевидно, от воплощения в жизнь предложений о смягчении наказаний беглым он бы не пострадал.

Гораздо большую ценность представляла библиотека и рукописное наследие Татищева. Отец понимал, что сын продолжателем его дела не будет. Поэтому он наказал передать исторические труды в распоряжение Черкасова. Елизавета Петровна (видимо, по представлению Черкасова) обещала даже заплатить наследнику за исторические рукописи. Правда, она могла руководствоваться иными соображениями, нежели Черкасов.

Отношение Евграфа к литературному наследию отца неизменно вызывало подозрение. Он явно не торопился передать рукописи. Кое-что он переписал для себя. Но и то вряд ли из-за заботы о памяти отца. Составил он также реестр библиотеки. А затем случился подозрительный пожар в деревне Грибаново, где якобы библиотека сгорела.

Большую часть книг Татищев хранил в Москве. В Грибаново могли попасть книги, перевезенные Евграфом из Болдина. Позднее, в начале 60-х годов, с Евграфом неоднократно имел дело профессор Московского университета Рейхель (выходец из Лейпцига). Миллер просил Рейхеля выудить рукописи Татищева для издания. Но Евграф был «очень равнодушен к памяти и заслугам своего покойного отца», а из оставшегося у него большого собрания книг и рукописей многое уже истлело и стало нечитаемым. Все-таки кое-что Миллер получил. Видимо, по копиям Евграфа он и осуществил первое издание «Истории».

Г. Ф. Миллер в историографии более всего известен как один из родоначальников норманизма. Но его «диссертация» «Происхождение имени и народа Российского» (1749) была лишь повторением статей З. Байера. Только в отличие от Байера Миллер работал не просто в России, а и для России. Он признавал себя российским ученым и являлся таковым на деле. Суровую критику его «диссертации» М. В. Ломоносовым, В. К. Третьяковским и рядом других ученых и не ученых он принял поначалу запальчивыми выпадами в адрес оппонентов. Но затем, видимо, и сам понял, что познания его в этом важном и сложном вопросе недостаточны, и более к нему не возвращался, сосредоточившись на истории Сибири и архивных разысканиях.

В Академии наук Миллер имел почетное звание «историографа». Еще в 30-е годы он знал о занятиях Татищева историей. В 1737 году Шумахер советовал ему установить с Татищевым переписку. Но по скромности и просто из робости перед имевшимся уже у Татищева научным авторитетом он на это не решился. Зато с конца 40-х годов Миллер становится одним из главных радетелей за сохранение татищевского рукописного наследия, особенно исторического. В 1747-1748 годах он трижды обращается в канцелярию Академии наук с предложением приобрести татищевские рукописи, дабы они не погибли после смерти их владельца.

Миллер дает и чрезвычайно ценную характеристику Татищева как человека: «Господин тайный советник Татищев, как известно, человек не завидливый, но весьма откровенный в делах, до простираения наук касающихся, и охотно он сообщать будет, что у него есть, для списывания академии, а иногда он и сам изволит некоторые подлинные книги академии уступить». За два столетия немного наберется ученых, которые могли бы удостоиться такой оценки, и, пожалуй, ни один из «скептиков» не попадет в это число. Сам Миллер, человек высокой честности и добросовестности, с негодованием воспринял попытку адъюнкта академии Тауберта воспользоваться материалами Татищева и опубликовать их под своим именем.

Татищев также ценил Миллера. Он просит Шумахера ознакомить Миллера со своей «Историей». Татищев оговаривается, что начало Руси он освещает иначе, чем Миллер. Но он «не хотел ни его порочить», ни свой взгляд «более изъяснить»: Миллер сам поймет, что к чему. Хотелось ему также, чтобы к этому делу приобщили и П. И. Рычкова, за принятие которого в академию Татищев не уставал просить до самой смерти.

В январе 1749 года Татищев обращается с просьбой и к Ломоносову: написать посвящение к «Истории». Татищев высоко оценил «Риторику» Ломоносова (1748), о чем записал и в «Истории». В свою очередь, и Ломоносов высоко ценил Татищева и немедленно отозвался на просьбу, в январе же подготовив вдохновенное «посвящение». Ломоносову, однако, не понравилось, что Татищев без особого почтения и пиетета отзывался о Петре I. Он настаивал на исключении из «Истории» пересказанного выше разговора царя с Я. Ф. Долгоруким в 1717 году, видя в нем плохо замаскированную критику деятельности преобразователя. Татищев же весьма высоко оценил «посвящение», но пожелание Ломоносова оставил без внимания. Этим самым он

как бы выразил еще раз свое действительное отношение к «старой» и «новой» России.

Ни Татищев, ни Ломоносов не увидели в печати этого «посвящения». Первые три тома «Истории» вышли в 1768-1774 годах по спискам, его не включавшим. Четвертый том появился в 1783 году, а пятый лишь в 1847-1848 годах.

История находки списка пятого тома «Истории» сама по себе любопытна. Известный историк и собиратель рукописей М. П. Погодин купил в 1841 году на аукционе рукопись из библиотеки вологодского купца И. П. Лаптева. Рукопись оказалась продолжением «Истории» Татищева (еще не обработанным и не снабженным примечаниями). Как эта уникальная рукопись попала в коллекцию вологодского собирателя? Вопрос этот имеет и определенное практическое значение. Очевидно, не только пожар, но и иные причины способствовали растаскиванию рукописных фондов татищевской библиотеки, и вряд ли Евграф Васильевич стоял совершенно в стороне от этого дела. Не исключено, что еще какие-то татищевские рукописи найдутся в фондах тех лиц, с которыми общался сын Татищева.

Лишь к середине XIX века были опубликованы важнейшие политические записки Татищева. А основной философский труд мыслителя вышел уже в 1887 году. Издатель его — известный биограф Татищева Нил Попов — имел в своем распоряжении четыре анонимные рукописи XVIII века. Теперь их известно семь. Опять-таки путь, каким сочинение вышло из татищевского собрания и распространилось в копиях, остается не вполне ясным.

Многие работы Татищева впервые увидели свет в самое недавнее время (большинство их собрано в избранных произведениях, как бы продолжающих новое издание «Истории Российской»). И каждая новая публикация открывает еще одну область, где Татищев был либо начинателем, либо специалистом, стоящим вполне на уровне своего времени. Знаток XVIII столетия Д. А. Корсаков не преувеличивал, давая общую оценку деятельности Татищева: «Наряду с Петром Великим и Ломоносовым он являлся в числе первоначальных зодчих русской науки. Математик, естествоиспытатель, горный инженер, географ, историк и археолог, лингвист, ученый юрист, политик и публицист и вместе с тем просвещенный практический деятель и талантливый администратор — Татищев по своему обширному уму и многосторонней деятельности смело может быть поставлен рядом с Петром Великим». Эта характеристика может еще существенно дополняться за счет заново открытых сторон научной и практической деятельности Татищева. Так, надо отметить его педагогическую теорию и практику, его исследования в области финансов и денежного обращения, экономики, труды по механике, геометрии, разыскания в области минералогии, геологии, металлургии, искусства фортификации и градостроительства. К этому можно добавить искусство дипломатии, хорошее знание военного дела. Даже с врачами и фармацевтами Татищев мог разговаривать на профессиональном уровне, да и вообще трудно найти такую отрасль хозяйства или науки, в которой он не был бы на уровне лучших специалистов своего времени.

Сравнение с Петром I идет, конечно, как комплимент. Но, строго говоря, оно не вполне удачно. Два этих деятеля находятся в разных социальных плоскостях, и потому их невозможно сопоставлять. Да и задачи у них были совершенно разные. Главное достоинство правителя — уметь отобрать из разнообразных предложений наиболее целесообразное по тому или иному вопросу. Главное достоинство мыслителя — уметь найти лучшее решение той или иной проблемы, поставленной жизнью. Петр к советам прислушивался. Но решал все-таки не всегда наилучшим образом. У Татищева почти всегда намечалось самое целесообразное для данного времени решение. Но он не располагал возможностями провести его в жизнь.

Историку очень трудно отказаться от перенесения в прошлое представлений и оценок своего времени. Обозревая с высоты времени процесс развития на длительном этапе, он невольно сосредоточивает внимание на тех фактах и событиях, на тех лицах и идеях, с которыми

ближе всего перекликаются идеи современной эпохи. А между тем в каждую историческую эпоху для наиболее действенного движения вперед требуются свои специфические преобразования, которые для другого времени могут совсем не подходить.

Социальные организмы имеют разные измерения: государственный, национальный, классовый. Государственная система создается в результате процесса классового образования, и дальнейшее ее развитие идет в ходе борьбы с внешними силами и разрешения внутренних противоречий. Диалектический закон единства и борьбы противоположностей в полной мере применим к взаимоотношениям классов в рамках единой государственной структуры. Между классами идет не только борьба. Они и необходимы друг другу до определенного периода. В рамках той или иной формации господствующий класс более или менее длительный период способен содействовать развитию производства, то есть играть прогрессивную роль. Борьба социальных низов в такие периоды выполняет как бы функцию корректора, подталкивающего верхи к возможно большему вкладу в общегосударственное дело. В кризисные для формации эпохи господствующий класс уже не в состоянии дать обществу больше, чем он потребляет сам, и его историческое существование лишается смысла. Он теперь лишь борется за свои привилегии, стремится любой ценой их сохранить, и историческая необходимость требует, чтобы он был устранен во имя блага общества в целом.

Русская история в большой мере деформировалась внешним фактором. Татаро-монгольское нашествие растоптало не только производительные силы народов Руси, но и естественную логику событий. Освобождение от ига становится на долгое время определяющей задачей в жизни общества. В жертву этой идее необходимо было приносить интересы целых сословий, не говоря уже об отдельных личностях. Эта идея породила и чрезмерную централизацию, и неоправданную концентрацию власти в руках монарха, и привычку господствующего класса оправдывать свои злоупотребления ссылками на реальные или мнимые заслуги в прошлом или настоящем (чаще в прошлом).

В XVIII веке понятия «общая польза», «государственный интерес» становятся более употребительными, чем когда бы то ни было. Но именно в этот период они выступают прикрытием своекорыстных интересов дворянства. Правда, такое прикрытие требует, по крайней мере, двух вещей: во-первых, необходимо, чтобы каждое сословие хоть что-то бы имело от «общей пользы», во-вторых, чтобы господствующий класс делал бы какие-то реальные «отчисления» в общественный фонд. Обычно таким «отчислением» являлась пожизненная служба государю и государству. Но одно дело — служба в условиях суровых испытаний, связанных с внешними угрозами, а другое дело — имитация службы, к чему дворянство все более склоняется после 1725 года. Идея «общей пользы» предполагает также хотя бы самое общее определение сущности ее для каждого конкретного периода.

Особенность Татищева как мыслителя и администратора заключалась именно в том, что он и субъективно и объективно выражал содержание идеи «общей» или «государственной» пользы для своего времени. Сама эта идея была для него не простым лозунгом, а действительным смыслом существования и сословий и отдельных лиц. Татищев был одним из немногих деятелей XVIII века, кто дал целостный взгляд на роль абсолютно всех слоев общества в деле обеспечения могущества и процветания государства и подъема уровня жизни всех его подданных.

Подчинение всего мировоззрения идее «государственной пользы» делает Татищева мыслителем, лишенным однозначно выраженных классовых позиций. Дворянским идеологом его можно считать лишь в той мере, в какой Российское государство XVIII века было дворянским, да, может быть, в силу некоторых унаследованных им традиций. Однако для дальнейшего поступательного движения дворянское государство должно было реформировать себя таким образом, чтобы открыть дорогу буржуазному развитию. Именно за это Татищев и

ратует.

Общественное благосостояние в конечном счете зависит от количества и качества труда, затрачиваемого подданными. Татищев не терпит никакого безделья, где бы оно ни выявлялось. Безделье — главное, что отвращает его в духовном сословии всех стран и религий. Трудиться должны все. Этого в крайнем случае можно добиться и понуждением. Но наиболее плодотворен такой труд, который вызывается собственным интересом трудящегося. Безусловное экономическое поощрение всякой сверхурочной работы — один из главных принципов Татищева, шла ли речь о службе администратора, или судьи, или же о труде крепостных крестьян и работных людей. Как сторонник и в значительной мере представитель государственного порядка Татищев никогда не пренебрегает административными мерами. Но они должны действовать все-таки лишь в том случае, если недостаточными или несостоятельными оказываются меры экономического характера.

Меры, предлагавшиеся Татищевым, действительно были бы весьма благотворными для поступательного развития всего общественного организма. Они казались Татищеву вполне возможными. Петр I выслушивал идеи Татищева с явным интересом, хотя и не спешил их воплотить в жизнь. Кое-что из похожих идей пытались осуществить верховники накануне их крушения. И вообще Татищеву трудно было уразуметь, почему же те, кто постоянно говорит о государственной пользе, не хотят принять предложений, имеющих в виду как раз общий интерес.

В конечном счете ошибка Татищева заключалась в том, что он переоценивал «честность» и приверженность государству класса дворян. Татищеву казалось, что он говорит на языке, понятном для всех дворян. А дворянство в лице Сената и многих крупных администраторов не без оснований увидело в этой речи угрозу для своих привилегий и побуждение к отработыванию того, что давалось даром как «первому» сословию. Трагедия Татищева заключалась в том, что было слишком мало шансов на принятие его предложений каким-либо возможным в условиях XVIII века правительством.

Это не значит, конечно, что проекты Татищева вообще были утопичны. Ему, например, многое удавалось проводить в ведомствах, находившихся под его началом. В конечном счете проведение в жизнь всех его проектов не могло бы пройти более тяжело для дворянства, чем служба в петровское время или в годы бироновщины. Другие же сословия выигрывали от реализации таких проектов многократно, а это косвенно могло даже и положительно повлиять на состояние дворянских доходов. Но каким образом может оказаться у власти правительство, вдохновляемое в своих действиях соображениями государственной выгоды? Татищеву казалось, что такими соображениями должен руководствоваться прежде всего монарх. Но редкий монарх достаточно умен, чтобы понимать, в чем заключаются государственные интересы. Временщики же приходят к власти благодаря «пронырствам», и иначе при дворе, как Татищев мог неоднократно убеждаться, не бывает. Перед этим противоречием Татищев и остановился: почти все благое в России можно навязать лишь силой, через просвещенного монарха, но монархия порождает безответственных правителей — временщиков типа Меншикова, Бирона и т. п. В итоге Татищев знал, что надо было делать России, но он не знал, как можно было это сделать.

Должно подчеркнуть, что вопрос «что делать?» был поставлен Татищевым более обоснованно, чем кем бы то ни было в XVIII столетии. Предложения эти были реалистичны в том смысле, что весь необходимый для их реализации материал имелся в наличии. Если, например, идеи Радищева были явно нацелены на сравнительно отдаленное будущее («Я зрю сквозь целое столетие», — писал он сам), то Татищев как бы шагал в ногу с самой историей, в ногу с теми потребностями, удовлетворение которых более всего продвигало общество вперед в данной конкретной обстановке. Поэтому даже с высоты прошедших столетий трудно

посоветовать Татищеву что-то более конструктивное. В это время бессмысленным было бы и искать иного адресата: те слои, которые более всего могли бы выиграть от предлагавшихся мероприятий, еще не способны были добиваться их проведения в жизнь. Единственное, о чем можно сожалеть, — это слабое знакомство ближайших потомков с важными для них идеями. И опять-таки сожалеть. Опасность этого Татищев вполне предвидел. Поэтому он так настоятельно ставил вопрос о необходимости допущения вольных типографий: как для процветания торговли и промышленности необходимо было «увольнение» купцов и предпринимателей, так и для процветания идей необходимо было создание широкой сети независимых от казны книгопечатных заведений.

Пожалуй, только одна область деятельности Татищева стала известна широкому кругу читателей сравнительно скоро: «История Российская» вышла большим по тому времени тиражом в 1200 экземпляров. За Татищевым скоро признали значение родоначальника русской исторической науки. Однако оценка этого «начала» также оказалась далеко не однозначной. На протяжении двух столетий параллельно развиваются две противоположные оценки значения этого труда: позитивная и негативная.

Расхождения в оценке «Истории Российской» проистекали уже из неодинакового понимания предмета истории. К XVIII веку в европейской историографии четко обозначились два направления. Одно из них, представленное так называемыми эрудитами, задачу истории сводило к собиранию и пересказу источников, иногда их изданию как именно источников. Другое направление требовало от истории не просто фактов, а смысла. Обычно это были исторические экскурсии мыслителей, политиков и философов. Между обоими направлениями неизменно шла довольно жесткая борьба, со взаимным полным отрицанием достижений друг друга. Из первого направления позднее разовьется позитивизм, в рамках которого культ факта нарочито направлен против теории, против отыскания смысла и даже глубинных причин явлений вообще. Позитивизму в буржуазной науке будет противостоять философская история, получившая законченный вид у Гегеля. Идея развития, наиболее полно воплощенная в сочинениях немецкого философа, станет затем важным элементом диалектико-материалистического понимания истории.

Труд Татищева обычно более или менее скептически оценивался представителями первого направления — эмпириками и позитивистами, а положительно его оценивали приверженцы философской истории. Сказывались также политические симпатии и антипатии отдельных авторов.

Первый ком неблагожелательности в адрес Татищева как историка был брошен известным немецким ученым — одним из основателей норманизма — некоторое время работавшим в России А. Шлецером (1735-1809). Шлецер с высокомерным презрением относился ко всей русской историографии XVIII века, не исключая и Г. Миллера, который хотел бы видеть в Шлецере своего преемника в освоении богатейших архивных собраний. Татищев, по его изложению, «с 1720 г., быв еще писарем, начал уже помышлять о отечественной своей истории, занимался ею 20 лет с невероятным трудолюбием и малопомалу составил 4 книги... состоящие из выписок из множества списков до 1462 г. Нельзя сказать, чтобы его труд был бесполезен (выключая 1 части о скифах и сарматах и др.), хотя он и совершенно был неучен, не знал ни слова по-латыни и даже не разумел ни одного из новейших языков, выключая немецкого. Окончив многотрудное свое сочинение, спешил оно напечатать; но нигде не мог исполнить своего желания: ибо по вольному своему образу мыслей навлек на себя подозрение не только в духовном, но, что еще хуже, в политическом вольнодумстве».

Шлецер прав, называя причину замалчивания «Истории» Татищева, как и множества других сочинений, о существовании которых Шлецер вовсе не знал. Шлецер, конечно, вместе с теми,

кто осуждает Татищева за его политическое вольнодумство: его собственные взгляды были вполне охранительными. Но место «Истории» и научная подготовленность Татищева оценены им далеко не академично. Татищев не только знал сам латынь, но и настаивал на ее широком изучении в организованных им школах. Знал он также древнегреческий. Помимо немецкого и польского языков, он был знаком с языками романской группы (у него встречаются сопоставления в написании и произношении французского и испанского языков). Знаком он был также, как говорилось выше, с тюркскими и угро-финскими языками.

В конце XVIII века «История» нашла и первого умного и энергичного защитника в лице И. Н. Болтина (1735-1792). Болтин противопоставлял Татищева Щербатову, с которым ему пришлось вести полемику. В отличие от своего оппонента, полагал Болтин, Татищев «прежде думал, соображал, поверял, справлялся и потом уже писал». По отношению к Щербатову Болтин был, возможно, и не совсем справедлив. Но несомненно что его собственное историческое мышление формировалось именно под влиянием Татищева.

Скептическому отношению к «Истории» много содействовал Карамзин Н. М. (1766-1826). Позднее М. Н. Тихомиров объяснил, чем был вызван скепсис Карамзина: наш первый историк не имея доступа к центральным рукописным собраниям и собирал материалы в основном по периферии. Карамзин же, напротив, работал с рукописями, находившимися в хранилищах Москвы и Петербурга. Карамзин думал, что все летописи восходят к какому-то единому оригиналу и должны давать одинаковый текст. Поскольку татищевский текст не соответствовал такому его представлению, он склонен был обвинять Татищева в вымыслах. В защиту Татищева вскоре выступили П. Бутков и М. П. Погодин. Бутков проиллюстрировал, в частности, как новые находки опровергали сомнения Карамзина: в 1817 году был найден список Судебника Ивана III, о котором имеется глухое упоминание у Татищева, затем были найдены указы о крестьянах 1597, 1601 и 1606 годов, которым Карамзин также не верил.

Решительным защитником чести первого историка выступил выдающийся историк прошлого столетия С. М. Соловьев. Он нашел совершенно несостоятельными подозрения в адрес Татищева как автора и человека и дал общую оценку его труду, которая не потеряла значения и в наше время. Значение Татищева по заключению Соловьева «состоит именно в том, что он первый начал обрабатыванье русской истории, как следовало начать, первый дал понятие о том, как приняться за дело, первый показал, что такое русская история, какие существуют средства для ее изучения».

Ряд ценных исследований о Татищеве вообще и его «Истории» в частности вышел в 1887-1888 годах в связи с чествованием двухсотлетия рождения Татищева. Особого внимания в этом ряду заслуживает тщательное сличение двух редакций «Истории» с летописями, проведенное И. Сениговым. Автор пришел к выводу о безусловной добросовестности Татищева как историка и высказал убеждение, что Татищев «тем больше будет возбуждать в нас удивление в своей плодотворной и замечательно разносторонней деятельности, чем пристальнее и внимательнее мы будем всматриваться и изучать как труды, так и самую личность великого первоначальника русской исторической науки».

В советской литературе Татищев поначалу разделил участь всех деятелей русской культуры прошлого. В соответствии с вульгарно-социологическими пролеткультовскими и рапповскими установками он был объявлен крепостником, монархистом и националистом, и если, скажем, в творчестве и деятельности его не обнаруживалось того, другого и третьего, то объяснялось это особой утонченностью в проведении классового интереса. Именно от такого рода представлений позднее пойдет прямое обвинение в фальсификациях источников в угоду тем или иным взглядам.

В пору преобладания идей национального нигилизма (характерных для школы М. Н.

Покровского) особенно разительным убийственным представлялось обвинение в национализме. Но, в сущности, оно было комплиментом. Дело в том, что национализм в условиях позднего феодализма должен обязательно увязываться с развитием буржуазных отношений и вырастать из них. Национализм предполагает устранение межсословных перегородок, да и вообще феодальных привилегий. Не случайно, по Ленину, сам процесс формирования наций связывается со сменой феодальной формации капиталистической. Для России XVIII века национализм означал бы и подъем освободительного движения, поскольку царский двор контролировался иностранцами, а бироновщина явилась лишь наиболее одиозным проявлением иноземного господства. Независимо от субъективных намерений, подобные обвинения означали поддержку бироновщине, оправдание права иноземцев на господство в чужой стране.

В середине 30-х годов вульгарный социологизм был осужден. Но преодоление его — задача непростая. Дело в том, что он пользуется понятиями и терминами, употребляемыми в рамках методологии диалектического материализма. Отличительным признаком вульгарного социологизма является недооценка или даже полное отрицание чисто человеческих страстей, интересов и эмоций, самооценности искусства, патриотизма, забвение краеугольного положения методологии диалектического материализма о том, что истина всегда конкретна. Уже в 60-е годы повторял свои оценки начала 30-х годов С. Н. Валк, а в работах С. Л. Пештича они были доведены до крайности. Сокрушению Татищева, обвинению его в фальсификациях посвящены две диссертации С. Л. Пештича. Представление о взглядах Татищева у автора менялось. Но самостоятельного значения, в авторской концепции это не имело, поскольку главную задачу автор видел в установлении целей мнимых фальсификаций. Под пером Пештича Татищев предстал кровожадным палачом башкирского народа и даже антисемитом (последнее понятие проявляется лишь в конце XIX века!). В поддержку этой концепции выступили также Я. С. Лурье и Е. М. Добрушкин. Последний целую диссертацию (кандидатскую) посвятил доказательству недобросовестности Татищева в изложении двух статей: 1113 года (восстание в Киеве против ростовщиков и выселение иудеев из Руси) и 1185 года (поход Игоря Северского на половцев). Статья 1185 года в данном случае косвенно должна бросить тень и на «Слово о полку Игореве» (научный руководитель диссертанта — А. А. Зимин, выступивший недавно с концепцией о подложности «Слова о полку Игореве»). А. Л. Монгайт, еще недавно не критически использовавший любые известия «Истории» Татищева, затем круто переменял фронт и, доказывая подложность Гмударканского камня, заодно обвинил в фальсификациях и Татищева. Созданный названными авторами образ историка-фальсификатора, реакционера и вообще нечистоплотного человека нашел отражение также в популярной литературе.

Если отвлечься от предвзятости, с которой подходили к Татищеву все названные авторы, то можно отметить у них некоторые общие методологические и фактические ошибки. С. Л. Пештич, в сущности, повторил ошибку Карамзина. Он сопоставлял «Историю» Татищева с такими летописями (Лаврентьевской и Ипатьевской), которых Татищев никогда не видел. Методологическая ошибка в данном случае заключается в неверном понимании источников, лежащих в основе «Истории», в неверном понимании сущности и характера летописания. С. Л. Пештичу, да и всем другим названным авторам, летописание представлялось единой централизованной традицией вплоть до XII века, и они не ставили даже вопроса о том, в какой мере до нас дошли летописные памятники домонгольской эпохи. Между тем летописание в таком виде в условиях децентрализации было просто невозможно. Изначально сосуществовали разные летописные традиции, многие из которых погибли или же сохранились в отдельных фрагментах. Татищев же пользовался такими материалами, которые на протяжении веков сохранялись на периферии и содержали как бы неортодоксальные записи и известия.

С блестящей защитой татищевского историографического наследия выступили академики

М. Н. Тихомиров и Б. А. Рыбаков. Ряд уникальных параллелей для данных Татищева обнаружил В. И. Корецкий. Появились публикации, в которых ставится проблема уже не «татищевских известий», а татищевского метода работы с источниками. Последнее весьма плодотворно. Если после работ М. Н. Тихомирова, Б. А. Рыбакова и целого ряда других советских и зарубежных ученых субъективная добросовестность историка уже не может вызывать сомнений, то вопрос о способах его работы нуждается еще в более внимательном изучении.

Не говоря уже о том, что для решения вопроса о происхождении «татищевских известий» надо хорошо представлять круг и характер возможных источников, использованных Татищевым, важно не отрывать «Историю» от других сочинений Татищева. Татищев был историком во всех своих записках. Во всех них имеются исторические справки. Многие из этих записок появились ранее «Истории» и независимо от нее. Позднее материал этих записок, конечно, использовался и при написании «Истории». Задача, следовательно, заключается в том, чтобы выяснить, какими материалами мог воспользоваться Татищев при подготовке того или иного своего проекта. А это ведет к необходимости возможно более полного выявления круга лиц, с которыми Татищев поддерживал деловые отношения.

Биографией Татищева занимаются в настоящее время и у нас, и за рубежом. Так, в ГДР в 1963 году вышла книга о Татищеве Конрада Грау. Большое исследование о жизни и деятельности Татищева опубликовано в 1972 году Симоной Блан (Лилль).

Интерес к Татищеву в нашей стране особенно заметно возрос в последние годы. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, повысился интерес к прошлому страны, в особенности к ее культурному наследию. Во-вторых, в 50-60-е годы было издано и переиздано большое количество сочинений Татищева, хотя и крайне незначительным тиражом («История Российская» вышла в количестве от 2600 до 3000 экземпляров).

Как никогда широким стал в последние годы круг лиц, открывших для себя Татищева и включившихся в изучение или пропаганду его деятельности и творчества. Все новые и новые диссертации и публикации расширяют наши представления и о методах работы, и о круге занятий, и о мировоззрении Татищева. В исследование наследия Татищева включаются, помимо историков, географы, лингвисты, философы, юристы, экономисты. Многие делают московские и свердловские краеведы. Обращаются к Татищеву писатели и деятели киноискусства. И хотя до однозначной оценки татищевского наследия еще далеко, точки зрения все более сближаются.

В последние годы издан целый ряд работ, разных по стилям и жанрам, по оценке, но объективно способствующих объемному восприятию многогранной фигуры мыслителя, ученого, деятеля. В первую очередь в этом ряду следует назвать книги А. Я. Гордина, А. И. Юхта, Г. З. Блюмина, И. М. Шакинко.

Книга Гордина «Хроника одной судьбы» (1980) — художественно-документальная повесть. Писатель стремится представить Татищева как личность в целом и решает частные вопросы с учетом логики поведения, свойственной тому или иному типу деятеля, темперамента, характера. Автор четко выявляет главный стимул в деятельности Татищева: служение отечеству. А затем уже оказалось возможным сравнительно легко объяснять те или иные конкретные поступки, высказывания и мысли героя повести. Автор уверенно снял с Татищева все еще повторяющиеся наветы о «взятках». И сделано это не только путем анализа следственных дел, а и простым сопоставлением, что и сколько Татищев «нажил». Итог оказался более чем скромным, а баланс полученного от общества и отданного ему складывается решительно в пользу последнего. Четко и выпукло представлены у Гордина и просветительские черты мировоззрения Татищева.

Пожалуй, автор слишком развернул Татищева на Запад. Дело-то ведь не в том, где взяты те или иные идеи, а в том, взяты ли они напрокат как отражение моды или же используются для решения актуальных проблем собственной страны. Нетрудно заметить, что Татищев всегда шел

от задач, поставленных жизнью, и лишь жизненные задачи и стремился разрешить. Излишне настойчиво повторяет автор и то, что Татищев был прежде всего историком. Дело в том, что он был не только историком, и для страны, может быть, важнее были его социально-политические, правовые и экономические идеи, которые многое могли бы подтолкнуть в развитии, если бы их удалось довести до широкого читающего круга. И, очевидно, не случайно был создан мощный заслон этим идеям и в правящих кругах, и в руководстве Академией наук.

В свое время В. Г. Белинский со свойственной ему глубиной заметил: «Признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные люди, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы не уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество страны, — не верю я их интересам. Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет, — правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму». В книге Гордина постоянно ощущаешь эту любовь (и поэтому странно, что в библиографии упомянуты почти исключительно скептики, а имен М. Н. Тихомирова и Б. А. Рыбакова вообще нет). С любовью к предмету разысканий написана также повесть Г. Блюмина «Юность Татищева» (Л., 1986) и книга И. М. Шакинко «Василий Татищев» (Свердловск, 1986). Авторы сознают, что великое нельзя понять через приземленное обыденное восприятие. Надо либо встать вровень с ним, либо сохранить дистанцию, памятуя, что ореолом великое окружает только время.

Книга А. И. Юхта «Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в.» (М., 1985) интересна обилием фактического материала на сравнительно ограниченном временном отрезке. Автор заново проверил архивные материалы, некогда введенные в научный оборот Н. Чупиным и В. Рожковым и в самое недавнее время Г. А. Протасовым. Самостоятельное значение имеет исследование денежного обращения в России 20-х годов и деятельности Татищева в этой области. И хотя в общей оценке взглядов Татищева автор более склоняется к концепции С. Н. Валка и С. Л. Пештича, приводимый в книге материал постоянно подводит автора к выводам, по существу, разрушающим некоторые исходные посыпки. Так, автор признает, что Татищев в теории выступал против крепостного права, то есть придерживался просветительских взглядов на этот вопрос, что он был прежде всего «государственником», то есть выходил за пределы узкоклассового интереса. Именно с позиции государственного интереса, «общей пользы» Татищев стремился решать все важнейшие проблемы, встававшие перед ним, и нам теперь представляется возможность судить, насколько верно понимал он эти интересы.

Понять «Историю» Татищева нельзя, не поняв самого Татищева и его эпохи. Но и понять Татищева трудно, не вчитываясь в его исторический труд, особенно во вводные его статьи и примечания. Татищев, как отмечалось, был историком в самом широком и ответственном смысле этого слова, — он мыслил исторически. Для него явление никогда не ограничивалось тем, чем оно виделось современникам. Он стремился понять, как явление стало именно таким. Доискивание до причин — отличительная черта всей научной и практической деятельности Татищева. Принцип историзма, свойственный Татищеву во всех его начинаниях, и повел его в конечном счете к созданию капитального труда по отечественной истории.

За более чем тридцатилетний период, естественно, менялись не только представления Татищева о той или иной эпохе, но и взгляд на историю в целом. С самого начала он задумал дать своеобразную летопись — сводку найденных в источниках сведений в хронологическом порядке. Эта форма в значительной мере сохранилась и на последних стадиях работы. Но содержание теперь уже разрывало когда-то избранную форму.

Поначалу Татищеву казалось, что для познания истории достаточно найти хорошую рукопись летописи и внимательно ее прочесть. Но вот ему попала другая рукопись, и

оказалось, что обе они говорят об одних и тех же событиях весьма различно, а о многих важных действиях не упоминают вовсе. Обнаружив это, Татищев ищет наиболее полные списки. Пока еще он думает, что можно их просто соединить, исправив один другим и устранив явные противоречия. Но противоречий становится все больше, а неполнота данных ощущается тем более, чем далее проникает взгляд пытливого исследователя в глубину веков.

И Татищев приходит к пониманию того, что останется недоступным еще многим поколениям историков: «летописцы и сказители» «за страх некоторые весьма нужные обстоятельства настоящих времен принуждены умолчать или переменить и другим видом изобразить», а также «по страсти, любви или ненависти весьма иначе, нежели сусче делалось, описывают». Следовательно, рассказ летописца — это еще не сама истина. Нужно искать возможности проверить описанные им события по другим данным, понять, кому он сочувствовал или, напротив, на кого пытался возвести хулу.

В итоге работа «историописателя»¹² подобна труду архитектора. Историк, подобно «домовитому человеку», «к строению дома множество потребных припасов соберет и в твердом хранилище содержит, дабы, когда что потребно, мог взять и употребить». Но прежде чем начинать строительство, необходимо распланировать, куда что определить, «а бес того строение его будет или нетвердо, нехорошо и непокойно». Точно так же и для написания истории нужен «свободный смысл, к чему наука логики много пользует». Татищев полемизирует с теми, кто считает, что для историка достаточны «довольное чтение и твердая память». Но не согласен он и с теми, кто думает, будто «невозможно не во всей философии обученному истории писать». По мнению Татищева, «сколько первое скудно, столько другое избыточественно».

Строитель возводит здание не из первого попавшего под руку материала. Он должен «разобрать припасы годные от негодных, гнилые от здоровых». Точно так же и «писателю истории нужно с прилежанием рассмотреть, чтоб басен за истину и неудобных за бытия не принять, а паче беречься предосуждения». Историк должен заботиться «о лучшем древнем писателе», то есть лучшем тексте. А для этого «наука критики знать не безнужно». Необходимо учитывать, знал ли древний автор о том, что описывал, был ли участником или современником событий, имел ли доступ к архивам, тщательно ли собирал свои материалы.

«Страсть самолюбия или самохвальство» — плохие советчики историка. Историк должен знать правду. При этом «о своем отечестве» историк «всегда более способа имеет правую написать, нежели иноземец... паче же иноязычный, которому язык великим препятствием есть». Здесь явный выпад против немецких академиков и их кумира Зигфрида Байера, который не знал славянских языков и не стремился их постигнуть, но претендовал на решение одного из важнейших вопросов русской истории — происхождения Руси.

Древние авторы были пристрастны. Пристрастны и современные историки. Но это не снижает значения исторической науки. Напротив. Именно поэтому она так и важна. Об этом можно было бы и не «толковать». Но «некоторые» «не обыкли о весчах внятно и подробно разсматривать и рассуждать». Татищеву и «о бесполезности истории не без прискорбности рассуждения слышать случалось». Поэтому он считает нелишним разъяснить, в чем именно заключается «польза истории». Татищев считает историей весь человеческий опыт — и положительный и отрицательный. Все существующее в мире — и природа и люди — имеет свою историю. «Ничто само собою и без причины или внешняго действия приключиться не может». А выяснение причины и вызванного ею действия — это уже история. Так происходит в «стихиях» и «на земли», в мире живом и неживом. Знание накапливается от поколения к поколению. Оно складывается исторически и сохраняется благодаря истории. «Кратко можно сказать, — заключает Татищев, — что вся философия на истории основана и оною подпирается».

Особенно необходима история политическим деятелям. История помогает понять

настоящее и предвидеть будущее. «Древние латины, — говорит Татищев, — короля их Януса з двумя лицами изобразили, понеже о прошедшем обстоятельно знал и о будущем из примеров мудро рассуждал». «Александр Великий книги Омеровы о войне Троянской в великом почтении имел и от них поучался». Юлий Цезарь сам оставил записки в назидание потомкам.

История имеет и огромное патриотическое значение. «Европейские историки» «порицают» нас тем, будто здесь не было «древних историй». Этому «некоторые наши несведующие согласуют». С другой стороны, вместо действительных историй «некоторые, не хотя в древности потрудиться и не разумея подлинного сказания, ...для потемнения истины басни сложа, ...правость сказания древних закрыли». Историк не должен приукрашивать свою историю. Однако необходимо «не токмо нам, но и всему ученому миру, что чрез нея неприятелей наших, яко польских и других, басни и сусчие лжи, к поношению наших предков вымышленные, обличатся и опровергнуты».

Не так давно М. Н. Тихомиров поражался «исторической проницательности» Татищева, в частности, тому, что его выводы о «Несторовой летописи в некоторых случаях значительно опережают свое время и даже построения историков XIX века», что «построения Татищева более близки к нашему времени, чем систематический ученый труд Шлецера». И опережал эпоху он не только в этом. Выше упомянута оценка места Татищева в историографии С. М. Соловьевым. «Заслуга Татищева, — развивал он ту же мысль, — что он начал дело, как следовало начать: собрал материалы, подверг их критике, свел летописные известия, снабдил их примечаниями географическими, этнографическими и хронологическими, указал на многие важные вопросы, послужившие темами для позднейших исследований, собрал известия древних и новых писателей о древнейшем состоянии страны, получившей после название России, — одним словом, указал путь и средства своим соотечественникам заниматься русской историей».

Татищев был родоначальником практически всех вспомогательных исторических дисциплин, которые по-настоящему стали разрабатываться лишь со второй половины XIX века, а кое в чем лишь в самое недавнее время. В высшей мере примечательно, что весь первый том его труда был посвящен анализу источников и всякого рода вспомогательным разысканиям, необходимым для решения основных вопросов. Именно наличием такого тома труд Татищева положительно отличается не только от изложения Карамзина, но даже и Соловьева. В XIX веке вообще не было работы, равной татищевской в этом отношении.

Татищев начинал. Он строил величественное здание российской истории, не имея предшественников. И тем более поразительно, как много он нашел такого, что наукой было принято лишь много времени спустя. Он, например, уже заметил, что в русских летописях часто наблюдается смешение в датах из-за того, что славянский мартовский год приходилось подстраивать под византийский сентябрьский. Разницу в полгода в одних случаях выносили вперед, в других — продолжая византийский год. Весь XIX век этого не знал. Снова это открытие было повторено лишь в XX столетии. Татищев сумел понять сущность многого из того, что оказалось недоступным не только дворянской, но и буржуазной историографии. Б. А. Рыбаков эпиграфом к своему монументальному труду «Ремесло Древней Руси» (1948) взял формулу Татищева: «Ремесла — причина городов». А ведь еще совсем недавно велись споры о том, что вызывало появление городов, и только марксизм указал на определяющую роль в этом процессе экономических причин. И. И. Смирнов в книге о восстании Болотникова (1951) обратил внимание на то, что Татищев первым указал на правильную причину Смутного времени: крепостническое законодательство. И потребовалось более столетия, прежде чем буржуазная наука сумела приблизиться к этому выводу. Трудно даже просто перечислить то, что Татищев сделал впервые. Хотелось бы лишь отметить еще его широкий, полный уважения ко всем народам взгляд вопреки тому, что иногда пытаются ему приписать скептики. Татищев

неизменно и твердо придерживался принципа равенства всех народов. Он не подвергал рационалистической критике библейскую историю возникновения народов. Однако он полемизирует с теми, кто «библию равно ковер Милитрисы употребляют и на все, что токмо хотят, натягивают». «О древности» же народов, убежден Татищев, «нет нужды искать, ибо, конечно, так стары, как все народы, и туне един пред другим старейшинством преимущества исчет, разве един другого старее прославился или знатен стал». Идеи равенства в данном случае соответствуют и естественный и божественный законы. Этой схемы не нарушают и вполне продуманные рассуждения о причинах «перемены» некоторыми народами своих языков: это тоже вполне естественный и никак не связанный с достоинством народов процесс. Татищев, безусловно, стремился показать величие своего народа. Но это делалось не за счет других народов и не в ущерб истине.

* * *

Пересказ всей пятитомной «Истории», конечно, невозможен и не нужен. Татищев, так же как позднее Н. М. Карамзин и многие другие историки прошлого столетия, следовал за летописями, принимая их погодное деление и перенося свои размышления и сомнения в примечания. Но татищевская «История» стоит особняком составом своих известий, что, как было сказано, и послужило основанием для разного рода сомнений в их надежности и даже добросовестности Татищева как историка. Разработка же вопроса происхождения «татищевских известий», по существу, только началась, а потому пока не может быть поставлена точка даже и в оценке «Истории» в целом.

Весь первый том «Истории», как было сказано, составляет своеобразное источниковедческое и методологическое введение. Здесь дается обзор русских и иностранных источников с указанием на имеющиеся в них противоречия, несогласованности. Здесь же Татищев раскрывает свое понимание исторического процесса в целом, ищет истоки славянства, варягов, руси, рассуждает о верованиях, путях возникновения государственности, а также ее формах. Татищев осознает то, что так и не смогут уяснить позднее несколько поколений позитивистов: нельзя решить частных вопросов, не решив предварительно общих. Это не значит, конечно, что предлагаемые им решения оптимальны. Но только такой путь может привести к истине.

Следует, впрочем, иметь в виду, что в вопросах, так сказать, актуальных Татищев вполне сознательно отступал от того, что самому ему казалось истинным. Сначала Феофан Прокопович, а затем архиепископ Амвросий, сменивший Феофана на новгородской кафедре, представляли своеобразными цензорами, определявшими, какие места следует опустить или заменить как «стропотные» для простого народа. Татищеву, конечно, очень хотелось напечатать свою «Историю», и он готов был пойти на большие жертвы ради этого. Да и сам он, как человек, занимавший довольно высокие административные посты, соглашался с тем, что народу нельзя говорить всю правду. Именно поэтому в «Истории» более сказывается влияние монархической концепции Прокоповича, чем в отдельных записках.

Татищев писал историю в то время, когда Байером, а затем Миллером создавалась норманская теория происхождения Руси. Татищев не удовлетворялся господствовавшей в XVII веке версией о славяно-вендском происхождении варягов, хотя и указывал на тесную связь Северо-Западной Руси с населенным славянами-вендами южным берегом Балтики (Вандалии германских и польских авторов средневековья). Но он не принял и норманской теории, тем более что эта теория, как было сказано, и в Швеции поначалу не встретила поддержки. Татищев

оказался родоначальником «финской» теории, не получившей, впрочем, заметной поддержки в историографии.

В «Повести временных лет» имеется одно-единственное упоминание о местах обитания варягов, причем поясняется, что они размещаются на восток от племен прусов (у Татищева «борусов»), ляхов и чуди «до предела Симова» и на запад «до земли Волошьской и Агнянской». Татищев не понял, о каком «пределе Симове» в данном случае шла речь, хотя сам выражал недоумение по поводу отнесения некоторых восточноевропейских народов, в частности волжских болгар, к числу «семитских». А как раз Волжская Болгария, видимо, и мыслилась как таковой «предел», и именно с Волжской Болгарией граничили земли, по летописи, подчиненные Рюрику и его мужам. Но Татищев заметил, что на восток, скажем, отчуди по «морю Варяжскому» могли размещаться только финны, а потому и считал, что речь идет о Финляндии. К тому же, зная угро-финские языки (он называл их «сарматскими»), Татищев охотно «примерял» имена, топонимы, понятия к финской речи. Ему казалось существенным, что само имя «русь» может объясняться из финского как «красный». Между тем такое значение этноним мог получить в индоевропейских языках, тогда как в финские оно проникало как заимствование. Что касается западных пределов области обитания варягов, то они представлялись Татищеву уходящими куда-то к Англии и Италии. В действительности «англами» летопись именвала датчан, поскольку именно племя англов соседствовало со славянами у основания Ютландского полуострова.

В обоснованности «финской» версии Татищев еще более уверился после появления у него в 1748 году списка летописи, которую он назвал «Иоакимовой», поскольку связывал ее составление с именем первого новгородского епископа Иоакима-курсунянина. Именно Иоакимовская летопись долгое время оставалась полем сражения скептиков и защитников доброго имени Татищева. В ходе полемики при этом часто скептики ставили в вину Татищеву недостоверность каких-то данных привлеченной им летописи, а их оппоненты, защищая историка, стремились показать достоверность и всех явно сомнительных известий. В итоге спор становился бесплодным. Между тем у самого Татищева было немало сомнений и относительно происхождения рукописи (он не смог получить оригинала), и относительно отдельных включенных в нее сведений. Он предполагал за данными летописи песенную основу, что, кстати, подтверждается новейшими исследованиями.

Первая часть Иоакимовской летописи, которая описывала расселение народов и производила народы от имен легендарных вождей (Славен, Скиф, Вандал и т. п.), вызывала сомнения и у Татищева. Позднее было указано на подобные построения в исторических сочинениях XVII века. Но вторая часть татищевских выписок неизменно привлекала внимание, поскольку как будто объясняла некоторые темные страницы начальной истории Руси. В самое последнее время В. Л. Яниным и В. И. Вышегородцевым приведены аргументы в пользу древнего происхождения рассказа о крещении новгородцев и некоторых других сюжетов этой части летописи. Внимания заслуживает, в частности, рассказ о борьбе с христианством Святослава, понятный только в свете еще продолжающейся борьбы христианства и язычества. Вообще Иоакимовская летопись совершенно лишена той христианской умиротворенности, которой дышит «Повесть временных лет», воспринимающая язычество как нечто удаленное в пространстве и времени.

В ткань «Истории» выписки из Иоакимовской летописи Татищев не включил, «разсудя, что... ни на какой манускрипт известной сослаться нельзя». Но в примечаниях он к ней обращается часто, предусматривая, таким образом, возможность иной интерпретации событий, нежели той, что дается «Повестью». Это обстоятельство само по себе предполагало большую критичность его в отношении летописных текстов по сравнению с той, что допускали

исследователи XIX столетия. Правда, у последователей неизменно расширялся круг источников. Однако и утраты также были невосполнимыми.

Татищев составление «Повести временных лет» приписывал печерскому монаху Нестору. В его распоряжении было три списка летописей, где упоминалось это имя. Теперь имеется лишь один — Хлебниковский список XVI века Ипатьевской летописи (в более раннем списке летописи — собственно Ипатьевском списке — имени летописца нет). В то же время Лаврентьевская летопись, которую сейчас обычно кладут в основу изданий «Повести временных лет» и в которой в качестве летописца назван игумен Выдубицкого монастыря Сильвестр, Татищеву не была известна. Вопрос об авторстве «Повести временных лет» остается спорным на протяжении полутора столетий. Дело в том, что принадлежащие выходцу из Печерского монастыря Нестору «Чтение о Борисе и Глебе», а также «Житие Феодосия» решительно отличаются от соответствующих частей летописи и по языку, и по содержанию, и по мировоззрению. Ссылки же на «Несторову летопись» в Печерском патерике предполагают явно не «Повесть временных лет», а какое-то сочинение, уделявшее большее внимание церковной проблематике. Имел ли Татищев в своем распоряжении именно летопись какого-то Нестора (необязательно речь шла об одном и том же Несторе), или же имя это значилось в поздних списках, типа Хлебниковского, сейчас установить трудно. Бесспорно, однако, что в распоряжении историка были такие летописи, которыми теперь наука не располагает.

В последних исследованиях, в частности, в книге Б. А. Рыбакова, посвященной «Слову о полку Игореве» и русским летописцам XII века, предлагается определенный ключ к уяснению «татищевских известий». Их систематизация позволяет понять характер источника, которым пользовался Татищев. Так, в хронологических пределах «Повести временных лет» (то есть до начала XII века) «История Российская» дает ряд оригинальных сведений о внуке Ярослава Мудрого Ростиславе Владимировиче. Только в ней, в частности, указана дата рождения князя (1038 г.), а также названа его супруга — венгерская принцесса, вернувшаяся на родину после отравления Ростислава греческим котопаном (наместником) в Корсуне. Если пытаться объяснить источник только этих данных, то вряд ли удастся найти удовлетворительное решение. Когда же выявляется, что до конца 20-х годов XII века в «Истории Российской» использовалась какая-то особая галицкая летопись, то становятся понятными и дополнительные сведения о князе, который сам никогда в Юго-Западной Руси, возможно, и не бывал: потомки Ростислава княжили в городах Прикарпатья.

Летописи Галицко-Волынской Руси более всего были известны польским авторам XV-XVI веков, что и неудивительно, если учесть, что в послемонгольское время эти земли входили в состав польско-литовского государства. Татищев располагал подобными же летописями, только, видимо, более исправными. Во всяком случае, он постоянно поправляет польских историков, которые говорят примерно о тех же событиях. Так, польские историки писали о завоевании Владимиром подунайских земель вплоть до Сербии и Хорватии. Такое представление питалось в известной мере и тем, что в XVI-XVII веках Хорватия иногда называлась «Руссией». Татищев также имел источники, говорившие о подчинении Владимиром Седмиградской и Хорватской земель. Но он, во-первых, сомневался в достоверности этого сообщения, а во-вторых, резонно полагал, что имелась в виду Карпатская Хорватия — позднейшая Карпатская Русь.

Татищеву нередко обвиняли в «создании» портретной галереи: в записях-некрологах в «Истории» в ряде случаев дается довольно подробное описание внешности умерших князей. Л. В. Милов недавно посвятил этим портретам-характеристикам специальное исследование и пришел к выводу, что они содержались в летописи, которую сам Татищев называл «Симоновой». Надо только иметь в виду, что «портреты» известны разным летописям, начиная с «Повести временных лет». В «Истории Российской» их больше, и они особенно обстоятельны. Татищев и

сам заметил особое пристрастие к таким характеристикам одного летописца, который в 1143 году находился во Владимире Волынском и пел в церкви вместе с князем Игорем Ольговичем. По Татищеву, «он же видимо, что искусен был в живописи, что едва не всех в его время бывших князей лица и возраст описал, что во многих списках пропущено и сокращено».

Образцами подобных описаний могут служить портреты-характеристики Всеволода и Игоря Ольговичей. После смерти Мстислава Владимировича в 1132 году Киев стал объектом борьбы между потомками Владимира Мономаха и Олега Святославича, некогда соперничавшего со своим двоюродным братом. С 1139 года киевский стол занимал Всеволод Ольгович — отец героя «Слова о полку Игореве» Святослава Киевского. Умирая в 1146 году, Всеволод завещал киевский стол брату Игорю. Но киевляне не приняли еще одного Ольговича и обратились за помощью к Изяславу Мстиславичу, приглашая его на княжение. Восставшими горожанами Игорь был убит. Наиболее обстоятельно рассказывающая об этом Ипатьевская летопись резко осуждает киевлян главным образом потому, что Игорь готовился принять пострижение в монастырь. Летописец сразу же окружает Игоря ореолом святости, говорит о чудесах, явившихся следствием его мученической кончины, пугает киевлян неизбежной карой за учиненное насилие. У Татищева примерно те же события получают несколько иную оценку, что проявляется прежде всего в портретах-характеристиках.

В некрологе, заключающем княжение Всеволода, отмечается, что «сей великий князь муж был ростом велик и вельми толст, власов мало на главе имел, брада широкая, очи немалые, нос долгий. Мудр был в советах и суждех, для того (т. е. поэтому), кого хотел, того мог оправдать или обвинить. Много наложниц имел и более в веселиях, нежели расправах упражнялся. Чрез сие киевляном тягость от него была великая. И как умер, то едва кто по нем, кроме баб любимых, заплакал, а более были ради. Но при том более есче тягости от Игоря, ведая его нрав свирепый и гордый, опасались».

Здесь уже отрицательная реакция киевлян на приглашение Игоря, по существу, оправдывается. Но портрет его выдержан, так сказать, в реалистических тонах: «Сей Игорь Ольгович был муж храбрый и великий охотник к ловле зверей и птиц, читатель книг и в пении церковном учен. Часто мне с ним случалось в церкви петь, когда был он во Владимире. Чин священнический мало почитал и постов не хранил, того ради у народа мало любим был. Ростом был средний и сух, смугл лицом, власы над обычай, как поп, носил долги, брада же уска и мала. Егда же в монастыри был под стражею, тогда прилежно уставы иноческие хранил, но притворно ли себя показуя или совершенно в покаяние пришед, сего не вем, но что бог паче весть совести человек».

Татищев в данном случае сохранил даже запись летописца о себе в первом лице. Он полагал, что все эти портреты принадлежали перу владимиро-галицкого летописца, доказательство чему видел и во внимании к делам Юго-Западной Руси. По мнению Татищева, таким летописцем мог быть печерский монах Нифонт, бывший одно время игуменом на Волыни, а затем новгородским епископом (умер в 1156 году). Такого рода служебные перемещения действительно часто объясняют появление новых источников у летописцев, составляющих какой-либо местный свод. Только никогда не следует торопиться назвать имя этого летописца. Скажем, Нестор — автор Жития Феодосия — также, видимо, писал во Владимире Волынском. Но самое существенное уточнение внес Б. А. Рыбаков, заметив, что летописец был несомненно светским человеком: с князем вместе он мог петь только на клиросе. Как показал Б. А. Рыбаков, летописец был близким Изяславу Мстиславичу человеком, сопровождавшим его и при перемещениях с одного стола на другой. А как раз до 1143 года Изяслав занимал Владимир Волынский.

Татищев все-таки представлял все летописание до 1156 года в качестве своеобразной

эстафеты, где летописцы, сменяя один другого, трудятся над одной и той же летописью. Поэтому он старался «исправить» и «дополнить» текст, когда встречался с расхождениями в описаниях и оценках. Позднее Шлецеру летописание будет представляться таковым даже до начала XIII века. Поэтому он и считал, что прежде написания истории надо реконструировать летопись. Критики «Истории» Татищева часто смотрели на летописание подобным же образом, а потому практически в любых изменениях им текста своего сочинения (в частности, в изменениях, вносимых во вторую редакцию по сравнению с первой) видели «фальсификации». С. Л. Пештич в этой связи особенно настаивал на редактировании Татищевым портрета-характеристики Юрия Долгорукого. Действительно, Татищев уже в первой редакции проявил неуверенность, фактически опустив описание внешности. Во второй же редакции один текст был зачеркнут и вместо него написан иной: «Сей великий князь был роста не малого, толстый, лицом белый, глаза не вельми, великий нос долгий и накривленный, брада малая, великий любитель жен, сладких пищ и пития, более о веселиях, нежели о расправе и воинстве прилежал, но все оное состояло во власти и смотреии вельмож его и любимцев. И хотя, несмотря на договоры и справедливость, многие войны начинал, обаче сам мало что делал, но большее дети и князи союзные, для того весьма худое счастье имел и три раза от оплошности своей Киева изгнан был».

Существенное отличие от зачеркнутого текста заключалось в описании внешности: в зачеркнутом тексте — «нос краткий, нагнут». Б. А. Рыбаков высказал догадку, что исходный текст был трудночитаемым (речь-то идет лишь о форме носа), а окончательная редакция вполне согласуется с изображением миниатюры Радзивиловской летописи. Добросовестность же Татищева, по мнению историка, засвидетельствована своеобразной полемикой, которую автор «Истории Российской» вел в примечаниях к тексту с летописцем.

Пolemика эта действительно примечательна. Ведь С. Л. Пештич считал, что текст фальсифицировался «в угоду монархическим и крепостническим взглядам». В тексте же «Истории» защищается принцип феодальной раздробленности: каждый держит отчину свою. Идею единой державы в ней проводит в своей речи «Изяславичев злодей» Юрий Ярославич Туровский, настаивавший на подчинении всех князей Юрию Долгорукому, как старейшему. Противоположную политическую линию проводил в обращении к отцу Андрей Юрьевич. И тот и другой ссылались на исторические примеры: Юрий брал, их из «святого писания», а Андрей из собственно русской истории, напомнив о пагубном намерении Ярополка Святославовича и Святополка Владимировича установить единое державие.

Примечание Татищева интересно и с точки зрения уяснения его политических воззрений. «Сии два рассуждения, — пишет он, — едино другому противно. Первое — политическое к приобретению силы, славы и чести государства, ибо то довольно всякому известно, что монархическим правлением все государства усиливаются и разпространяются, от нападений неприятелей безстрашны... Другое же — на правилах морали и закона естественного утверждается, и есть подлинно, взирая на гражданина, правильно и благочестно; но иное к сему правительству право, как то совершенно после такое государей разделение безсилie изъявило».

У Татищева, как можно видеть, нет однозначной оценки спора, данного в его летописном источнике однозначно с позиций Изяславичей, боровшихся с притязаниями Юрия Долгорукого на единое державие. Он, конечно, за единое державие, как наиболее целесообразную для России форму политического устройства. Но «закону естественному», оказывается, более соответствовала своеобразная феодальная демократия. Рассуждение Андрея Юрьевича само по себе «правильно и благочестно». Но путь этот ведет к ослаблению государства. Очевидно, должна быть найдена такая форма, которая позволила бы соединить вытекающие из естественного закона права граждан с принципом единой державы. И хотя Татищев понятие

«единодержавие» отождествлял с монархией, ратовал за нее именно потому, что иных форм единодержавия не видел.

Б. А. Рыбаков убедительно доказал, что большинство «татищевских известий» восходят к летописной традиции XII века, связанной с домом Мстиславичей, потомков Мстислава Владимировича. Именно в рамках этой летописной традиции постоянно возвышалась роль боярства, к чему сам Татищев должен был относиться настороженно (хотя и необязательно враждебно). Летописание это было более светским, чем любая из известных нам летописей. И эта особенность использованного Татищевым источника объяснена Б. А. Рыбаковым: в XII веке провиденциализм еще не подчинил мирскую жизнь. Богословские назидания по тому или иному случаю появятся под пером позднейших редакторов и сводчиков.

Если через летописание Мстиславичей в «Историю» Татищева попадали многие оригинальные известия о Галицко-Волынской Руси, а само это летописание, возможно, более всего сохранялось как раз на юго-западе, то события в Руси Северо-Восточной у историка часто даются в проростовской окраске, в то время как «каноническая» Лаврентьевская летопись чаще держится владимирской традиции. Бесспорным свидетельством наличия у Татищева более ранних и достоверных источников является рассказ «Истории» о гибели Андрея Боголюбского. Повесть об убиении Андрея Боголюбского помещена в древнейших доступных нам Лаврентьевской и Ипатьевской летописях. У Татищева же обнаруживаются существенные разночтения с ними. Так, у него указывается на участие в заговоре против князя его собственной супруги. Неожиданное подтверждение правильности этого сообщения обнаруживается в миниатюрах Радзивилловской летописи. Вне связи с текстом на одной из них изображена женщина, которая держит отрубленную левую руку.

По «каноническим» летописям получается, что князю первоначально отрубили правую руку. Татищев в соответствии с изображением миниатюры говорит о левой руке. Вопрос, может быть, так бы и остался неразрешенным, если бы не одно обстоятельство: останки князя сохранились и антропологическое обследование показало, что отрублена была именно левая рука. Татищевский текст получает, таким образом, приоритет перед древнейшими известными летописями.

В «Истории Российской» имеется еще один довольно богатый фонд известий, который может восходить к ростовскому летописанию: это различные фольклорные сюжеты, связанные с подвигами героев-богатырей. Подобные известия имеются в Никоновской летописи, где они также нередко носят проростовскую окраску. Но в татищевской «Истории» подчас даются несколько иные сюжеты. Главным героем татищевских дополнений является Александр Попович, который и в большинстве былин связывается с Ростовом (в то время как скажем, Добрыня Никитич часто называется «рязаничем»).

Ростов в русской истории вообще играл большую роль, чем это представляется по сохранившимся летописям, хотя и они с этой точки зрения остаются недостаточно оцененными. Необходима работа и о ростовском летописании, которое может реконструироваться именно на материале «Истории Российской» с привлечением также позднейших сборников исторического содержания. Ростов чем-то походил на Новгород: здесь также княжеская власть ограничивалась боярством, а епископ почитался больше князя. К тому же Ростов постоянно соперничал с Владимиром и Суздалем, следовательно, события получали здесь иное освещение, нежели в этих княжеских центрах. У Татищева была особая Ростовская летопись, ростовский материал, видимо, включался в Симонову летопись, а также в отдельные «топографии» — местные истории. Не исключено, что и наиболее весомые источники Татищева — летописи Раскольничья и Голицынская — давали материал Северо-Восточной Руси в ростовской интерпретации.

Татищев снабдил примечаниями только часть летописи до 1238 года. Это второй и третий тома «Истории». Последующую часть татищевского свода часто считают лишь списком Никоновской летописи. Это, однако, неверно. Никоновская летопись не позволяет понять многих специфических чтений «Истории» и в этой части. Уже в рассказе о татаро-монгольском нашествии имеются сведения, отсутствующие в известных сводах. Встречаются они и далее. Многие неясные события можно понять именно с привлечением таких показаний «Истории».

Известно, например, сколь затруднительно преодоление противоречий, выявляющихся в источниках, посвященных Куликовской битве и последовавшему затем нашествию Тахтамыша. Неясно, в частности, почему Дмитрий пошел на такую крайнюю меру, как изгнание митрополита Киприана после возвращения на пепелище. У Татищева же это решение князя имеет естественное объяснение: Киприан подбивал тверского князя добиваться в Орде ярлыка на великое княжение. Изгнание Киприана вместе с духовником Владимира Андреевича Серпуховского Афанасием указывает и на еще одно направление в деятельности митрополита: стремление поссорить московского князя с его двоюродным братом, намек на что просматривается и в некоторых летописях. Имеются у Татищева и дополнительные сведения, объясняющие причины расхождений Дмитрия с Олегом Рязанским.

По первоначальному плану Татищев собирался довести изложение до 1613 года — возведения на престол Михаила Романова. В этих хронологических пределах он выделял два периода: «от пришествия татар до опровержения власти их и возстановлении древней монархии первым царем Иоанном Великим». Только рубежом берется не 1480 год, когда пало ордынское иго, а начало княжения Ивана III в 1462 году. Основными источниками и этих частей остаются летописи. Но привлекаются также отдельные повести и другие сочинения.

Вторая половина XVI века у Татищева не выстроилась в непрерывное погодное изложение. Таково было состояние летописных источников: летописание, ставшее в середине столетия официальным, государственным делом, было прервано с 60-х годов, когда начались массовые репрессии и опалы воздвигались часто на тех, кто совсем недавно находился на вершине фавора.

Прямое сообщение об учреждении опричнины в настоящее время известно лишь в одной — так называемой Александро-Невской летописи. Ее в распоряжении Татищева, очевидно, не было. Но косвенных данных достаточно много. Поэтому отсутствие сведений о ней в «Истории» побуждает поставить вопрос: а как он к ней вообще относился? В «Рассуждении» о событиях 1730 года Татищев ведет воображаемый спор с теми, кто считает, что «вымышленная свирепым царем Иваном Васильевичем Тайная канцелярия в стыд и поношение пред благоразсудными народы, а государству разорение, ибо за едино неосторожно сказанное слово пытаются, казнят и детей невидных имения лишают». Татищев согласен, что так бывает. Примером такого рода («не хочу далеко искать, но всем нам довольно знакомое») являются и «неистовые временщики» Скуратов и Басманов, то есть те, с кем и связывалась непосредственно опричнина. Но он возражает против мнения, будто Тайная канцелярия лишь российское явление, и не видит большой беды в учреждении, если во главе его будет поставлен кто-то «благочестивый и справедливый».

Большим материалом, в том числе и утраченным ныне, располагал Татищев по самому концу XVI — началу XVII века. Эта эпоха его особенно привлекала по ряду причин. Во-первых, его постоянно интересовал крестьянский вопрос, то есть причины установления крепостного права. Он собирал указы и прочие документы, которые могли бы пролить свет на этот вопрос. Во-вторых, в Смуте просматривался кризис и государственной системы: надо было разобраться в причинах столь тяжелых для государства событий. В-третьих, с 1598 по 1613 год сменилось несколько монархов разных династий: представлялась возможность порассуждать о «законных» принципах избрания самодержцев. И хотя Татищев не свел воедино свои выписки — это одна из

наиболее компактных собранных им подборок источников.

По первоначальному плану Татищев не собирался выходить далее 1613 года, но материал собирал и на весь XVII век, далее по время Петра I. Более всего Татищева в этом случае затрудняла не сама работа («яко более известей сохранных остается»), а ее излишняя злободневность. «В настоящей истории, — оправдывается он, — явятся многих знатных родов великие пороки, которые если писать, то их самих или их наследников подвигнуть на злобу, а обойти оные — погубить истину и ясность истории или вину ту на судивших обратить, еже бы было с совестью несогласно, того ради оное оставляю иным для сочинения».

В соответствии с представлениями и потребностями эпохи Татищев писал историю государства. Поэтому погодно излагались основные политические события, как они отмечались и летописями или иностранными хрониками.

Социальные вопросы Татищевым рассматривались главным образом в его исследованиях и подготовленных публикациях по истории русского права. Публикации «Русской Правды» и Судебника 1550 года были готовы уже к концу 30-х годов. Но немецкая Академия наук их не выпустила в свет. М. Н. Тихомиров причину этого видел в том, что Татищев «правильно оценил значение «Русской Правды» как памятника русского права, отвергнув представление о заносном, норманском, происхождении древнейших русских законов». Сам Татищев с сожалением отмечал, что кое-кто «печатать более за вред и поношение, нежели за пользу и честь, почитают».

За пределами основного исторического труда остались также многочисленные собранные Татищевым этнографические материалы. Одних пословиц он записал около полутора тысяч. Много данных было получено им в ответах на разосланные анкеты. Не вполне ясно, как даже он намеревался использовать все эти материалы. Определенный выход в этой связи просматривается в задуманных им «лексиконах». Но этим вопросом практически еще и не занимались. Достаточно сказать, что историческое содержание «Лексикона российского исторического, географического, политического и гражданского», опубликованного еще в конце XVIII века, стало темой специального исследования лишь в самое недавнее время (статья Л. Н. Вдовиной). Правда, были собственно лингвистические исследования и публикации. Но некоторые из татищевских «лексиконов» пока не разысканы.

Г. В. Плеханов в труде, посвященном истории общественной мысли в России, дал много ярких и метких характеристик отдельным русским мыслителям. У Плеханова не было многих материалов, которыми располагает современный исследователь. И тем не менее его характеристики поражают пронизательностью. Это вполне относится и к Татищеву. «По методу своего мышления, — подчеркивал он, — прошу читателя заметить: по методу мышления, а не по отдельным взглядам, Татищев является как бы главою многочисленного рода просветителей, очень долго игравшего влиятельную и плодотворную роль в нашей литературе. Если он был первым выдающимся представителем этого рода, то Чернышевский и Добролюбов были самыми передовыми, крупными и блестящими его представителями. После них он начал быстро мельчать и клониться к упадку».¹³

У Плеханова в данном случае проступает одна серьезная ошибка: он не учитывает того, что Чернышевский и Добролюбов являются вершиной революционно-демократической традиции, идущей от Радищева. Зато и в отношении Татищева можно снять оговорку: «по методу мышления». И по отдельным взглядам Татищев также был просветителем, хотя его иногда и пугали выводы, которые необходимо было сделать из собственных посылок. Но в этом, собственно, и заключается внутренняя противоречивость просветительства. Полстолетия спустя Радищев сделал те выводы, которые старался обойти Татищев. И это означало переход от просветительства к революционно-освободительному движению.

Основные даты жизни и деятельности В. Н. Татищева

- 1686, 29(19) апреля — Рождение В. Н. Татищева.
- 1693 — Василий Никитич взят стольником ко двору Прасковьи Федоровны.
- 1704 — Начало службы В. Н. Татищева в армии.
- 1706 — В. Н. Татищев поручик полка А. И. Иванова (позднее Азовского полка).
- 1709 — Участие В. Н. Татищева в Полтавской битве. Ранение его.
- 1710 — Поход во главе отряда от Пинска до Киева и Коростеня.
- 1711 — Участие в Прутском походе.
- 1712 — Пребывание вместе с полком в Польше.
- 1713-1714 — Заграничная поездка (Пруссия, Саксония и др.).
- 1714 — Женитьба на Авдотье Васильевне Андреевской.
- 1715 — Рождение дочери Евпраксии.
- 1715-1716 — Вторая поездка в Германию.
- 1716 — Перевод в артиллерию.
- 1717 — Поездка в Гданьск.
- 1717 — Рождение сына Евграфа.
- 1718 — Участие в Аландском конгрессе.
- 1720-1722 — Руководство уральскими заводами.
- 1723 — Тяжба с Демидовыми.
- 1724 — Пребывание при дворе Петра I.
- 1725-1726 — Поездка в Швецию.
- 1727-1733 — Служба в Московской монетной конторе.
- 1734-1737 — Управление уральским краем.
- 1737-1739 — Руководство Оренбургской экспедицией.
- 1739-1741 — Руководство Калмыцкой комиссией.
- 1741-1745 — Исполнение обязанностей губернатора Астраханского края.
- 1746-1750 — Болдинская ссылка.
- 1750, 15 июля — Кончина В. Н. Татищева.

История Российская. Т. I-VII. М.-Л., 1962-1968.

Собрание законов древних русских. Там же, т. VII.

Избранные труды по географии России. М., 1950.

Заводской устав. «Горный журнал». Спб., 1830, ч. III. кн. IX.

Разговор о пользе наук и училищ. В кн.: Татищев В. Н. Избранные произведения. Л., 1979.

Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося шляхетства русского о правлении государственном. Там же.

Записка об учащихя и расходах на просвещение. В кн.: Попов Н. В. Н. Татищев и его время. М., 1861.

Духовная. «Избранные произведения».

Краткие экономические до деревни следующие записки. Там же.

Разсуждение о ревизии поголовной и касающемся до оной. Там же.

Разсуждение о беглых мущинах и женщинах и о пожилых за побег зборах. Там же.

Представление о купечестве и ремеслах. Там же.

Сказание о звере мамонте. Там же.

Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской. Там же.

Представление в Кабинет о причинах башкирских волнений и о мерах для улучшения управления башкирами. — В кн.: Материалы по истории Башкирской АССР, т. 3. М.-Л., 1949.

Разсуждение о буквах кирилловских. «Хрестоматия по истории русского языка», т. 2, вып. 2, М., 1948 (сост.: С. П. Обнорский и С. Г. Бархударов).

Учреждение коим порядком учителя русских школ имеют поступать. «Исторический архив», т. V. М.-Л., 1950 (подг. Н. Ф. Демидова).

Наказ шихтмейстеру. Там же, т. VI, 1951 (подг. Н. И. Павленко).

Предложение о размножении фабрик. Там же, т. VII (подг. П. К. Алефиренко).

Переписка за 1746-1750 гг. Там же, т. VI (подг. А. И. Андреев).

Указ шихтмейстеру Одинцову. — «Уральский археографический ежегодник за 1973 г.». Свердловск, 1975 (подг. А. М. Сафронова).

Краткое изображение, в чем монетное дело требует исправления. — «Исторические записки», т. 101. М., 1978 (подг. А. И. Юхт).

Разсуждение есть ли польза манету российскую удобрить, а нискую истребить. Там же.

Письма 1742-1745 гг. Там же, т. 104. М., 1979 (подг. А. И. Юхт).

Отрывок из собственноручных записок Татищева о живущих в Сибири народах. — В кн.: Попов Н. А. В. Н. Татищев и его время.

Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в России народов, для которого выбраны только такие слова, которые в простом народе употребляемы (публикация А. П. Аверьяновой). — «Ученые записки ЛГУ», 1957, вып. 23, No 197.

Сборник пословиц В. Н. Татищева (публикация Ф. М. Головенченко). — В кн.: Русская литература. Статьи, исследования публикации. «Ученые записки Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина». М., 1961.

- Алефиренко П. К.* Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-50-х годах XVIII века. М., 1958.
- Андреев А. И.* Труды В. Н. Татищева по географии России. В кн.: Татищев В. Н. Избранные труды по географии.
- Андреев А. И.* Примечания В. Н. Татищева к «Древним русским законам». — «Исторические записки», т. 36, М., 1951.
- Андреев А. И.* Труды В. Н. Татищева по истории России. В кн.: Татищев В. Н. История Российская, т. 1.
- Бак И. С.* Экономические воззрения В. Н. Татищева. «Исторические записки», т. 54, М., 1955.
- Бестужев-Рюмин К. Н.* Биографии и характеристики, Спб., 1882.
- Блюмин Г.* Юность Татищева. Л., 1986.
- Валк С. Н.* «Русская правда» в изданиях и изучениях XVIII — начала XIX века. «Археографический ежегодник за 1958 г.». М., 1960.
- Валк С. Н.* «История Российская» В. Н. Татищева в советской историографии. — В кн.: Татищев В. Н. История Российская, т. VII.
- Вдовина Л. Н.* «Лексикон российской» В. Н. Татищева как источник по истории и культуре XVIII в. — «Вестник Московского университета». Серия истории. 1986, No 5.
- Голендухин Н. Д.* Новые материалы к биографии В. Н. Татищева. — В кн.: Материалы к биографии В. Н. Татищева. Свердловск, 1964.
- Гордин Я. А.* Хроника одной судьбы. М., 1980.
- Дейч Г. М.* В. Н. Татищев. Свердловск, 1962.
- Добрушкин Е. М., Лурье Я. С.* Историк-писатель или издатель источников? — «Русская литература», 1970, No 2.
- Иофа Л. Е.* Современники Ломоносова И. К. Кирилов и В. Н. Татищев. М., 1949.
- Клыш М. А.* К вопросу о Симоновой летописи, бывшей у В. Н. Татищева. — «Вестник Московского университета», серия IX, 1978, No 1.
- Колосов Е. Е.* Новые биографические материалы о В. Н. Татищеве. «Археографический ежегодник за 1963 г.». М., 1964.
- Кондратов Н. А.* Лингвистические взгляды В. Н. Татищева. — «Вопросы языкознания», 1983, No 2.
- Корецкий В. И.* Формирование крепостного права и первая крестьянская война в России. М., 1975.
- Корсаков Д. А.* Василий Никитич Татищев. «Русская старина», 1887, июнь.
- Корсаков Д. А.* Из жизни русских деятелей XVIII века. Казань, 1891.
- Кузьмин А. Г.* Рязанское летописание. М., 1965.
- Кузьмин А. Г.* Статья 1113 года в «Истории Российской» В. И. Татищева. — «Вестник Московского университета». Серия истории, 1972, No 5.
- Кузьмин А. Г.* Политические и правовые взгляды В. Н. Татищева. — «Советское государство и право», 1982, No 9.
- Кузьмина М. П.* Экономические воззрения В. Н. Татищева. Свердловск, 1966.
- Луппов С. П.* Книга в России в послепетровское время. Л., 1976.
- Маньковский Г. И.* Горнозаводской устав В. Н. Татищева. — «Труды Института истории естествознания и техники», вып. 9. М., 1957.

Материалы к биографии В. Н. Татищева. Свердловск, 1964.

Милов Л. В. Татищевские портреты-характеристики и «Симонова» летопись. — «История СССР», 1978, № 6.

Нечаев Н. В. Горнозаводские школы Урала. М., 1956.

Павленко Н. И. Развитие металлургической промышленности России в первой половине XVIII века. М., 1953.

Павленко Н. И. и Горловский М. А. Материалы Сопещения уральских промышленников 1734-1736 гг. «Исторический архив», т. 9. М., 1953.

Пальмов Н. И. К астраханскому периоду жизни В. Н. Татищева. — «Известия АН СССР», VII серия. Л., 1928, № 4-7.

Пекарский П. П. Новые известия о В. Н. Татищеве. Спб., 1864.

Петров Л. А. Общественно-политическая и философская мысль России первой половины XVIII века. Иркутск, 1974.

Персиц М. М. «Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ В. Н. Татищева» как памятник русского свободомыслия XVIII века. — «Вопросы истории религии и атеизма», вып. III. 1956.

Плеханов Г. В. История русской общественной мысли. Соч., т. XXI. М., 1925.

Пештич С. Л. Русская историография XVIII века, ч. I. Л., 1961, ч. II, Л., 1965.

Пештич С. Л. Необходимое дополнение к новому изданию «Истории Российской» В. Н. Татищева. «Проблемы истории феодальной России». Л., 1971.

Попов Н. В. Н. Татищев и его время. М., 1861.

Попов Н. А. Ученые и литературные труды В. Н. Татищева. Спб., 1886.

Протасов Г. А. Записка Татищева о «произвольном рассуждении» дворянства в событиях 1730 г. «Проблемы источниковедения», т. XI, М., 1963.

Рожков В. Деятельность артиллерии капитана В. Н. Татищева на уральских заводах в царствование Петра Великого. Спб., 1884.

Рыбаков Б. А. В. Н. Татищев и летописи XII в. — «История СССР», 1971, № 1.

Рыбаков Б. А. Русские летописцы и автор «Слова о полку Игореве». М., 1972.

Смирнов И. И. Очерки социально-экономических отношений Руси XII-XIII вв. М.-Л., 1963.

Сенигов И. Историко-критические исследования о новгородских летописях и о Российской истории В. Н. Татищева. М., 1887.

Соловьев С. М. Писатели русской истории XVIII века. «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России». Кн. II, пол. I, отд. III. М., 1855.

Тихомиров М. Н. О русских источниках «Истории Российской». — в кн.: Татищев В. Н. История Российская, т. 1.

Устюгов Н. В. Башкирское восстание 1737-1739 гг. М.-Л., 1950.

Чупин Н. К. Василий Никитич Татищев. Пермь, 1867.

Шакинко И. М. Василий Татищев. Свердловск, 1986.

Юхт А. И. Государственная деятельность В. Н. Татищева в 20-х — начале 30-х годов XVIII в. М., 1985.

Grau C. Der Wirtschaftsorganisator, Staatsmann und Wissenschaftler Wasilij N. Tatischev (1686-1750). Berlin, 1963.

Blanc S. Un disciple Pierre le Grand dans la Russie du XVIII siecle, V. N. Tatischev (1686-1750), Lille, 1972.

Характерное для эпохи словопроизводство (из французского — неспособный)

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 21, с. 418.

Там же, т. 19, с. 405-406.

Видными масонами были позднее сыновья Н. Ю. Трубецкого. Если учесть, что в масонство принимают часто семьями и степень посвящения зависит от масонской «родословной», то вероятно и непосредственное участие Н. Ю. Трубецкого в деятельности масонских лож. Видным масоном был и его подопечный М. М. Херасков. В 40-е годы вскрылась принадлежность к масонству братьев Чернышевых и некоторых других вельмож. Гнездились масонство и в доме А. М. Черкасского. Несколько иной характер носило увлечение масонством в 50-е годы: оно было связано с принадлежностью к масонам будущего императора Петра III.

Даже обер-прокурор А. С. Маслов за все время службы — с января 1730-го по ноябрь 1735 года — не получал жалованья, а к концу 30-х годов «сэкономленные» таким образом деньги использовались Сенатом для покрытия непредвиденных расходов.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 22, с. 478.

Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 1, с. 111.

Имеется в виду государственное учение Макиавелли (1469-1525)

Плеханов Г. В. Соч., т. XXI. М. — Л., 1925, с. 62.

Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 410-413.

Плеханов Г. В. Соч., т. XXI, с. 70.

Татищев употреблял этот термин вместо вошедшего в употребление в Академии наук «историограф», следуя своему общему курсу давать по возможности русские определения. Я. С. Лурье же и Е. М. Добрушкин расценили это как непонимание Татищевым разницы между историей и литературой.

Плеханов Г. В. Соч., т. XXI. с. 77.